ДЭМ DEM

Валентин Бережков

КАК Я СТАЛ ПЕРЕВОДЧИКОМ СТАЛИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги — известный журналист-международник, лауреат премии имени Воровского, присутствовал в качестве переводчика советских руководителей на многих международных встречах и переговорах военных лет. Воссоздает атмосферу непосредственно перед войной и в ходе нее, прослеживает связь событий прошлого с сегодняшним днем, делится личными впечатлениями о встречах с советскими и иностранными деятелями, такими как Сталин, Молотов, Черчилль, Рузвельт и др.

- Бережков Валентин Михайлович
  - Глава первая
    - Начало
    - Сталин и Гитлер
    - Исход из Петрограда
    - Передышка в Киеве
    - Игра в «кошки-мышки»
    - Генезис пакта
    - Сваричевка
    - «Среди старых партийных товарищей»
    - Пакт трех или четырех?
    - Встреча с Шуленбургом
    - «Жестокий роман»
    - Красный директор
    - Смерть Ленина
  - Глава вторая
    - Закупочная комиссия
    - На заводе Круппа
    - «Чашка чая»
    - Отель «Эссенер Хоф»
    - Вилла «Хюгель»
    - Как это было
    - Поездка в Роттердам
    - «Веселый уголок»
    - Лютеранская улица
  - Глава третья
    - Снова в Роттердаме
    - Наташа
    - Арест
    - Возвращение в Москву
    - Встреча с Микояном

- Освобождение
- Референт наркома
- Ночной вызов в Кремль

- Глава четвертая
  - Голод на Украине
  - Показательный колхоз
  - «Красная капелла»
  - Из Анкары — в Москву
  - Комната в Кремле
  - Найти виновного!
  - Белая Церковь
  - «Истерика» Молотова
  - Предвоенное время
- Глава пятая
  - Сталин и Рузвельт
  - На Дальнем Востоке
  - Рекомендация полякам
  - Японская карта
  - Фактор бомбы
  - В Главном Морском штабе
  - «Бремен» в Мурманске
  - Опыт Ялты
  - Днепровская флотилия
  - Признание миссис Пайпс
  - Отчий дом
  - Предсмертная телеграмма Рузвельта
- Глава шестая
  - Сталин и Черчилль
  - «Не бойтесь немцев!»
  - В квартире Сталина
  - Второй визит Черчилля в Москву
  - «Сердечное согласие»
  - Смертный приговор Литвинову
  - Проверено — мин нет!
- Глава седьмая
  - Докладная Берии
  - Полина еще жива!
  - Новые времена
  - Смерть Сталина
  - Рекомендации Йозефа Вирта
  - Встреча с Чжоу Эньлаем
- Постскриптум

Бережков Валентин Михайлович
Как я стал переводчиком Сталина

Глава первая

Начало

Меня не покидает ощущение, что в памяти запечатлеваются события, происходившие задолго до того момента, когда у человеческого существа пробуждается сознание. Наверное, эти кажущиеся живыми образы сложились позднее из зафиксированных клеточками мозга, но неосознанных и не наполненных смыслом подлинных событий, разговоров взрослых, услышанных историй, обрывков фраз, старинных портретов и фотографий в бабушкином альбоме, быть может, даже младенческих сновидений. Но сейчас, когда я мысленно прохожу свой жизненный путь, передо мной возникают не только эпизоды, свидетелем которых я мог быть начиная с самого раннего возраста, но и поразительно яркие картинки событий, происходивших до моего появления на свет.

…Мне видится элегантно обставленная гостиная с собранными шнуром бордовыми бархатными гардинами и кружевными оконными занавесками. Удобные кресла с высокой спинкой, столики, покрытые кремовыми салфетками с длинными кистями. На полу — толстый ковер и шкура белого медведя. У него будто совсем живая голова и оскаленные зубы. В камине потрескивают поленья. Входят бабушка и моя мама. С ними молодой офицер с Георгиевским крестом. Это мамин брат — мой дядя Леня, приехавший с фронта. У него красивое лицо с правильными чертами. Аккуратно подстриженные волосы зачесаны на прямой пробор, образующий как бы тонкую трещину на голове. Он садится за рояль, и гостиная наполняется обволакивающими меня чарующими звуками. Картина постепенно затемняется, исчезает…

Столовая вся светлая и солнечная. Во главе стола — большой медный сверкающий самовар наподобие бочонка. Гнутые венские стулья. Отец и мать пьют чай с домашними ароматными коржиками. Вдруг влетает мамина мама — моя бабушка, — в белом кружевном платье и с таким же зонтом. На ней широкополая легкая шляпа. Ее страсть — игра на скачках. Она вернулась с ипподрома в полном расстройстве.

— Опять проиграла? — спрашивает мама. Бабушка устало опускается на стул. Вид у нее виноватый и растерянный.

— Не журите меня, детушки. Я еще отыграюсь. А сейчас пришлось все отдать. Заложила кольца, цепочки, браслеты. Даже золотые часы вашего прадедушки…

Отец успокаивает ее. Мама наливает чай и пододвигает чашечку бабушке, целует ее в щеку.

— Не расстраивайся, ведь это с тобой не первый раз. Только дедушкины часы надо поскорее вернуть. Мишенька, — обращается она к отцу, — давай выкупим их сейчас же.

— Нет, нет, — протестует бабушка. — Это мое дело. Я исправлю свою вину.

Отец улыбается, кивает маме. У него густые черные как смоль волосы и такие же небольшие усики. Одет он очень элегантно. Длинный коричневый сюртук плотно облегает его атлетическую фигуру. Белый воротничок туго накрахмален, полосатый галстук завязан бантом.

Прадедушку (а моего прапрадедушку) по маминой линии очень чтят в семье. Он — наша гордость. В свое время был известен как «дедушка русских романсов». Николай Алексеевич Титов, родившийся в 1800 году (умер в 1875-м), современник и почитатель Пушкина. Многие его стихи он положил на музыку. Мы особенно любили и часто исполняли пра-прадедушкин романс «Талисман» на стихотворение, созданное великим поэтом в ночь на 6 ноября 1827 г.:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман…

Н. А. Титов сочинил более ста романсов, маршей, кадрилей, вальсов. Некоторые из его произведений популярны и в наши дни: «Песня ямщика», «Лампада», «Матушка-голубушка», «Коварный друг»…

До самой войны у нас хранился его портрет: бравый офицер с пушистыми бакенбардами и усами, в эполетах, с Андреевской звездой на груди.

И еще одно видение: бревенчатая дача в Коломягах, под Петроградом. Ясный весенний день. На просторной веранде, увитой диким виноградом, в плетеных креслах сидят две женщины: бабушка — в белой кофточке и длинной черной юбке, с томиком Лермонтова в руках, и мама — в широком розовом халате. Она пришивает кружевную ленточку к детской распашонке. Готовится к прибавлению семейства. Это я должен скоро родиться. На извозчике с железнодорожной станции, куда прибывает пригородный поезд из Петрограда, приезжает отец.

Всегда спокойный и сдержанный, на этот раз он не скрывает волнения.

— Что случилось? — спрашивает мама, чувствуя его состояние.

— Мне надо с тобой поговорить, — отвечает отец и, обращаясь к бабушке, просит извинения.

Они уходят в гостиную. И я с ними. Неужели мне понятен их разговор? Или вся эта картина воссоздалась в моей памяти из далеких воспоминаний родителей?

— Люсенька, — говорит отец, — ты не волнуйся. Ничего серьезного не произошло. Просто мне предложили возглавить закупочную комиссию. Она отправляется в Америку для приемки военных и торговых судов. Это надолго, и ты поедешь со мной…

— Ах, — восклицает мама, — как некстати. Я ведь должна вот-вот разродиться. И к тому же война…

— Ничего, мы поплывем на большом пароходе, там будут врачи, в случае чего помогут. Да тебе ведь еще два месяца сроку. К тому времени будем в Нью-Йорке…

То была ранняя весна 1916 года. А я родился 2 июля…

Они возвращаются на веранду.

— Ну что у вас там стряслось? — любопытствует бабушка.

Отец объясняет.

— Ни в коем случае! — энергично возражает бабушка. — В таком положении разве можно Люсеньке отправляться за океан? Война, немецкие подводные лодки в Атлантике. Да и как там у них, в Америке? Вот пусть родит, пусть младенец подрастет, тогда поезжайте.

Отец пытается переубедить ее, но все напрасно. Да и мама начинает сомневаться:

— Может, Мишенька, поедешь без меня?

— Ни в коем случае, только вместе.

— Как вы, Михаил Павлович, — неожиданно официальным тоном укоряет бабушка, — можете подвергать Люсеньку и младенца таким испытаниям?..

Бабушка, принадлежавшая к семье, которая всегда жила в достатке и комфорте, убеждена, что только дома, в Петрограде, есть все условия для благополучного появления на свет ее внука. Люсенька, воспитывавшаяся в довольстве, выпускница Смольного института благородных девиц, не приспособлена к таким сомнительным авантюрам, как путешествие на сносях в Америку. Это он, Миша, сын провинциального учителя, круглый сирота, привык ко всяким передрягам. А Люсеньку она никуда не отпустит.

— Тогда и я остаюсь, — твердо говорит отец. — Откажусь от

этой комиссии…

Если бы они знали, какие мытарства нашей семье предстоят в годы гражданской войны, да и после нее, плавание через океан, даже под угрозой германских подводных лодок, показалось бы им увеселительной прогулкой. Случай, который много значил в моей жизни, сыграл со мной, еще находящимся в утробе матери, первую шутку. Не будь бабушка столь упрямой, я бы родился в Соединенных Штатах. И, быть может, оказался бы переводчиком не Сталина, а Рузвельта…

В моей маленькой комнате, расположенной в северном крыле здания Совнаркома в Кремле, тишина. Лишь каждые четверть часа со Спасской башни доносится перезвон курантов. На окнах черные шторы затемнения: конец июля 1941 года. В любой момент можно ждать сигнала воздушной тревоги, оповещающего о приближении немецких бомбардировщиков. Глубокая ночь. Но весь огромный правительственный аппарат продолжает действовать. Сталин еще занят делами в своем кабинете, и каждый высокопоставленный деятель, будь то член политбюро, нарком или военачальник, остается на месте в ожидании возможного вызова к «хозяину».

Час назад по «вертушке» нарком оборонной промышленности Устинов спросил меня, не ушел ли Молотов домой. (Мы с Дмитрием Федоровичем работали вместе весной 1940 г. на заводе Крупна в Эссене.) Он откровенно пояснил, что все свои дела в наркомате закончил и мог бы уехать. Но «хозяин» не любит, когда не застает подчиненных на месте. А уход Молотова — верный сигнал к тому, что и Сталину больше никто не понадобится.

— Сообщи, пожалуйста, когда твой уйдет, — слышится усталый голос. — Мне рано вставать, ехать на полигон. Хоть бы на пару часов сомкнуть глаза… Но Молотов, насколько я знаю, пока не собирается уходить. Сегодня у Сталина была долгая беседа с прибывшим в Москву Гарри Гопкинсом, личным представителем президента Рузвельта. Сталин очень многого ждет от этого визита. Стремительное продвижение немцев в первые недели после вторжения вынуждает его искать союзников, и Соединенные Штаты, несомненно, самый желанный из них. Он приложил все усилия к тому, чтобы убедить посланца президента: Советский Союз не капитулирует и будет сражаться до полной победы над фашизмом. На следующей встрече с Гопкинсом Сталин обещал представить подробные данные о нуждах Советского Союза в военных материалах, и поэтому Молотов вместе с Микояном и военными экспертами сейчас готовил необходимую документацию.

С содержанием беседы с американским эмиссаром — первым

высокопоставленным лицом, прибывшим из США в Москву после гитлеровского вторжения, утром должны быть ознакомлены члены политбюро. Мне поручено сверять текст подготовленного протокола с наскоро сделанными пометками Литвинова, переводившего эту беседу.

Одно место в записи коробит меня. Сталин сказал Гопкинсу, что нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Он, Сталин, полагал, что именно сейчас Гитлер не нанесет удара. И хотя для нас всех Сталин — непререкаемый авторитет, мне трудно согласиться с таким его утверждением. Как это могло быть? Ведь мы в нашем посольстве в Берлине имели достоверную информацию о готовящемся вторжении. Знали даже точную дату — в ночь на 22 июня. Все эти сведения посольство пересылало в Москву. Неужели Сталину этого не докладывали? Информация шла не только от посла в Германии Деканозова, но и от военного атташе Туликова и военно-морского атташе Воронцова. Каждый из них имел свой надежный источник, все данные совпадали.

Ставшие теперь достоянием гласности неоспоримые факты свидетельствуют о том, что Сталин располагал достовернейшими сведениями о готовящемся нападении. Помимо сигналов из Берлина к нему поступили предупреждение Черчилля, а также информация Рихарда Зорге из Токио. У него имелись подробные данные о завершении концентрации германских войск вдоль границ СССР и о том, что части вермахта полностью отмобилизованы и изготовились к атаке. Сразу же после того как заместитель Гитлера по нацистской партии Рудольф Гесс приземлился в Англии, Сталин получил еще одно подтверждение грозящей нашей стране опасности: советский разведчик Ким Филби, занимавший высокий пост в британской секретной службе, передал в Москву информацию о предстоящем нападении на СССР и о том, что Гесс, сообщив об этом, пытался добиться согласия Великобритании держаться в стороне от конфликта.

Наконец, ночью 21 июня на стол «хозяина» легло донесение о перебежчиках, которые, рискуя жизнью, переплыли Буг и Днестр, чтобы в последний момент предостеречь советское командование о начинающемся через несколько часов вторжении.

Ничему этому Сталин не верил. А когда то, о чем его предупреждали, свершилось, он сгорал от стыда: всезнающий и всевидящий «вождь народов» вдруг оказался слепцом.

Несомненно, Сталин понимал, что Гопкинс информирован, хотя бы в общих чертах, о предостережениях, которые поступали в Москву. Своим заявлением о «неожиданном нападении» он, видимо, хотел 10 упредить возможные недоуменные вопросы американского гостя. Но что подумал об этой уловке такой

проницательный человек, как Гопкинс? Не мог же он допустить, что в жесткой сталинской государственной структуре подчиненные осмелились скрыть от «мудрого вождя» столь важную информацию? Гопкинсу следовало бы поинтересоваться этим. Но он, проявив вежливость, промолчал.

В свете этого эпизода важно учитывать особое отношение Сталина к Гитлеру. Они никогда не встречались. Но Сталин ждал такой встречи, испытывая к нацистскому диктатору своеобразное тяготение. Судя по высказываниям Гитлера, он тоже высоко ценил Сталина. У них было немало общего. Их методы овладения волей масс во многом совпадали.

Сталин и Гитлер

Работая в нацистской Германии в 1940 году, я наблюдал поразившую меня картину. То же обожествление «вождя», такие же массовые сборища и парады, на которых участники несли портреты фюрера, а детишки подносили ему букеты цветов. Очень схожая помпезная архитектура, героическая тема в живописи, подобная нашему социалистическому реализму. Упрятав в концлагеря и уничтожив всех инакомыслящих, Гитлер, подобно Сталину, с помощью интенсивной идеологической обработки добился того, что его стала боготворить толпа. Я наблюдал «парад победы» в Берлине на Зигесалле после возвращения из Франции победоносных дивизий вермахта. Стоя рядом с трибуной, видел, как люди тянулись к Гитлеру, когда он проезжал мимо них в открытом «мерседесе». Женщины поднимали вверх младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ненавидя народ, он умел ему польстить, величая «расой господ». Сталин тоже, отечески улыбаясь маршировавшим мимо ленинского мавзолея и громко славившим его демонстрантам, льстил им, называл их «строителями коммунизма». И тут же тихонько, себе в усы, обзывал дураками.

Но тогда я не мог даже про себя делать такие сопоставления. Я не знал многого и был не в состоянии понять зловещий смысл этих совпадений. Ведь провозглашенные цели в Германии и у нас были принципиально различны: Сталин призывал советских людей к созданию социалистического общества, где все будут равны и счастливы, что, впрочем, не помешало ему переселить в Сибирь целые народы и уничтожить миллионы земледельцев. Гитлер провозгласил «тысячелетнюю империю расы господ». Но он же вверг цвет германской нации в мясорубку войны и, продолжая с упорством маньяка «борьбу на уничтожение», превратил в щебень бесценные памятники германской культуры.

Впервые я увидел Гитлера вблизи, когда вместе с Молотовым вошел 12 ноября 1940 г. в его кабинет в имперской канцелярии в Берлине. Фюрер находился тогда в зените мощи и славы: вся Западная Европа лежала у его ног. Франция была повержена. Англичане, укрывшись на своих островах, ожидали самого худшего. Сознавая силу немецкой военной машины, Гитлер держался высокомерно и заносчиво. Здесь он представлял полную противоположность Сталину, который всех поражал своей показной скромностью и полным отсутствием стремления к эффектам. В отличие от Гитлера он считал, что если его неограниченная власть над сотнями миллионов подданных

очевидна, то нет нужды афишировать ее.

Когда мы вошли, Гитлер был один в кабинете. Он сидел за огромным письменным столом над какими-то бумагами. Но тут же поднял голову, стремительно встал и мелкими шагами направился к нам. Мы встретились в середине комнаты. Мы — это Молотов и его заместитель Деканозов, а также Павлов и я — оба в роли переводчиков. Фюрер подал каждому руку. Его ладонь была холодной и влажной, что вызывало неприятное ощущение — как бы прикосновение к рептилии. Рукопожатие было вялым и невыразительным. В этом была схожесть со Сталиным — он совсем плоско и безучастно подавал руку.

Вероятно, я сейчас один из немногих, здоровавшихся за руку с крупнейшими политическими фигурами периода второй мировой войны: Сталиным, Гитлером, Черчиллем, Рузвельтом, Чжоу Эньлаем. Они были очень разными. У Черчилля была крупная, но мягкая и теплая рука, обволакивавшая и как бы утешающая. Рузвельт здоровался энергично, выбрасывая руку, в которой чувствовалась особая сила. Так обычно бывает у людей, страдающих недомоганием ног. Рукопожатие Чжоу Эньлая было достаточно крепким, но деликатным, дружелюбным. Может быть, все это чисто субъективное ощущение, но запомнилось мне именно так.

В имперской канцелярии я удостоился своеобразного комплимента от фюрера. Когда стал переводить слова Молотова о том, что он рад встрече с рейхсканцлером, Гитлер, видимо не ожидавший моего берлинского произношения, внимательно посмотрел на меня и вдруг спросил:

— Кто вы, немец?

— Нет, — ответил я и поспешил объяснить Молотову, о чем идет речь. Я полагал, что оба лидера возобновят свой разговор, но фюрер не унимался:

— Вы немецкой национальности?

— Нет, я русский.

— Не может быть, — удивился Гитлер.

Обратившись к Молотову, он пригласил его к низкому круглому столу, вокруг которого стояли диван и кресла.

По окончании беседы Молотова и Гитлера мы вышли из кабинета. Гитлер провожал гостя к выходу из имперской канцелярии. Я шел рядом, переводя их разговор, носивший общий характер. Остальные члены делегации значительно отстали от нас. Перед тем как расстаться, Гитлер, пожимая наркому руку, произнес:

— Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью. Да и сам льщу себе мыслью, что войду в историю. И естественно,

что два таких политических деятеля, как мы, должны встретиться. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мой привет и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем…

По возвращении в Москву Молотов, разумеется, передал Сталину предложение Гитлера, которое, судя по всему, сыграло существенную роль в просчетах Сталина, связанных с определением сроков нападения Германии на СССР.

Несомненно, «вождю народов» польстила высокая оценка, которую дал ему фюрер. Но и он сам уже давно готов был восхвалять Гитлера. Их соперничество вовсе не исключало взаимного восхищения. Когда в 1934 году Гитлер уничтожил своего соратника, руководителя штурмовых отрядов Эрнста Рема, и других командиров штурмовых отрядов СА, Сталин дал этой кровавой бойне высокую оценку. Микоян рассказывал мне, что на первом же после убийства Рема заседании политбюро Сталин сказал:

— Вы слыхали, что произошло в Германии? Гитлер, какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками!

То было лето 1934 года. А в декабре был убит соратник Сталина Киров, и, как мы теперь знаем, нити этого преступления ведут к «вождю народов». Затем начались жестокие репрессии против ленинской гвардии, уничтожение высших кадров Красной Армии, технических специалистов, представителей интеллигенции. Кровавый террор охватил миллионы ни в чем не повинных людей…

Здесь в поведении Сталина и Гитлера тоже много общего. Рем был объявлен «врагом», «предателем» и заклеймен позором. А вот Роммеля, которого Гитлер вынудил покончить самоубийством, похоронили с почестями. Сталин расстрелял Бухарина, «любимца партии», по выражению Ленина, объявив его «врагом народа». А, например, своего друга Серго Орджоникидзе вынудил застрелиться, а потом произнес прочувствованную речь у его гроба и нес на своих плечах урну с его прахом, так же как и урну с прахом Кирова.

Все, что происходило в 30-е годы в Советском Союзе, не могло не вызвать крайне отрицательного отношения к этому в правящих кругах западных демократий. Их неприятие Октябрьской революции в России нашло подкрепление в сталинских репрессиях. Но Гитлеру эти расправы импонировали вдвойне. С одной стороны, они давали дополнительное обоснование для шантажа западных политиков «угрозой большевизма», а с другой — смягчали протесты против нацистских гонений на коммунистов и вообще на всех

инакомыслящих, утвердив ряд западных политиков в мысли, что лучше уж гитлеровский национал-социализм, чем сталинский коммунизм. Вместе с тем фюрер восхищался беспощадностью и безжалостностью Сталина. Ведь и сам он обладал теми же качествами.

Во второй половине 30-х годов, когда стало очевидным, что Англия и Франция уклоняются от заключения с Советским Союзом серьезного соглашения о пресечении фашистской агрессии, Сталин все чаще поглядывал в сторону Берлина. Опыт гражданской войны в Испании, когда ни одно государство, кроме СССР, не оказало помощи законному республиканскому правительству, когда Гитлер и Муссолини, используя «политику невмешательства» западных держав, смогли беспрепятственно оказывать военную поддержку генералу Франко и в конечном счете утвердить его в Мадриде, показал Сталину, на чьей стороне сила. А силу он уважал. Аншлюс Австрии и мюнхенская сделка были дополнительным доказательством того, что западные политики готовы все простить Гитлеру, лишь бы он выполнил обязательство, данное в его «евангелии» — «Майн кампф», и уничтожил большевизм. Именно тогда Сталин, видимо, задумался над тем, нельзя ли полюбовно договориться с фюрером. Литвинов, который из-за своего еврейского происхождения и страстных антифашистских выступлений в Лиге Наций никак не подходил для оформления сделки с нацистской Германией, был устранен. Наркомом иностранных дел стал Молотов, самый близкий к Сталину человек. В свою очередь, и Гитлер пришел к выводу, что ему лучше дадутся победы на Западе, чем на Востоке. Для него не являлось секретом, что во Франции, как это часто бывало в истории с победившими нациями, полностью испарился воинственный дух. Правда, вдоль Рейна высилась мощная «линия Мажино», но ведь ее можно было обойти, наступая через Нидерланды и Бельгию. Расправившись с Францией, фюрер был готов пойти на договоренность с Англией, где тоже не очень-то хотели воевать. Да и уже состоявшиеся встречи Гитлера с Чемберленом в Бад-Годесберге и Мюнхене создали о нем у фюрера представление как о человеке, поддающемся шантажу. Нейтрализация Великобритании позволит наконец расправиться с Россией. А пока что следует попытаться найти общий язык со Сталиным.

Почва для германо-советского сближения становилась все более подходящей…

Однако в Кремле решили сперва предпринять еще одну попытку прийти к соглашению с Великобританией и Францией. Начались переговоры, которые, впрочем, из-за низкого ранга и

отсутствия необходимых полномочий у английских и французских представителей изначально не сулили успеха.

К началу августа 1939 года Сталин пришел к выводу, что рассчитывать на серьезную договоренность с Лондоном и Парижем не приходится. Этот вывод подтвердили и переговоры с английской и французской военными миссиями, прибывшими в Москву 11 августа для обсуждения вопроса о совместных действиях по организации отпора агрессору. На вопрос наркома обороны СССР маршала Ворошилова, существует ли какое-либо соглашение с Польшей относительно пропуска через ее территорию советских войск в случае войны с Германией, генерал Думэн, возглавлявший французскую делегацию, ответил, что не знает планов Польши. Ворошилов спросил, какие контингенты может выставить Великобритания для усиления французской армии. Английский генерал Хэйвуд заявил, что к первой фазе войны с Германией Британия выставит 16 дивизий, а позднее еще 16 дивизий и что в настоящее время англичане имеют на своих островах — лишь пять регулярных дивизий и одну моторизованную.

Эти цифры выглядели смехотворно по сравнению с мощью Германии, уже имевшей под ружьем 140 дивизий. Не могли английские силы идти ни в какое сравнение и со 120 дивизиями, которые, как считали в Лондоне и Париже, с самого начала военных действий должен был выставить Советский Союз. Что касается поставленного советской стороной вопроса о планах союзников в отношении Бельгии, то французские представители заявили, что могут пройти через территорию этой страны только в случае ее просьбы, а поступила ли она неизвестно. Все это побудило Ворошилова заявить 14 августа: «Без четкого и недвусмысленного ответа на эти вопросы дальнейшие военные переговоры бессмысленны… Советская военная миссия не может рекомендовать своему правительству участвовать в предприятии, столь явно обреченном на провал».

Так сложилась обстановка, когда из Берлина поступило предложение о желательности улучшить германо-советские отношения. Но еще несколько раньше, 2 августа, в беседе с Астаховым, поверенным в делах посольства СССР в Берлине, Риббентроп, несомненно по прямому поручению Гитлера, выразил пожелание выработать «новый характер» отношений между Германией и Советским Союзом. Он заявил, что от Балтийского моря до Черного нет таких проблем, которые нельзя было бы решить к обоюдному удовлетворению. На вопрос Астахова, что конкретно рейхсминистр имеет в виду, Риббентроп выразил готовность к переговорам по актуальным вопросам, если

такая же готовность имеется у советского правительства. В телеграмме, которой рейхсминистр информировал германского посла в Москве Шуленбурга о содержании беседы с Астаховым, имелось любопытное добавление: советскому поверенному в делах был сделан намек на готовность Германии «договориться с Россией о судьбе Польши».

Исход из Петрограда

Хорошо помню наш исход из голодного Петрограда. В стране бушует гражданская война. Некогда прекрасная Северная Пальмира представляет собой мрачное, холодное, беспросветное нагромождение каменных склепов, где, закутавшись в одеяла, влачат жалкое существование жители бывшей столицы царской империи. Советское правительство перебралось в Москву, а «гордый град» на Неве обретает статус провинции, какой остается и поныне. Мама тащит меня за руку. Закутанный в платок, я стараюсь быстро перебирать ногами. Ветер гонит по Невскому обрывки газет и прокламаций, шелуху семечек. Навстречу марширует взвод моряков. На плечах винтовки с примкнутыми штыками…

На папином заводе маме выдали паек на неделю: полбуханки черного хлеба, две воблы и четыре картошки. Она спешит вернуться домой, где в тифозной горячке лежит отец. Всегда такой сильный и энергичный, он совершенно беспомощен.

Отец, особенно в молодости, был далек от политики. Все же он приветствовал Февральскую революцию и, отправляясь в город, прикалывал к лацкану пиджака красную бутоньерку. Он полагал, что освобождение России от оков самодержавия откроет простор для быстрого промышленного развития страны, в чем и он мечтал принять участие. Но хаос, наступивший после Октября, братоубийственная гражданская война воспринимались им как личная катастрофа. Выходец из бедной семьи провинциального учителя, рано оставшийся круглым сиротой, он сам выбился в люди. Окончив с золотой медалью гимназию, отправился из Чернигова в Петербург, где столь же успешно прошел курс в гатчинском училище и в Петербургском политехническом институте. Его имя, как одного из лучших студентов, было высечено на мраморной доске золотыми буквами. Но во время учебы бедствовал. Он рассказывал, что вместе с другими студентами из бедных семей заходил в какой-либо трактир, где на столе всегда стояли графин с водой и хлеб, нарезанный большими ломтями, за что денег не брали. Тут можно было взять свежую газету, вделанную в шесток, почитать, ничего не заказывая. Делая вид, что читают газету, они потихоньку уплетали хлеб, запивая водой из графина. Отец давал также частные уроки, чтобы продержаться в годы учебы. После окончания института он сразу же получил должность старшего инженера на Путиловской судостроительной верфи, что принесло ему хороший заработок. Он женился на девушке из известной в

городе, хотя и несколько обедневшей, семьи. Казалось, жизнь сулит счастье и довольство… И вдруг все это рухнуло. Огромные усилия и тяготы сиротской жизни оказались напрасными.

Бабушка продает свои фамильные драгоценности, чтобы достать еду у спекулянтов. Это позволяет лучше питать больного отца, да и нам кое-как держаться. В квартире не топят, и мы все в одной комнате. Для камина нет дров, но нас спасает жестяная печурка-«буржуйка». Своими четырьмя длинными ножками она стоит на железном листе посреди гостиной. Труба, похожая на водосточную, изгибаясь под потолком, выведена в форточку. Мы уже сожгли дюжину стульев и дедушкин письменный стол. На очереди буфет из столовой. Какие-то предприимчивые умельцы наладились производить такие печурки. Ими обогреваются «буржуи» — обитатели некогда состоятельных кварталов, имевших центральное, теперь не действующее, отопление. Отсюда и название печурки. Она мгновенно нагревается докрасна, вода в чайнике закипает за несколько минут. Но так же быстро «буржуйка» и остывает. Ночью в квартире температура ниже нуля.

В 1941–1942 годах, когда Москва не отапливалась, снова появились такие «буржуйки». Эта печурка спасала нас в квартире, которую мне предоставили в Петровском переулке после того, как в 1942 году родился мой старший сын Сергей.

Постепенно отец поправляется. Начинает выходить на улицу. Путиловская верфь, где он работал, закрыта. Нет топлива, нет металла, нет заказов. Большая часть рабочих мобилизована на фронт. В городе жизнь становится все тяжелее. Семья держит совет. У отца сестра — Любовь Павловна — живет на Украине. Работает акушеркой в деревенской больнице в ста верстах от Чернигова — родины отца.

— Может, отправиться туда? — предлагает отец. — Этот край всегда был богат и хлебосолен…

— А на что вы там будете жить? — сомневается бабушка.

— Где-нибудь устроюсь, во всяком случае, там легче, чем здесь. Посмотрите, какой тощий ваш внук. Здесь он долго не протянет. Ему сейчас нужны молоко, овощи, фрукты. Всего этого на Украине полно…

Слушая их, я уже представлял себя в маленьком гробике. За эти недели я много таких видел. Скорбные фигуры, как и потом, в блокаду 40-х годов, тащат их по обледенелым тротуарам Петрограда. Я лежу в гробике неподвижный, а они трое, склонившись над ним, обливают меня слезами. И я сам начинаю реветь.

— Ну что ты раскис! — строго отчитывает меня мама. —

Замолчи, и без того тошно…

— Не надо, Люсенька, так грубо, — вмешивается бабушка. — Он такой слабенький, и нервы никуда.

Я еще больше заливаюсь слезами. Совсем не могу выдержать, когда меня жалеют. Стоит кому-нибудь в шутку сказать: «Бедненький, несчастненький», — и я тут же начинаю рыдать.

Моя истерика и истощенный вид, видимо, оказались дополнительным аргументом в пользу отъезда. Но бабушка заартачилась:

— Вы уезжайте, а я останусь здесь… Как ее ни уговаривали, стояла на своем.

— Одна я продержусь, — уверяла она. — Продам все, да мне и немного надо. Все равно скоро конец. Я свое пожила. Здесь могилы отца, деда, прадеда. Здесь останусь и я…

В конце концов решили, что уедем без нее.

Сборы были недолги. В плетеные корзинки наподобие сундуков мама уложила платья, пледы, постельное белье. Выпросила у бабушки семейный альбом. Я добавил к нему несколько тетрадок иллюстрированного журнала «Золотое детство». Там были очень красивые картинки вроде нынешних комиксов. По ним я потом учился читать.

Наконец настал час прощания. Весь этот день бабушка тискала меня, угощала сладким муссом, приготовленным собственноручно из дореволюционного порошка. Впервые я видел ее в слезах. Быть может, она чувствовала, что мы больше не увидимся: она умерла от истощения спустя год после нашего отъезда.

Путешествие на юг было долгим, трудным и запутанным: через фронты гражданской войны — то поездом, в переполненных вагонах, то в телеге, то пешком, погрузив скарб на тачку, которую толкал до следующего пристанища отец. Для меня, четырехлетнего, это, видимо, было чрезмерной нагрузкой. Помнится, порой появлялась боль в груди, похожая на ту, какую через много, много лет испытал при инфаркте. Я не мог двигаться, не мог даже шевельнуть рукой. Отец, измученный этим бесконечным странствием, сердился, думая, что я притворяюсь. И даже однажды отшлепал. Мама заступилась, предложила остановиться и передохнуть. Он же вновь пытался заставить меня идти дальше. Я чувствовал еще шаг и все кончится. Упал на землю и не двигался. Пришлось положить меня на тачку. Я понимал, отцу и без того тяжело, но ничего не мог поделать. Мне даже стало казаться, что они обрадуются, если я исчезну. Конечно, было несправедливо и неправильно так думать. Но я сам, когда появлялась боль, хотел умереть, чтобы их освободить.

В память врезались отдельные эпизоды.

…На небольшой станции у железнодорожного состава из товарных вагонов огромная толпа. Все с котомками, мешками, корзинками, баулами. Толкаются, оттесняют друг друга, орут. Паровоз уже дал свисток. Поезд сейчас отойдет. Надо успеть забраться в теплушку. Отец с корзинкой на голове протискивается в проем двери, подает руку маме. Она другой рукой тянет меня за собой. С боков стискивают до боли. Только я пытаюсь ступить на порог вагона, как сильный толчок швыряет меня в сторону. Мамина рука выскальзывает, я вылетаю на перрон. Толпа напирает, и я вижу, как маму вталкивают все дальше в вагон. Отец пытается вырваться наружу, но стоящие вокруг сжимают его железным кольцом. Поезд трогается — и я остаюсь один на перроне. Мама, высовывая из-за чьего-то плеча голову, кричит, но никто не обращает внимания. Вагоны мелькают мимо, а еще быстрее мелькают мысли в моей голове: больше я их не увижу, стану беспризорным, как те, оборванные и голодные, каких я так много видел на станциях. Вдруг чья-то сильная рука подхватывает меня. На ступеньке последнего вагона огромный матрос в тельняшке и расстегнутом бушлате ставит меня на площадку. Почему он это сделал? Может, видел, как меня оттерли от вагона, слышал, как кричала мама? От нервного потрясения дальнейшее полностью выключилось из моего сознания. С родителями я скоро увиделся…

И еще о тех годах скитаний по разоренной стране осталось в памяти постоянное сосущее чувство голода.

…Где-то уже на Украине, на краю села, покосившаяся хата. В ней нам дала приют еврейская семья. Зимний вечер. Еще не так поздно, но уже стемнело. В печке подогревается в чугуне вода. Мама собирается мыть мне голову. В углу хозяин дома, накрывшись полосатой тканью, бормочет молитву. За столом двое сыновей-подростков склонились над учебником. Отец шепчет маме:

— Посмотри, какие они упорные. Школа тут наверняка сейчас не работает. Но они сами учатся и обязательно выбьются в люди.

Хозяйка ставит на табурет старое деревянное корыто. Наливает кипяток. Мама разбавляет его холодной водой, нагибает над корытом мою голову, и я вижу, как из трещин выползают полчища маленьких желтоватых телец — дергаются в горячей воде и замирают.

— Посмотри, — кричу я. — Это вши…

— Ой вей мир! — восклицает хозяйка. — Извините. Они теперь всюду. Нет мыла, у людей плохое питание. Вот и вши…

— Ничего, — успокаивает ее мама, — они действительно всюду. Сейчас воду выльем, еще раз ошпарим корыто, и все будет в порядке. А вот вам два куска мыла, из наших запасов…

— Ой спасибо, — благодарит хозяйка.

Вспоминая эту далекую историю, думаю о том, что в 1990 году в Москве из-за нехватки моющих средств и тоже, видимо, вследствие плохого питания у многих школьников в голове обнаруживали вшей…

Утром с сыновьями хозяйки идем прогуляться по деревне. Она полузаброшена. Зашли в лавку. Ее владелец, дядя Иосиф, тучный, уже немолодой, с ярко выраженной семитской внешностью, отпустил нам бидон керосина — самого надежного средства от вшей. А мне подарил глиняную свистульку.

Ночью нас разбудили стрельба, конский топот и громкие выкрики. Хозяйка шепотом предупредила, чтобы мы затаились.

— Вокруг разбойничает банда Зеленого, — пояснила она. — Вот и к нам наведались… Вдруг — стук в дверь.

— Видчиняй, жидовська морда! — раздается пьяный возглас.

— Да яки тут жиды! Це ж украинцы, православные, — выкрикивает отец, еще не забывший украинский язык.

— Ну, добре…

Заржал конь, послышалось цоканье копыт. Потом снова несколько выстрелов…

Выглянув утром в окно, увидели, как люди бегут в сторону лавки. Мы поспешили за ними. У сорванной с одной петли двери в луже крови лежал дядя Иосиф. Рубаха задрана, высокой горкой вздулся живот. Рядом с ним, на коленях, рыдает его жена.

Передышка в Киеве

Поезд остановился в Дарнице. Дальше пути нет. Все мосты, ведущие через Днепр к Киеву, взорваны. Раннее морозное утро, но еще совсем темно. Нет ни фонарей, ни костров. Пассажиры, еле различимые во мраке, выбираются из вагонов, таща свои пожитки. Мы тоже выходим на обледенелый перрон. Ветер гонит поземку, колет иглами лицо. Вокзал разрушен, окна выбиты. Одна половинка двери, оставшаяся висеть на петлях, то и дело, подобно выстрелу, бьет о стену. Надеясь укрыться от пронизывающего ветра, входим внутрь вокзала. Здесь тоже вовсю сквозит, но в уголке, где когда-то была касса, потише. Тут мы и устраиваемся прямо на полу в ожидании рассвета. Мама расстилает плед, укладывает меня, и я сразу же засыпаю.

— Вставай, — слышу я сквозь сон мамин голос. — Отец нашел возницу. Надо ехать дальше…

На небольшой заснеженной привокзальной площади пустынно. Все пассажиры куда-то разбрелись. Отец стоит рядом с санями, запряженными тощей лошаденкой. Тут же кучер в рваном, замызганном полушубке. Корзинка и узлы уже погружены. Между ними втискивают меня. Родители устраиваются по бокам, и мы трогаемся в путь. До Днепра всего несколько верст, но лошаденка еле тащится. Я впервые замечаю странное явление: когда закрываешь глаза, кажется, что мы движемся в обратную сторону. А может, так оно и есть? Не поэтому ли мы никак не доберемся до берега? Борюсь с дремотой, глаза стараюсь не закрывать, чтобы двигаться только вперед. Хорошо накатанная дорога ведет через лес. Здесь много ухабов, и сани то и дело подпрыгивают и съезжают в сторону. Меня это забавляет, даже дух захватывает.

Вот и Днепр. У берега река основательно замерзла, и на льду чернеет тропинка. Но в середине русла узкое водное пространство. Здесь, между кирпичными быками, торчит рухнувшая в реку ферма взорванного моста. А дальше снова заснеженный ледяной покров до самого берега, круто поднимающегося в гору, где видны купола Киево-Печерской лавры.

— Как же мы попадем на тот берег? — в голосе мамы слышится отчаяние.

— Ничего, барыня, переберетесь, — спокойно отвечает возница, помогая отцу перекладывать вещи на снег. — Все перебираются. Пойдете по тропинке, потом по ферме. Только осторожней, помалу, чтоб не свалиться в воду.

Рядом какие-то люди, пришедшие с той стороны. Они подтверждают, что ферма надежная. Возница, подхватив новых пассажиров, разворачивает сани и оставляет нас одних.

Волоча по льду вещи, мы добрались наконец до фермы из скрепленных заклепками двухтавровых балок. Кто-то над ними протянул толстую проволоку, служащую поручнем. Сперва отец помог маме перебраться на противоположную сторону. Затем в два приема перетащил туда же пожитки. Теперь дошла очередь до меня. Крепко держа меня за руку, повел по косо лежащей балке. Она скользкая, и я стараюсь шагать боком, держась второй рукой за проволоку. Порывы ледяного ветра, как назло, стремятся сбросить меня в воду. Кажется, мы никогда не доберемся до следующего быка, под которым на льду нас с нетерпением поджидает мама…

В памяти всплывает комната на Подоле, в нижней части города, населенной преимущественно жителями еврейского происхождения. Семья, приютившая нас, собирается в Америку — после их отъезда мы сможем располагать всей квартирой, состоящей из двух комнат, кухни и ванной. После наших долгих мытарств — это прекрасная перспектива. Отец надеется получить тут работу, и тогда наши странствия окончатся. Но, вопреки его расчетам, в Киеве тоже голодно. Наш рацион: водянистая овсяная каша-размазня, хлеб на три четверти из сушеной ботвы, изредка — ржавая селедка. Отец устроился сторожем на складе. Мама с утра уходит в какое-то учреждение, где за кулек овса моет пол. Я остаюсь дома один, не зная, чем себя занять. Картинки в «Золотом детстве» и подписи к ним я знаю наизусть. Никаких игрушек у меня нет. На улицу выходить не разрешают там снуют бандиты. Ходят слухи, что они похищают детей и варят из них мыло. Любимое мое занятие — игра в поезд на железной кровати. У нее спинки с прутьями, которые служат рычагами локомотива. Одновременно пространство между ними — это и окно, из которого выглядывает машинист.

Мне представляется, что впереди человек на рельсах. Просовываю между прутьями голову. Ничего нет, это мне показалось. Но не могу вынуть голову обратно., Как-то она проскользнула вперед, но теперь мешают уши. Как я ни стараюсь раздвинуть прутья, ничего не получается. В конце концов засыпаю. Так меня вечером и застают родители, с головой, свисающей между прутьями, и натертыми докрасна ушами. Отец, конечно, без труда раздвинул прутья, но мне пришлось два часа простоять в углу на коленях…

Киев в непрерывной осаде, переходит из рук в руки:, немцы с гетманом Скоропадским, петлюровцы, белые, красные, поляки,

снова красные. Все разграблено, растащено, сожжено. Уже и овса не сыскать. На Владимирской горке пала лошадь. Ее сразу разделали. Кусок конины достался и нам. А что будет дальше?..

— Здесь нельзя больше оставаться, — говорит отец. — Придется ехать к Любе, в деревню. Там как-нибудь переждем гражданскую войну.

Отец, конечно, не ожидал, что за ней последует «военный коммунизм», вконец разоривший деревню.

…Большая каюта в трюме парохода. Вдоль переборок и бортов длинные деревянные лавки. На них расположились пассажиры. Мы устроились в углу. Надо мной — круглый иллюминатор. Просовывая в него голову, смотрю, как из-под гребных колес летят брызги, образующие в солнечных лучах колеблющуюся радугу. Вдоль борта бегут назад волны со множеством воронок и белой пены. Часами смотрю на это завораживающее зрелище. Мы плывем на Север, в сторону Любича, одного из древних центров Киевской Руси. Где-то до него небольшое приднепровское село — Станецкое. Обычно пароход там не останавливается. Но отец договорился с капитаном, что нас высадят. Расстояние от Киева напрямую немногим более полутораста километров. Река извилистая, порой после крутой излучины мы снова плывем на юг, вновь и вновь петляем. К тому же скорость у парохода маленькая, так что путешествие займет сутки.

Большую часть времени провожу на палубе. Она забита бескаютными пассажирами, сгрудившимися вокруг трубы, из которой идет черный дым. Здесь тепло и не так ветрено. Мне же нравится стоять на открытом пространстве, обдуваемом со всех сторон.

Прогуливаясь по палубе, вижу, что на корме два пулемета, а на носу небольшая пушка. Она прикрыта брезентом, но ствол торчит наружу. Отец объясняет, что это на случай нападения бандитов. Мне, конечно, хочется, чтобы на нас напали…

Утром я снова на палубе. Солнце поднялось над лугом и начинает пригревать. Пароход жмется к высокому берегу, огибая песчаную отмель. Большинство палубных пассажиров еще спят на скамейках. Другие, развернув еду на тряпицах, завтракают. Вдруг с берега раздается выстрел, потом второй. Из-за кустов появляются несколько всадников. Они размахивают обрезами (винтовки с обрезанным стволом, которыми обычно пользуются бандиты, поскольку их легко спрятать под одеждой), кричат. Пассажиры залезают под скамейки, а те, что поближе к трапу, спускаются в трюм. Я прячусь за трубой. Капитан на мостике командует:

— Самый полный вперед!

Вот и застрочили наши пулеметы, а затем грохнула пушка.

Мама, спрятавшись за трап, манит меня рукой. Капитан заметил ее:

— Гражданка, пусть мальчик не выбегает. Он за трубой хорошо укрыт. Прошу вас, спуститесь вниз…

Я рад, что могу наблюдать за сражением. Пароход стремительно набирает скорость. Но всадники не отстают. Прячась за кустами, они скачут параллельно, продолжая беспорядочную пальбу. Несколько пуль рикошетом отлетело от трубы. Одного из налетчиков сразил наш пулемет. У второго лошадь споткнулась, сбросив седока. Дальше, за поворотом, виднеется густая дубовая роща. Это наше спасение. Тут кони могут идти только шагом. Бандиты отстают и больше не появляются.

Игра в «кошки-мышки»

В Берлине не ошиблись, рассчитывая, что готовность рассмотреть совместно польскую проблему расценят в Москве как признак серьезных намерений германского правительства. Вечером 3 августа 1939 г. Молотов принял Шуленбурга. Посол повторил формулу Риббентропа насчет отсутствия неразрешимых проблем между Балтийским и Черным морями и добавил, что Германия желает «согласовать сферы интересов». Молотов выразил сомнение насчет серьезности германской инициативы, перечислив ряд недружественных акций Германии. антикоминтерновский пакт, поддержку враждебных СССР действий Японии, отстранение Советского Союза от Мюнхенского соглашения. Отмечу, кстати, что согласно имевшемуся договору СССР и Франция должны были совместно прийти на помощь Чехословакии в случае агрессии против нее. Когда осенью 1938 года такая угроза возникла, Москва была готова выполнить свое обязательство. В западных округах СССР была объявлена мобилизация. Но Франция не выполнила свою часть договоренности и пошла на сделку в Мюнхене, даже не проконсультировавшись с Москвой. Да и сам мюнхенский сговор имел явно антисоветскую направленность. Как можно все это совместить, спросил Молотов Шуленбурга, с заявлением германского правительства о готовности нормализовать отношения с СССР, и добавил, что не видит пока никаких доказательств изменения Германией ее позиции. Из этой беседы посол сделал вывод: советское правительство в настоящее время решило пойти на соглашение с Англией и Францией. Он рекомендовал Берлину предпринять новые усилия, чтобы заинтересовать Кремль. Между тем Сталин все более склонялся к договоренности с Гитлером.

В Берлине последовали совету Шуленбурга, и усилиями обеих сторон события стали развиваться стремительно. 12 августа Астахов посетил посланника Шнур-ре и сообщил ему о готовности Молотова обсудить в Москве с немцами поставленные ими вопросы, включая польскую и другие политические проблемы. Во время этой беседы Шнурре, в частности, упомянул пакт о ненападении. Астахов сказал, что советская сторона предлагает провести переговоры по этапам, без излишней спешки. Однако Гитлера, который уже назначил на 1 сентября вторжение в Польшу, идея «поэтапного» обсуждения не устраивала. 14 августа Шуленбургу было поручено сообщить Молотову, что, как считают в Берлине, «немецко-русские

отношения достигли поворотного пункта», что «не существует реального противоречия интересов между Германией и Россией» и что «обеим странам всегда в прошлом была на пользу дружба, а вражда — во вред». Далее послу предлагалось заявить, что «поджигательская политика Англии привела к ситуации, которая делает необходимым внести ясность в немецко-русские отношения». Иначе, подчеркивалось в инструкции, ситуация может принять оборот, когда оба правительства «окажутся лишены возможности восстановить германо-советскую дружбу, а заодно и совместно прояснить территориальные вопросы Восточной Европы».

Тут, как видим, Гитлер использовал и кнут, и пряник: посулил Сталину дружбу и территориальные приобретения и пригрозил непоправимым разрывом. «Вождь народов» все же продолжал игру: на этом этапе Москва встретила германские предложения сдержанно. Молотов заявил Шуленбургу, что советское правительство, хотя и приветствует намерения Германии улучшить отношения с СССР, торопиться не намерено. Визит Риббентропа в Москву, пояснил нарком, «потребует соответствующей подготовки, чтобы обмен мнениями оказался результативным». Вместе с тем в ходе этой беседы Молотов проявил интерес к пакту о ненападении между Германией и Советским Союзом. Были затронуты и другие вопросы. В частности, нарком поинтересовался, готов ли Берлин повлиять на Японию в целях улучшения ее отношений с СССР, а также обсудить проблему гарантий Прибалтийским государствам. Дело, видимо, тут было в том, что во время недавних переговоров с англичанами и французами выяснилось, что Лондон и Париж не намерены давать гарантий Прибалтике, как они это сделали в отношении Польши. Такую позицию в Москве расценили тогда как некий намек Гитлеру в отношении маршрута, по которому он может напасть на Советский Союз, не вызвав враждебных акций Англии и Франции. Теперь Сталин хотел, чтобы сам Гитлер закрыл себе путь через Прибалтику.

Планируя нападение на Польшу, германское правительство было заинтересовано в том, чтобы устранить угрозу с советской стороны. В Москве же, судя по всему, считали, что пакт оградит СССР на какое-то время от опасности нацистского вторжения. 16 августа от Гитлера поступил ответ: Германия согласна заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, а также оказать влияние на Японию в пользу улучшения русско-японских отношений. О Прибалтике прямо ничего не говорилось, но Шуленбургу поручили сообщить Молотову, что, по мнению фюрера, «учитывая сложившуюся ситуацию и возможность осложнения обстановки,

ибо Германия не намерена бесконечно мириться с польскими провокациями, желательно провести глубокое и быстрейшее прояснение советско-германских отношений по актуальным вопросам». Было также сообщено, что начиная с 18 августа Риббентроп готов в любое время прибыть самолетом в Москву, имея полномочия от фюрера обсудить весь комплекс вопросов и, в случае необходимости, подписать соответствующие документы.

Такая напористость, несомненно, произвела впечатление на Сталина. Ведь он не забыл, что английская и французская миссии прибыли в СССР на товаро-пассажирском пароходе и к тому же без каких-либо полномочий.

Вместе с тем «вождь народов», видя спешку Гитлера, решил еще поторговаться. Выполняя его волю, Молотов сказал послу, что до прибытия рейхсминистра в Москву следует предпринять «ряд важных практических шагов»: подписать договор о торговле и кредитах, подготовить проект пакта о ненападении, включая протокол, излагающий, в числе прочего, существо сделанных ранее германских предложений. Тут впервые был упомянут документ, который в дальнейшем фигурировал как «дополнительный секретный протокол» и который вплоть до наших дней вызывал горячие споры.

На этой стадии переговоров Астахов исчез с дипломатической сцены. Он сделал свое дело и больше не был нужен. Но он, как любил выражаться Сталин, «слишком много знал». Это и решило его судьбу. Позднее стало известно, что Астахова расстреляли. Снова нашла подтверждение средневековая формула, столь полюбившаяся Сталину: «Не опасны только мертвые»…

В Москве по-прежнему оттягивают начало переговоров. Молотов заявляет германскому послу, что визит Риббентропа требует «основательной подготовки» и что вообще афишировать его не следует. Информация Шуленбурга об этом застает Риббентропа в Берхтесгадене, в альпийской резиденции фюрера. Рейхсминистр, всегда старавшийся угодить своему шефу, на этот раз чувствует, что ему досталась миссия не из приятных. И действительно, реакция Гитлера на сообщение Шуленбурга очень бурная. Сталин, которого он рассчитывал без труда уговорить, своей медлительностью путает все его карты. Поездку Риббентропа в Москву нельзя оттягивать. Гитлер хочет договориться со Сталиным до похода в Польшу. Откладывать дату вторжения, когда его военная машина полностью заведена, а тем более в преддверии осенней распутицы, означает подвергнуть все планы серьезному риску.

И Гитлер предпринимает еще одно усилие. 19 августа

Шуленбург получает указание немедленно посетить Молотова и сообщить ему, что, хотя германская сторона тоже предпочитала бы вести переговоры в «нормальных условиях», по дипломатическим каналам, необычная ситуация, сложившаяся в данный момент, не позволяет этого сделать. Далее послу поручалось заявить, что немецко-польские отношения с каждым днем ухудшаются и в любой момент могут возникнуть столкновения, которые приведут к открытому конфликту. По мнению фюрера, нельзя допустить, чтобы такой конфликт создал трудности для выяснения советско-германских отношений, тем более, многозначительно подчеркивалось в инструкции послу, что в этом конфликте «должны быть приняты во внимание русские интересы».

Получив эту директиву, Шуленбург немедленно отправился в Кремль. Но Молотов довольно холодно воспринял его заявление. Он повторил, что прежде всего следует подписать торговый договор и опубликовать его. Только после этого можно заняться подготовкой проекта пакта о ненападении.

А затем произошел внезапный поворот. Едва посол вернулся в свою резиденцию, как его снова вызвали в Кремль. По-видимому, Сталин, выслушав доклад Молотова о беседе с Шуленбургом, учуял между строк гитлеровского послания соблазнительную возможность заключить с фюрером выгодную сделку. И тут же приказал срочно вернуть германского посла. Нисколько не смущаясь тем, что каких-нибудь полчаса назад он говорил совсем другое, нарком любезно разъяснил Шуленбургу, что после доклада советскому правительству он готов сообщить следующее:

— Если 20 августа состоится подписание торгового договора, то рейхсминистр может прибыть в Москву 26 или 27 августа.

Чтобы еще более определенно подтвердить новую позицию советской стороны, Молотов вручил Шуленбургу проект договора о ненападении.

В Берлине все это восприняли как готовность Сталина пойти навстречу немецким пожеланиям. Решив, что между ним и Сталиным устанавливается взаимопонимание, Гитлер поспешил воспользоваться благоприятной ситуацией. Германской делегации на экономических переговорах дается указание проявить гибкость, и 20 августа подписывается советско-германское торговое соглашение. Однако фюрер не может согласиться на отсрочку визита Риббентропа в Москву до 26–27 августа: эти даты слишком близки ко дню вторжения в Польшу. И он диктует свое первое личное послание Сталину, вождю ненавистного ему «мирового большевизма»: 20 августа 1939 г.

Господину И. В. Сталину, Москва

1. Я искренне приветствую заключение германо-советского торгового соглашения, являющегося первым шагом на пути изменения германо-советских отношений.

2. Заключение пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгий срок. Германия, таким образом, возвращается к политической линии, которая в течение столетий была полезна обоим государствам. Поэтому Германское Правительство в таком случае исполнено решимости сделать все выводы из такой коренной перемены.

3. Я принимаю предложенный Председателем Совета Народных Комиссаров и Народным комиссаром СССР господином Молотовым проект пакта о ненападении, но считаю необходимым выяснить связанные с ним вопросы скорейшим путем.

4. Дополнительный протокол, желаемый Правительством СССР, по моему убеждению, может быть, по существу, выяснен в кратчайший срок, если ответственному государственному деятелю Германии будет предоставлена возможность вести об этом переговоры в Москве лично. Иначе Германское Правительство не представляет себе, каким образом этот дополнительный протокол может быть выяснен и составлен в короткий срок.

5. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нетерпимым. Польское поведение по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во всяком случае, исполнена решимости отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний.

6. Я считаю, что при наличии намерения обоих государств вступить в новые отношения друг с другом является целесообразным не терять времени. Поэтому я вторично предлагаю Вам принять моего Министра иностранных дел во вторник, 22 августа, но не позднее среды, 23 августа. Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол. Более продолжительное пребывание Министра иностранных дел в Москве, чем один или максимально два дня, невозможно ввиду международного положения. Я был бы рад получить от Вас скорый ответ.

Адольф ГИТЛЕР.

Генезис пакта

Как же следовало поступить советскому руководству в создавшейся ситуации? Сейчас некоторые считают, что не надо было идти на заключение пакта о ненападении, а если и подписать его, то уж, во всяком случае, отказаться от дополнительного протокола, который объявлен «аморальным» и «незаконным» изначально. Хотя такова сейчас официальная советская точка зрения, мне представляется, что к оценке тогдашней ситуации подошли с сегодняшними мерками. Ведь многое из того, что ныне большинство прогрессивно мыслящих людей полагает аморальным, полвека назад считалось нормой международного поведения. Да и сейчас, например, вторжение американских войск в суверенное государство Панаму — только потому, что Вашингтону не понравился ее президент, как будто представляется многим западным моралистам вполне обоснованным. По теперешним стандартам политика «невмешательства» в события в Испании, где с помощью Гитлера и Муссолини было свергнуто законное правительство, так же как и мюнхенская сделка с Гитлером, выдавшая ему Чехословакию, безусловно аморальна. Но нынешние английские и французские руководители не спешат клеймить политику своих предшественников 30-х годов. Однако дело не только в этом. Важно учитывать обстановку, сложившуюся к осени 1939 года.

То, что произошло тогда, было, конечно, сделкой двух не очень-то доверявших друг другу диктаторов. Каждый из них руководствовался своими соображениями, которые пересеклись в данной временной точке. Гитлер давал понять в своей телеграмме Сталину, что готов принять далеко идущие советские требования. В тот момент уступки Москве не имели для него существенного значения. Не отказываясь от своей конечной цели — уничтожения большевизма, он считал, что в будущем с лихвой вернет нынешние утраты. Теперь же главное выдержать установленный срок нападения на Польшу. И он довольно прозрачно намекал Сталину на эту дату, упомянув о двух днях, больше которых Риббентроп не может пробыть в Москве.

Сталин же расценил послание Гитлера как стремление сотрудничать с Москвой на протяжении длительного периода. И вообще ему понравились энергичный, деловой тон автора послания, конкретность и определенность его предложений. С таким политиком можно делать дела! И как его телеграмма отличается от вялых, аморфных и уклончивых посланий, поступавших из Лондона и Парижа! Ему всегда импонировал

нацистский вождь. Еще до его прихода к власти Сталин считал главной опасностью не национал-социализм, а социал-демократов, которых он презрительно клеймил кличкой «социал-предатели». Такое его отношение понятно. Именно идеи социал-демократии могли подорвать созданную им в СССР командную систему и поставить под сомнение легитимность его неограниченной личной власти. Методы же нацистов были близки ему по духу. Поэтому и налаживание сотрудничества с гитлеровской Германией представлялось желательным. Там слово фюрера было законом. В Советском Союзе столь же непререкаемым было слово «вождя народов». И там и тут — никакой, проблемы с общественным мнением, этим порождением «гнилого буржуазного либерализма».

Отправив депешу в Москву, Гитлер впал в прострацию. Он с нетерпением ждал ответа, считал минуты,» не находил себе места. Но его не покидала вера т то, что он подобрал правильный ключ к Сталину m что ответ будет такой, какой он ждет.

А «хозяин» Кремля в эти роковые мгновения в последний раз взвешивал плюсы и минусы возможных, альтернатив. Если отказаться от соглашения, то где гарантия, что СССР не станет следующим объектом нацистской агрессии? Франция, а еще раньше Польша заключили с Германией пакты о ненападении. Чемберлен, вернувшись из Мюнхена, провозгласил мир для целого поколения и заявил, что с Гитлером можно сотрудничать. Теперь пакт о ненападении Берлин предложил Москве. Отказ, конечно же, позволит Гитлеру? объявить на всю планету, что только большевики: грубо оттолкнули его руку, протянутую с пальмовой ветвью. Отвергнув идею ненападения, коммунисты показали, что готовят агрессию. Над европейской цивилизацией нависла страшная угроза. Все народы континента? должны сплотиться, чтобы ее отразить, и Германия! готова взять на себя бремя уничтожения «большевистской заразы»! В условиях, когда мюнхенцы все еще: сидели в правительственных креслах Англии и Франции, подобные призывы, несомненно, нашли бы у них сочувствие. И Советскому Союзу нечего было бы рассчитывать на их помощь. Ибо они только и мечтали, как столкнуть Германию с СССР.

В то же время подписание пакта о ненападении, могло отвратить войну Германии против Советского) Союза, по крайней мере на какое-то время. Сталин не: исключал, что в конце концов ему придется столкнуться с Гитлером. Но он хотел как можно дальше оттянуть конфликт. Пакт, казалось, открывал такую возможность. Более того, он мог привести к длительному периоду советско-германского сотрудничества. Может быть, об этом же

думает и Гитлер, указывая в телеграмме, что отныне Германия «принимает политическую» линию, которая на протяжении столетий была благотворна для обоих государств»? Во всяком случае, полагал Сталин, подписывая пакт, правительство Германии, очевидно, решило нанести удар не на Востоке, а на Западе. И борьба там может быть длительной, что позволит Советскому Союзу остаться в стороне от конфликта до тех пор, пока Сталин сам не решит вмешаться. Для понятий того периода подобный ход мыслей был вполне логичен. Каждая из держав — потенциальных объектов нацистской агрессии — рассуждала примерно таким же образом.

В свете этого и секретный дополнительный протокол представляется не таким уж дьявольским замыслом, каким видится нам сегодня. Из послания Гитлера с предельной ясностью вытекало, что нападение на Польшу предрешено. Не могло быть сомнений, что польская армия не выдержит удара танковых корпусов вермахта. Тогда германские войска выйдут на нашу границу, проходившую в непосредственной близости от Минска и Киева, а население Западной Белоруссии и Западной Украины окажется под германским господством. Существовавшую границу с Польшей Сталин, как и вообще многие тогда в Советском Союзе, считал несправедливой и навязанной нам в трудное для страны время. В немалой степени сам Сталин нес ответственность за возникновение этой «несправедливой» границы. Когда после Октябрьской революции возникло независимое польское государство, его граница с Советской Россией была установлена в 1919 году решением Верховного союзнического совета Антанты и вошла в историю как «линия Керзона» (по имени тогдашнего министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона). Эта линия основывалась на этническом принципе: районы, населенные преимущественно украинцами и белорусами, отходили к советской стороне. Развернувшиеся вскоре военные действия между Советской Россией и Польшей первоначально принесли успех Красной Армии. Ее части под командованием Тухачевского осадили Варшаву. Ленин придавал этой кампании первостепенное значение, считая, что поражение панской Польши разрушит всю версальскую систему. Поэтому он потребовал, чтобы красные дивизии, наступавшие на Львов и находившиеся под руководством Егорова, повернули в сторону польской столицы и присоединились к войскам Тухачевского. Тем самым было бы обеспечено взятие Варшавы. Однако «политкомиссар» Юго-Западного фронта Сталин настоял на том, чтобы сперва занять Львов. Он ослушался Ленина. В итоге польские войска, укрепленные французскими советниками и оснащенные Антантой

современным оружием, нанесли сокрушительный удар армии Тухачевского, которая откатилась далеко на Восток. Одновременно пришлось отступать и частям, действовавшим в районе Львова. Оккупировав большие пространства Белоруссии и Украины, заняв Киев и другие крупные города, поляки вынудили советское правительство подписать в 1921 году Рижский договор, навязав нам новую границу, проходившую значительно восточнее «линии Керзона». Еще и в этой связи договоренность с Гитлером была особенно мила сердцу Сталина. Она давала ему возможность как бы реабилитироваться в собственных глазах и вновь провести западную границу страны примерно по «линии Керзона».

Но договоренность с Гитлером открывала и другие перспективы. Если в вышедшем в 1991 году сборнике «Сто сорок бесед с Молотовым» правильно воспроизведены слова этого соратника Сталина, то многие события 1939–1945 годов предстают в новом свете. При встрече с публицистом Ф. Чуевым 29 ноября 1974 г. Молотов, уже много лет находившийся на покое, признал: «Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширять пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей…»

После войны Сталин мог быть доволен своими приобретениями. Как-то к нему на дачу привезли только что напечатанную школьную карту СССР в новых границах. По своему обыкновению «вождь всех времен и народов» прикрепил ее кнопками к стене и самодовольно произнес:

— Посмотрим, что у нас получилось… На Севере все в порядке, нормально. Финляндия перед нами очень провинилась, и мы отодвинули границу от Ленинграда. Прибалтика — это исконно русские земли! — снова наша. Белорусы у нас теперь все вместе живут, украинцы — вместе, молдоване — вместе. На Западе нормально… — Проведя трубкой у восточных границ своей империи, продолжал: Что у нас здесь?.. Курильские острова теперь наши, Сахалин полностью наш, смотрите, как хорошо! И Порт-Артур наш, и Дальний наш, и КВЖД наша. Китай, Монголия — все в порядке…

А потом, проведя трубкой южнее Кавказа, добавил:

— Вот здесь мне наша граница не нравится…

Вернуть Карс, отданный Лениным Турции в 1921 году, Сталину не удалось.

Упомянутые же им приобретения он получил частично благодаря сговору с Гитлером, частично в результате победоносной, хотя и кровопролитной, войны, добившись

согласия союзников по антигитлеровской коалиции…

Сталина обуревали имперские амбиции. Он хотел вернуть все территории, которые ранее входили в состав царской России. На этот счет есть и его публичные высказывания. После победы над Японией он говорил о том, что люди его поколения 40 лет ждали возвращения Родине Порт-Артура, Дальнего Востока, Южного Сахалина. Бессарабия на наших географических картах перед войной заштриховывалась как «спорная территория». Присоединение к Советскому Союзу Прибалтики также было его мечтой. Дополнительный протокол открывал возможность осуществления таких замыслов. Они, пожалуй, также вписывались в менталитет межвоенного периода. Но даже если их оценить с современных позиций как аморальные, захватнические, все же нельзя не признать, что дополнительный протокол от 23 августа, так же как и протокол от 28 сентября 1939 г., объективно можно рассматривать и как документы, способствовавшие возникновению будущей линии фронта, с которой начался германо-советский вооруженный конфликт. Создалось предполье, отдалившее этот фронт от Ленинграда, Минска, Киева, Одессы на 200–300 километров. Нетрудно предположить, какая судьба ожидала бы Ленинград, если бы вторжение началось не за Выборгом, а почти у черты города. Быть может, сейчас на месте этой Северной Венеции плескались бы волны, которыми Гитлер планировал затопить «колыбель Октябрьской революции». Так что к историческим реалиям следует подходить более взвешенно. Ведь в период между двумя мировыми войнами силовое решение международных проблем все еще считалось «законным» политическим инструментом. Формула Клаузевица о войне как продолжении дипломатии иными средствами мало кем оспаривалась.

Вечером 21 августа Шуленбургу был вручен ответ Сталина Гитлеру:

> Рейхсканцлеру Германии господину А. Гитлеру
> 21 августа 1939 г.
> Благодарю за письмо.
> Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами.
> Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собою. Согласие Германского Правительства на заключение пакта о ненападении создает базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и сотрудничества

между нашими странами.

Советское Правительство поручило мне сообщить Вам, что оно согласно на приезд в Москву г-на Риббентропа 23 августа.

И. СТАЛИН

Той же ночью, вскоре после 23 часов по среднеевропейскому времени, германское радио прервало свои передачи, и диктор торжественным голосом зачитал следующее сообщение: «Имперское Правительство и Советское Правительство договорились заключить пакт о ненападении. Рейхсминистр иностранных дел прибудет в Москву 23 августа для завершения переговоров».

Гитлер торопился объявить миру о достигнутой со Сталиным договоренности. Он хотел отрезать все пути к отступлению…

Сваричевка

На Спасской башне снова бьют куранты, напоминая о неумолимом беге времени. Надо заканчивать сверку протокола. Но мои мысли улетают в далекое прошлое, туда, где начинается тропинка, приведшая меня в конце концов в эту маленькую комнату в Кремле.

…Мы заранее приготовились к высадке в Станецком. Вынесли вещи на нижнюю палубу и ждали, пока нос судна не уперся в песчаный берег. Непредусмотренная расписанием остановка заставляет спешить. Но поскольку, кроме нас, тут никто не сходит, вся операция занимает не более пяти минут.

Нас ждет у сходни тетя Люба. При всей тогдашней разрухе отцу каким-то образом удалось предупредить ее о нашем приезде. Она, по-моему, настолько не походит на отца, что трудно поверить в их прямое родство. Вся какая-то черная, сухопарая, с нервным вытянутым лицом, замкнутая и, как мне показалось, не очень обрадованная тем, что мы вдруг свалились на ее голову. Впрочем, это первое впечатление оказалось не совсем верным. Она проявила к нам — беженцам из Петрограда — материнскую заботу, всячески стараясь облегчить нашу жизнь на новом месте… Ее суровый вид, как мне теперь представляется, был связан с тем, что она считала себя оскорбленной покинувшим ее мужем и что ей, оставшейся одной с ребенком, было действительно тяжело в такие трудные времена. Главное же — ее точил червь ревности: бывший муж женился на другой, значительно более молодой женщине, которую она не упускала случая обозвать коварной и бесчестной соблазнительницей. Отец еще с дореволюционных времен знал бывшего мужа тети Любы. Тот жил в Чернигове и несколько раз приезжал к нам в Сваричевку со своей новой супругой, очень красивой блондинкой. Тетя Люба в таких случаях запиралась у себя в комнате и за занавеской показывала сопернице кукиш…

На телеге, запряженной парой лошадей, сидел, держа вожжи, мой двоюродный брат Сергей, лет десяти от роду. Я слыхал о его существовании, но видел, конечно, впервые. У него был озорной вид — всклокоченные рыжие волосы над веснушчатой физиономией. Но сразу возникло ощущение, что мы с ним подружимся.

Родители расцеловались с тетей. Она потрепала меня по голове, и мы принялись рассаживаться на телеге, уложив предварительно наши вещи.

Дорога вела сперва через густой сосновый бор, а затем по

картофельному полю. Вдали показался ровный ряд пирамидальных тополей.

— Это Сваричевка, — сказала тетя Люба. — Раньше вся больничная усадьба была обсажена такими тополями. Пришлось часть вырубить, чтобы отапливать палаты и наше жилье…

Через деревню Грековку выехали на широкую аллею, обсаженную вековыми вербами, прогромыхали по бревенчатому мосту над небольшой речкой и оказались перед открытыми воротами во внутренний двор, поросший густой травой. Справа высились два трехэтажных корпуса из красного кирпича. Тетя пояснила, что это поликлиника и стационар на 40 коек. Земская, или, как ее теперь называли, сельская, больница Сваричевка, по имени ее создателя, местного просвещенного помещика Сваричева, была открыта здесь в конце прошлого века. Рассчитанная на обслуживание жителей пяти окрестных сел, она по тем временам могла считаться образцовой. Гражданская война и интервенция обошли ее стороной, и она все еще оставалась почти в первозданном виде. Сохранился и основной медицинский персонал: главный врач Константин Константинович Васильев, акушерка тетя Люба, фельдшер Прокофий Федорович Ушач. Почти не сменился и обслуживающий персонал.

За больничными корпусами, вдоль двора располагались конюшня и каретник. Там помимо телеги, на которой нас привезли, имелись еще коляска и сани. Коровник теперь был пуст, но раньше там держали больничных и принадлежавших персоналу животных. Тем самым обеспечивались молочными продуктами и персонал, и находившиеся в стационаре пациенты. Поодаль стояли сарай с сеновалом и свинарник. На противоположной стороне двора находились жилые помещения: дом главного врача и флигель с квартирами акушерки и фельдшера. В здании стационара имелись комнаты обслуги. За жилыми корпусами раскинулся фруктовый сад, а рядом с ним — огородный участок. Территорию сада окаймляла быстрая речушка, по берегам поросшая ивами. В заводи, достаточно глубокой, была оборудована купальня. Сад, видимо, существовал тут задолго до появления больницы. Ветки антоновок раскинулись над флигелем, и, забравшись на крышу, мы могли рвать яблоки с самой верхушки. А грушевые деревья были столь огромны, что походили на вековые дубы.

Сперва мы поселились у тети Любы, но вскоре поняли, что стесняем ее. В общем-то ей с Сергеем в двухкомнатной квартире было привольно. Однако наш приезд осложнил их жизнь. Ей пришлось спать в одной комнате с сыном. Да и нам троим в малюсенькой спальне негде было повернуться. К тому же в

сложных случаях тетя Люба оставляла рожениц у себя дома.

Почти каждую неделю появлялась какая-либо пациентка. Ее укладывали в кухне. Ночью, при схватках, раздавались стоны и крики. Тетя вскакивала с постели, бежала в кухню, в доме возникал переполох. А тут еще мы!

Надо было искать другое жилье. Отец ходил по деревням, но ничего подходящего не попадалось. Выручил фельдшер — Прокофий Федорович. Он, холостяк, жил в трехкомнатной квартире один и предложил перебраться к нему. Мы въехали в две смежные комнаты, питались все вместе в большой кухне с русской печью. Кроме того, имелся чулан с окном, где отец позднее оборудовал свою сапожную мастерскую.

Фельдшер Прокофий оказался на редкость добрым и деликатным человеком. Мы с ним очень быстро сблизились и фактически стали жить одной семьей. Потом, когда мы вернулись в Киев, дядя Проша, как мы все его называли, приехал к нам на три года для завершения учебы в медицинском институте.

Отец принялся искать какую-либо работу, но ничего не подворачивалось. Первое время приходилось жить за счет того, что мама обменивала у сельских девушек свои платья на продукты. Но вскоре отец, проявив свою природную предприимчивость, принялся за дела, в которых нуждались деревенские жители: стал варить мыло из рыбьего жира, золы и еще каких-то примесей. Запах у мыла был не очень-то приятный, но свою функцию моющего средства оно выполняло неплохо. Затем съездил на свою родину в Чернигов, находившийся примерно в ста километрах от Сваричевки. Привез оттуда сапожный инструмент, а для меня сказки братьев Гримм, несколько томиков Карла Мая на немецком и Вальтера Скотта на английском языке с чудесными иллюстрациями. Это пробудило во мне интерес к иностранным языкам.

Вскоре отец отлично освоил искусство сапожника. С кожей проблемы не возникло. Его завалили заказами на сапоги, а для сельских модниц — и на более элегантную обувь. Он стачал для меня чудесные сапожки из красного сафьяна, так мне полюбившиеся, что я отказывался снимать их, даже ложась спать.

Наши дела, естественно, поправились. Несмотря на жесткую метлу «военного коммунизма», деревенским жителям, по крайней мере в нашей округе, удавалось кое-что припрятывать. У нас появились на столе яйца, крупы, молоко, творог, домашняя украинская колбаса, а порой и мясо. К Пасхе отец очень искусно раскрашивал яйца, что тоже пользовалось у соседей успехом. В деревнях тогда был распространен древний обычай «стукаться» пасхальными яйцами. Тот, чье яйцо раскалывалось, проигрывал и

должен был отдать его победителю. Чтобы куры несли яйца с крепкой скорлупой, в корм добавляли всякие примеси. Но требуемый результат не всегда достигался.

Отец придумал более надежный, хотя, пожалуй, и недозволенный метод. Из творога, известки, яичного белка он приготовлял массу, которую наносил на острый носик яйца. Затем обработанные таким образом заготовки красил в разные цвета, что полностью скрывало искусственный слой. Эти яйца были абсолютно неуязвимы, и мы с Сергеем, пользуясь ими при игре в «стукалки», приносили домой немало трофеев, дополнявших праздничный стол.

В больничной усадьбе все жили дружно. Такие же оазисы местной и бежавшей из голодных краев интеллигенции группировались вокруг лесничества, расположенного в большом зеленом массиве в нескольких километрах от Сваричевки, и в церковном приходе в Станецком, на берегу Днепра. Главный лесничий дядя Егор и несколько объездчиков и егерей жили в большой усадьбе, окруженной вековыми соснами. У каждого была семья и дети примерно нашего с Сергеем возраста. Мы очень любили праздники, которые там устраивали на Пасху, Троицу, Рождество и под Новый год. На них съезжалось множество гостей, среди них немало талантов. Все начиналось с любительского концерта. Играли на пианино, гитаре, мандолине, скрипке. Потом подавали ужин и всякие сладости. Дети бежали в лес играть в прятки, а зимой кататься на санках. Взрослые танцевали под граммофон. Атмосфера таких праздников позволяла на какое-то время забыть о нужде, взаимной ненависти и братоубийственных, кровавых конфликтах.

Жаркие летние свободные дни проводили на Днепре такой же шумной и веселой компанией. Рано утром запрягали телегу, нагружали ее всякой снедью и отправлялись в место сбора на проселочной дороге, ведущей в Капачев. Тут до революции находился большой конный завод графа Милорадовича. Теперь от завода остались только заброшенные конюшни с проваленными крышами и бескрайние луга, простирающиеся вдоль реки. Милорадовичи сбежали, коней конфисковали сменявшиеся на Украине правители, и огромное поместье осталось бесхозным. В высокой траве были россыпи поразительно душистой ярко-красной земляники. Ее аромат, смешанный с запахом цветущих трав, разносился над полем. А дальше, в крутую излучину реки, вдавалась отмель поразительно мелкого песка, в котором утопали ноги. Небольшая возвышенность, поросшая лозой и кустами шиповника, как бы разделяла косу на два отдельных пляжа. По одну сторону купались женщины, по другую — мужчины. Это

позволяло и тем и другим раздеваться догола. Те, кто постарше, окунувшись, возвращались к стоянке, где разжигали костер, готовили трапезу. А молодежь продолжала загорать и плескаться в реке.

В первый же такой пикник нас с Сергеем подозвал старший сын дяди Егора Володя. Ему уже было лет семнадцать. Вокруг стояли его друзья.

— Ребята, — обратился к нам Володя, — сбегайте на женскую половину, посмотрите, как выглядят девчата. Вы малыши, они на вас не обратят внимания!. А нам потом все расскажете.

Я отнекивался, памятуя о предостережении взрослых: если посмотришь на голую женщину — ослепнешь.

— Ну вы рискните на один глаз, — продолжал настаивать Володя. — Вот увидите, вам самим будет интересно…

Поскольку я всегда видел женщин только в длинных платьях, у меня сложилось представление, что у них должны быть совсем короткие ноги, чуть длиннее той части, что видна из-под подола. А дальше идет длинное туловище. Теперь представлялся случай убедиться, так ли это. В конце концов мы согласились выполнить поручение. Впрочем, Сергей, который был года на три старше меня, особенно и не сопротивлялся.

Исцарапанные шиповником, мы перебрались на другую сторону пляжа и подошли к воде. Искоса поглядывая на прекрасное зрелище обнаженных граций, я убедился, что имел абсолютно неправильное представление о женских формах. Хотелось посмотреть повнимательней, и мы стали прогуливаться взад-вперед по кромке воды, бросая взгляды на девушек. Сперва они не обращали на нас внимания, но видя, что мы продолжаем фланировать, одна из них, развернувшись всем корпусом, презрительно выкрикнула:

— Малыши, перестаньте мутить здесь воду. Марш отсюда!..

Посрамленные, мы побежали обратно, где нас подробнейшим образом стали выспрашивать дожидавшиеся за кустами парни…

В Станецком создали базу для ремонта речных судов. Там же реконструировались пароходы для красной днепровской военной флотилии. Узнав об этом, отец предложил свои услуги. Он использовал свои знания, определяя прочность палуб, на которые устанавливались артиллерийские орудия. За эту работу ему выдавали в месяц два мешка овса. Тогда это считалось богатством. Крестьяне предлагали за овес что угодно.

В деревне Грековка жил глубокий старик — дедушка Онищук. Он оказался большим мастером по изготовлению лодок на манер старинных челнов, какими пользовались испокон века запорожцы. Из толстого ствола вербы выдалбливалось суденышко е

заостренным носом и тупой кормой. Затем нежно-кремовое дерево густо обмазывалось снаружи и внутри несколькими слоями специальной массы, делавшей лодку водонепроницаемой и долговечной. Такие челны могли служить сотню лет, и на Днепре их можно было тогда встретить немало. Своеобразным было и приготовление массы, напоминающей нынешний пластик. Из коры березы выварили деготь. К нему добавляли смолу, мелкий песок, золу и растертый уголь. Все это тщательно размешивали, пока не получалась тягучая паста. Засохнув, она превращалась в несмываемую корку, крепкую, словно кремень. Внутри в корпус вставлялись скамеечки. Такой челн был невероятно легок, и, сидя на корме, можно было одним веслом запросто добиваться большой скорости. Запорожцы, как шмели, атаковывали в таких челнах большие корабли, а в случае опасности мгновенно скрывались в мелких протоках.

Отец как корабел заинтересовался этими суденышками. Вместе с дедушкой Оныщуком они изготовили небольшой челночок для меня. Сколько радости он мне доставил! Быстрый, подвижный, настолько неглубокий, что преодолевал любые отмели. Сидя на корме, так что нос высоко задирался вверх, я уплывал по нашей речушке на край света. Без усилия работая веслом, как бы скользил между белыми и желтыми водяными лилиями и огромными лопухами. Пропадал на речке целыми днями. У какой-либо заводи приставал к поросшему камышом берегу, плавал, нежился на разогретых солнцем зеленых лужайках. Никаких игрушек у меня по-прежнему не было. Я сам мастерил из прутиков, водорослей, ракушек и коры сосен целые армады парусников, населяя их пиратами, похищенными принцессами и рыцарями, отправляющимися на их поиски или в очередной крестовый поход. Когда я научился читать, местный священник подарил мне томик «Ветхого завета», ставший моей любимой книгой. В своих странствиях в челноке я разыгрывал библейские сюжеты, становясь то сыном фараона, обнаружившим в зарослях тростника корзинку с Моисеем, то Ноем, плывущим в ковчеге по водам Всемирного потопа…

Распространились слухи о новой экономической политике. Отец отправился в Киев и вскоре сообщил нам, что положение меняется к лучшему. Ему обещали хорошую должность на одном из заводов, и он ждал нас к себе. Мама очень обрадовалась, и мы стали готовиться к отъезду.

«Среди старых партийных товарищей»

Риббентроп, как и намечалось, прибыл в Москву 23 августа 1939 г. и сразу же направился в Кремль. Имея директиву Гитлера поскорее оформить договор о ненападении и дополнительный секретный протокол, рейхсминистр долго не торговался. Фактически он принял все основные советские требования, и в ту же ночь состоялось торжественное подписание документов в присутствии Сталина. Все же эта процедура и последовавшее затем застолье затянулись до рассвета. Только после этого Риббентроп смог сообщить Гитлеру о полном успехе своей миссии.

Все это время фюрер не смыкал глаз. Он как зверь в клетке метался по балкону своей виллы в Берхтесгадене, боясь верить, что все сложится, как он запланировал. Молчание Риббентропа становилось невыносимым. Гитлер даже заявил своему окружению, что, если его министр не договорится со Сталиным, он сам немедленно отправится в Москву…

Тем временем в Кремле Молотов и Риббентроп подписали и скрепили печатями согласованные документы. Официанты вносят шампанское. Тосты со взаимными любезностями, звон бокалов, улыбки и шутки — все это подогревает атмосферу. Присутствующие осматривают развернутую тут же выставку проектов новых помпезных сооружений для столицы «третьего рейха». Они разработаны непревзойденным мастером величественных ансамблей и световых эффектов, поражающих воображение толпы, любимцем фюрера архитектором Альбертом Шпеером. Риббентроп благоговейно поясняет, что идеи этих сооружений подсказаны лично Гитлером, собственноручные наброски которого демонстрируются на отдельных стендах.

Выставка нравится Сталину. Она вполне созвучна его представлениям об архитектуре эпохи «великих свершений». После войны по воле Сталина в Москве возведут очень схожие со шпееровскими замыслами высотные здания — те же шпили, и классические колонны. Но что особенно символично: для цоколя этих сооружений будет использован гранит, взятый с развалин гитлеровской имперской канцелярии…

Банкет, устроенный в честь Риббентропа, продолжается. Оживленная беседа сближает гостей и хозяев. Сообщая потом о ней Гитлеру, рейхсминистр, пораженный гостеприимством «вождя народов», благодушно добавляет: «Сталин и Молотов очень милы. Я чувствовал себя как среди старых партийных товарищей».

Партии, конечно, были разные, но как быстро их лидеры нашли общий язык! Несомненно, Сталин мобилизовал в эту ночь весь свой дар очарования. В возникшей «товарищеской» атмосфере Риббентроп решил как бы невзначай отмахнуться от «антикоминтерновского пакта». Он помнил, что Молотов сослался на этот пакт, как несовместимый с новыми отношениями между Германией и СССР. Обращаясь к Сталину, рейхсминистр полушутя заметил, что «антикоминтерновский пакт, в сущности, направлен не против Советского Союза, а против западных демократий». Как ни нелепо звучало подобное утверждение, Сталин подхватил эту версию и в тон Риббентропу ответил:

— Антикоминтерновский пакт на деле напугал главным образом лондонское Сити и мелких английских лавочников…

Обрадованный неожиданным единодушием, рейхсминистр поспешил присоединиться к мнению собеседника:

— Господин Сталин, конечно, меньше был напуган антикоминтерновским пактом, чем лондонское Сити и английские лавочники.

Этот мимолетный обмен суждениями явился своеобразным прологом к последующим переговорам о присоединении Советского Союза к трехстороннему договору, заключенному вскоре участниками «антикоминтерновского пакта» Германией, Италией и Японией.

Банкет продолжается. Сталин поднимает бокал в» честь Гитлера. Молотов провозглашает тост за здоровье Риббентропа и Шуленбурга. Все вместе пьют за «новую эру» в германо-советских отношениях. Прощаясь, Сталин заверяет рейхсминистра:

— Советский Союз очень серьезно относится к новому пакту. Я ручаюсь своим честным словом, что Советский Союз не обманет своего партнера…

Того же ожидал Сталин и от Гитлера.

После польского похода и встречи Красной Армии с вермахтом на согласованной в дополнительном секретном протоколе от 23 августа 1939 г. линии возникла необходимость оформить новую ситуацию. Риббентроп снова приезжает в Москву. В данном случае вполне можно было ограничиться пограничной конвенцией или просто договориться о демаркационной линии. Но Сталин, стремившийся к дальнейшему развитию отношений с Германией, пошел гораздо дальше. 28 сентября 1939 г. Молотов и Риббентроп подписали Договор о дружбе и границе, который также сопровождался секретными протоколами. В первом из них каждая из сторон обязалась не допускать «польской агитации». Это обязательство привело к фактическому сотрудничеству спецслужб Советского

Союза и гитлеровской Германии. Они не только обменивались информацией о «польской агитации», но и выдавали друг другу лиц, которых та или другая сторона хотела по разным причинам заполучить. До лета 1941 года советскими органами было переправлено в Германию около четырех тысяч человек, среди них семьи арестованных в Советском Союзе и расстрелянных германских коммунистов (всего в СССР в сталинские годы было расстреляно 242 германских коммуниста, среди них немало членов ЦК КПГ), а также немецких рабочих, которые в годы экономического кризиса на Западе перебрались в СССР. Большинство из них гестапо сразу же отправило в концлагеря, где многие погибли от истощения или были убиты. В свою очередь, нацисты депортировали в СССР лиц, которых разыскивало НКВД.

Второй секретный дополнительный протокол содержал положение, согласно которому в пункт 1 секретного протокола от 23 августа вносились изменения. Тогда советская сфера интересов включала Финляндию, Эстонию и Латвию. Теперь и Литва отходила в сферу интересов СССР. Одновременно Люблинское и часть Варшавского воеводства передавались в сферу интересов Германии с внесением соответствующих поправок в разграничительную линию. Устанавливалось также, что действующие экономические отношения между Германией и Литвой не будут затронуты мероприятиями Советского Союза в данном регионе.

Снова было подано шампанское. Начались тосты. Сталин не скрывал своего удовлетворения новыми соглашениями с Гитлером. Он сказал:

— Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье.

Когда принесли карту с только что согласованной новой границей между германскими владениями и Советским Союзом, Сталин разложил ее на столе, взял один из своих больших синих карандашей и, дав волю эмоциям, расписался на ней огромными буквами с завитком, перекрывшим вновь приобретенные территории Западную Белоруссию и Западную Украину. Свою подпись красным сталинским карандашом поставил и Риббентроп.

(В ходе происходивших в 1989 г. в Москве дебатов вокруг секретного протокола от 23 августа 1939 г. многие участники этой дискуссии почему-то упустили из виду протокол от 28 сентября того же, 1939 года. Это привело к путанице, из-за которой оказался дезинформирован и президент Горбачев. В одном из своих выступлений он, видимо с подсказки каких-то экспертов, высказал сомнение насчет подлинности протокола

от 23 августа, сославшись на то, что там Литва относится к сфере интересов Германии, а граница не соответствует той линии разграничения, которая фактически образовалась. Если бы эксперты заглянули в протокол от 28 сентября, не произошло бы такой прискорбной неловкости…)

Хвала, которую Сталин на банкете в Кремле воздавал Гитлеру, не осталась без ответа. Во второй половине декабря фюрер направил «вождю народов» поздравление по случаю 60-летия со дня его рождения. В телеграмме выражались «наилучшие пожелания. благополучия и процветания дружественному Советскому Союзу». Сталин тут же ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, цементированная кровью, имеет все шансы сохраняться и крепнуть».

Странно звучит упоминание о «дружбе, цементированной кровью». Имелись ли в виду недавние события в Польше и демонстрация «братства по оружию» на совместных с немцами парадах в Бресте и других городах, после того как вермахт и Красная Армия встретились на заранее обусловленной линии? Или же то был намек на тяжелые потери советских войск в снежных просторах Финляндии? А может, Сталин думал уже о будущих совместных с Гитлером акциях по разделу глобальных сфер интересов?

Нельзя исключать подобные амбиции «вождя народов». После того как Англия и Франция объявили Германии войну, Сталин вздохнул с облегчением. Теперь Гитлер втянулся в длительный конфликт на Западе. Он может продлиться годы. И если даже в конечном счете Германия победит, она будет ослаблена и для Москвы откроются большие возможности. Могут созреть условия и для «мировой пролетарской революции». Главным сейчас было сохранить сложившиеся с Гитлером отношения.

Молниеносный поход нацистских полчищ в Западную Европу, неожиданно быстрый разгром Франции, неспособность английских войск задержать продвижение вермахта к Ла-Маншу и их паническое бегство из Дюнкерка — все это озадачило и напугало Сталина. Он стал еще больше бояться столкновения с Германией и готов был идти на любые уступки, чтобы задобрить Гитлера. Куда теперь двинется германская военная машина? Поездка Молотова в Берлин в ноябре 1940 года, казалось, давала возможность прощупать намерения нацистского руководства.

Понимал, что волнует Сталина, и Гитлер. Он развернул широкую кампанию дезинформации с целью убедить Москву, что серьезно готовит вторжение на Британские острова. Именно эту задачу преследовал Гитлер, когда в беседах с наркомом предложил принять участие в разделе «британского бесхозного

имущества», то есть в разделе между Германией, Италией, Японией и Россией колониальных владений Англии, уверяя, что в ближайшее время Британия будет оккупирована германскими войсками и перестанет существовать как великая держава. Одновременно он внес предложение, чтобы СССР присоединился к «пакту трех», который был заключен Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 г., то есть за полтора месяца до прибытия Молотова в Берлин. Нарком проявил осторожность и не дал втянуть себя в обсуждение этих предложений Гитлера. Он настаивал на том, чтобы от советской границы были отведены германские войска, которые подтягивались туда на протяжении последних месяцев.

Пакт трех или четырех?

Вечером 13 ноября, накануне отъезда советской делегации в Москву, советско-германские переговоры должен был по поручению фюрера завершить Риббентроп. Как и на встречах с Гитлером, я присутствовал на этой беседе в качестве переводчика.

Роскошный кабинет, правда несколько меньший, чем у Гитлера. Старинная мебель с позолотой. На стенах — гобелены до потолка, картины в тяжелых рамах, по углам фарфоровые и бронзовые статуэтки на высоких подставках. Первые несколько минут предоставляются фоторепортерам. Риббентроп любезно улыбается, высоко держа голову, жмет руку советскому гостю. Он полон высокомерия и достоинства.

(Пишу об этом и вспоминаю тот же кабинет, но другого Риббентропа, объявляющего в ночь на 22 июня 1941 г. о войне советскому послу в Германии Деканозову, которого я сопровождал. Рейхсминистр перед объявлением об этом гибельном для нацистского рейха шаге выпил, видимо, для храбрости. Хотя, возможно, просто в ставке Гитлера, откуда прибыл Риббентроп, праздновали начало нового «блицкрига». Лицо его пошло красными пятнами, руки дрожали.

Выслушав заявление Риббентропа о том, что два часа назад германские войска пересекли советскую границу, посол резко поднялся и сказал, что германские руководители совершают преступную агрессию, за которую будут жестоко наказаны. Повернувшись спиной и не прощаясь, Деканозов направился к выходу. Я последовал за ним. И тут произошло неожиданное: Риббентроп поспешил за нами, стал шепотом уверять, будто лично был против решения фюрера о войне с Россией, даже отговаривал Гитлера от этого безумия, но тот не хотел слушать.

— Передайте в Москве, что я был против нападения, — донеслись до меня последние слова Риббентропа, когда, миновав коридор, я уже спускался вслед за послом с лестницы.

Что означало это поразительное признание министра иностранных дел государства, только что объявившего войну другой державе? Может быть, предчувствие позорного конца на виселице? На Нюрнбергском процессе Риббентроп пытался смягчить судей напоминанием, что известил советское правительство о своей оппозиции решению Гитлера напасть на СССР. Но это ему не помогло.)

Наконец журналисты и фотографы удаляются. Начинается беседа двух министров за небольшим круглым столом, в центре которого лампа с абажуром из тонкой кожи, разукрашенной

цветными гравюрами. Гобелены и картины старинных мастеров в кабинете рейхсминистра, — по-видимому, свежие трофеи из Франции. Но этот абажур? Теперь я думаю, не был ли то один из знаменитых подарков Гиммлера? Очень уж тонка кожа, словно человеческая.

— В соответствии с пожеланиями фюрера, — начинает беседу Риббентроп, следует подвести итоги переговорам и достичь принципиальной договоренности…

Рейхсминистр вынимает из кармана листок и продолжает:

— Здесь высказаны некоторые предложения германского правительства…

Начав излагать все ту же, сформулированную ранее Гитлером идею раздела после поражения Англии «бесхозного британского имущества» и сфер влияния на земном шаре, рейхсминистр так и не успевает закончить фразу. Раздается сигнал воздушной тревоги. Слышно, как поблизости рвутся бомбы, дребезжат стекла в высоких окнах министерского кабинета.

Зная о прибытии Молотова в Берлин, английское командование собрало все наличные силы, чтобы ожесточенным налетом на столицу «третьего рейха» продемонстрировать, что у Британии есть еще порох в похоровницах. Потом Сталин шутя пожурит за это Черчилля:

— Зачем вы бомбили моего Вячеслава?..

Но нам, разумеется, было тогда не до шуток.

— Оставаться здесь небезопасно, — произнес Риббентроп. — Давайте спустимся в бункер, там спокойнее…

Он повел нас по длинному коридору к лифту. Спустившись глубоко под землю, прошли в просторный кабинет, тоже убранный достаточно богато.

Когда Риббентроп принялся снова развивать мысль о скором крушении Англии и необходимости распорядиться ее имуществом, Молотов прервал его своей знаменитой фразой:

— Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышны даже здесь?

Как видим, не совсем правы те, кто утверждает, что Молотов был начисто лишен чувства юмора. Он порой был очень остр на язык. Однако в присутствии Сталина больше помалкивал, чем и заслужил репутацию молчальника.

Риббентроп несколько смутился, но вскоре овладел собой и безапелляционно заявил, что англичане все равно так или иначе потерпят поражение.

— По мнению германского правительства, — продолжал рейхсминистр, приближается время, когда необходимо будет

предпринять практические шаги для раздела бывшей британской империи. Поэтому Советскому Союзу было бы важно своевременно присоединиться к «пакту трех», в котором участвуют Германия, Италия и Япония, и превратить его в «пакт четырех»…

Представленный Берлином проект договора между Германией, Италией и Японией, с одной стороны, и Советским Союзом — с другой, провозглашал совместное желание четырех держав осуществить сотрудничество в целях обеспечения их «естественных сфер интересов в Европе, Азии и Африке». При этом Германия, Италия, Япония и Советский Союз должны были «взаимно уважать естественные интересы друг друга». Договор вступал в силу с момента подписания сроком на десять лет с возможным его продлением по согласию сторон. Предусматривались также два секретных протокола. Один из них определял преимущественные сферы интересов участников, причем для СССР намечалось южное направление «в сторону Индийского океана». Второй протокол касался отношений с Турцией и замены режима по Конвенции Монтрё новым режимом проливов, с учетом интересов Советского Союза.

Встреча с Шуленбургом

После возвращения в Москву Молотов, докладывая на политбюро о результатах переговоров с Гитлером и Риббентропом, сделал вывод, что в ближайшее время можно не опасаться нападения Германии. Не думаю, что Молотов поверил объяснениям Гитлера, будто германские войска, сконцентрированные на советской границе, отдыхают там перед вторжением на Британские острова. Он ведь не раз решительно требовал их отвода. Однако предложения насчет «пакта четырех» и весьма детально разработанные немецкой стороной в этой связи условия, казалось, свидетельствовали о намерении правительства «третьего рейха» еще какое-то время развивать германо-советское сотрудничество. Но главное было, пожалуй, в другом. В том, о чем Молотов поведал только лично Сталину: в готовности Гитлера с ним встретиться.

Сталин всегда считал Гитлера ловким и расчетливым политиком. Он полагал, что в состоянии проникнуть в ход мыслей фюрера, разгадать его планы. Теперь предложение Берлина о «пакте четырех» представлялось ему вполне логичным развитием этих планов. Гитлер убедился, что советская сторона скрупулезно выполняет торговые обязательства, причем даже в условиях, когда немцы значительно сократили свои поставки. Советский Союз позволил Германии не опасаться британской морской блокады, закупал и переправлял в Германию через свою территорию колониальные товары. Сталин дал честное слово, что не обманет своего партнера. И вот теперь Гитлер предлагает Москве присоединиться к «пакту трех» и готов учесть советские интересы, включая изменение режима черноморских проливов. Все это они обсудят с глазу на глаз при личной встрече, которую предложил провести Гитлер. Молотов, этот тугодум, уклонился от обсуждения столь интересного предложения и хочет потянуть. Но зачем тянуть? Конечно же, следует поскорее воспользоваться благоприятной ситуацией.

Так или примерно так рассуждал «вождь народов».

Ему понадобилось чуть больше недели, чтобы подготовить ответ Гитлеру.

Утром 25 ноября, то есть всего через десять дней после возвращения Молотова из Берлина, нарком вызвал меня к себе.

— Сегодня в девять вечера, — сказал он, как-то особенно пристально на меня глядя, — я принимаю Шуленбурга. Предупредите его заранее. Предстоит серьезный разговор. Будете переводить…

Я позвонил в германское посольство и сообщил, что нарком ожидает посла в своем кабинете в Кремле сегодня вечером, в 21.00.

Минут за десять я вышел к парадному подъезду здания Совнаркома, чтобы сопроводить посла к Молотову. Граф Вернер фон дер Шуленбург был мне уже знаком. Не раз приходилось сопровождать наркома внешней торговли Микояна в посольство Германии на улице Станиславского (бывший Леонтьевский переулок) и в личную резиденцию посла в Чистом переулке (там теперь обосновался патриарх Всея Руси). Последний раз я видел Шуленбурга на перроне Белорусского вокзала, где он приветствовал Молотова, вернувшегося из Берлина. Тогда посол был в сверкающем цилиндре, во фраке и накинутом на плечи плаще. Теперь же на нем были темно-серое длинное пальто и фетровая шляпа с едва загнутыми вверх полями, как предписывала новейшая мода. Вместе с послом из черного «мерседеса» вышел советник посольства Густав Хильгер, отлично владевший русским языком и исполнявший функции переводчика.

Оставив верхнюю одежду в гардеробе, мы поднялись в отделанном красным деревом лифте на второй этаж и направились в апартаменты Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Посол всегда блистал элегантностью. Темный, в едва заметную полоску костюм, белоснежный платок в нагрудном кармане, туго накрахмаленные манжеты, скрепленные крупными золотыми запонками, такой же жесткий воротничок, заставлявший держать голову высоко поднятой. Поэтому хорошо был виден широкий черный галстук, завязанный свободным узлом и заколотый булавкой с голубоватой жемчужиной. Наголо бритая голова и смуглая кожа, обтягивавшая скулы, придавали лицу с ухоженными усиками ориентальный облик. Быть может, сказывалось длительное пребывание на Востоке. Шуленбург представлял Германию многие годы в Тегеране. Он явно питал симпатии к Ирану. В его резиденции бросались к глаза чудесные исфаханские ковры, прикрывавшие стены, старинное оружие, щиты с вычурной инкрустацией, сабли и кинжалы. Повсюду висели персидские миниатюры, многие на эротические сюжеты, что по тогдашним временам несколько шокировало, но и свидетельствовало о смелости и «широте взглядов» этого потомственного аристократа.

Шуленбург уверенно шествовал впереди нас по кремлевскому коридору высокий, подтянутый, знающий себе цену. Кто мог подумать, что пройдет не так уж много времени и гестаповские палачи казнят его как участника неудавшегося покушения на

Гитлера?..

Кажется, перст судьбы отметил трагический конец каждого из двух послов: Шуленбурга — в Москве и Деканозова — в Берлине. Они представляли свои страны в канун страшного кровавого столкновения, и оба были впоследствии осуждены и расстреляны своими правительствами: Шуленбург — в 1944 году, Деканозов как участник группы Берии — в 1953-м…

Поздоровавшись с гостями и предложив разместиться за стоявшим вдоль стены длинным столом, покрытым зеленым сукном, Молотов заявил:

— Я пригласил вас, господин посол, чтобы сообщить следующее. Советское правительство внимательно рассмотрело предложение, сделанное 13 ноября министром иностранных дел Германии Риббентропом, и готово на определенных условиях положительно отнестись к заключению «пакта четырех» о политическом и экономическом сотрудничестве…

Далее нарком перечислил упомянутые условия. Они сводились к следующему: немедленный вывод германских войск из Финляндии, обеспечение безопасности черноморских границ СССР путем заключения советско-болгарского договора о взаимопомощи, создание баз для военных и военно-морских сил СССР в районе Босфора и Дарданелл на основе долгосрочной аренды, признание советских преимущественных интересов в регионе южнее Батуми и Баку в направлении Персидского залива, отказ Японии от концессионных прав на уголь и нефть Северного Сахалина.

— В соответствии с этими пожеланиями, — продолжал Молотов, — следует внести поправки в предложения господина Риббентропа относительно протоколов. Мы полагаем, что в случае возражений Турции против советских баз в проливах трем державам — Германии, Италии и Советскому Союзу — следует разработать и осуществить необходимые дипломатические и военные мероприятия. Поэтому советское правительство считает, что четырехсторонний договор должен сопровождаться не двумя, как предусматривает рейхсминистр, а пятью секретными протоколами…

Кратко изложив содержание этих протоколов, нарком попросил посла срочно передать в Берлин советские соображения относительно «пакта четырех».

— Мы надеемся на скорый ответ германского правительства, — заключил Молотов.

Провожая Шуленбурга к выходу, я был весь во власти обуревавших меня чувств. Наши базы на Босфоре и в Дарданеллах! Это какая-то фантастика. Вспоминались слова из

«Песни о вещем Олеге»: «Твой щит на вратах Цареграда» Константинополя-Стамбула.

Вспомнилось и то, что в годы первой мировой войны Англия и Франция обещали после поражения Турции, сражавшейся на стороне Германии, передать России Константинополь и проливы.

Тогда этого не произошло. Теперь могло осуществиться.

Неужели эту извечную мечту русских самодержцев осуществит Сталин? Действительно, будет за что величать его мудрым и великим. Меня охватил какой-то великодержавный угар. Я совершенно не задумывался над тем, сколько горя, слез и крови принесла бы реализация этих планов…

Когда в 1988 году развернулась дискуссия вокруг секретного протокола от 23 августа 1939 г., я подумал, как бы согласие Сталина присоединиться к «пакту трех» и все, что с этим связано, не вызвало ненужной конфронтации и попыток скрыть или затуманить подлинные факты. Написал записку министру иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, предлагая заранее изложить все, как было. Через некоторое время мне позвонил помощник заместителя министра Л… Ф. Ильичева, которому переправили мое письмо. Суждение Ильичева сводилось к тому, что подобная публикация была бы несвоевременной. Ничего иного я от Леонида Федоровича, которого хорошо знал, и не ожидал. Его ответ был типичным образцом мышления периода «застоя». Я подготовил статью с изложением всей истории «пакта четырех» для журнала «Международная жизнь». Она была принята и опубликована в августовском номере за 1989 год.

Сейчас некоторые наши историки высказывают мнение, что, согласившись на подписание «пакта четырех», Сталин хотел лишь прощупать Гитлера и никогда серьезно не намеревался вступать с ним в подобную «аморальную» сделку. Но если это так, то почему же его, такого подозрительного и хитрого, не насторожило молчание Гитлера, несмотря на переданное Молотовым Шуленбургу пожелание получить из Берлина скорый ответ? Не реагировали в Берлине и на повторные запросы советской стороны. Почему Сталин не сделал нужных выводов? Все дело, на мой взгляд, в том, что Сталин уверовал в свою умозрительную схему, согласно которой Гитлер, как и он сам, считал выгодным на данном этапе расширять сотрудничество с СССР.

В последующие месяцы ничего существенного в советско-германских отношениях не происходило, если не считать сделки по поводу кусочка литовской территории, отошедшей к Германии по секретному протоколу от 28 сентября 1939 г. Между обоими правительствами было достигнуто соглашение относительно того, что Германия отказывается от своих притязаний на эту часть

территории Литвы, а правительство СССР соглашается компенсировать правительству Германии, уплатив ему за эту территорию «сумму в 7 500 000 золотых долларов, равную 31 миллиону 500 тысячам германских марок». Секретный протокол об этом был подписан без особых торжеств в Москве 10 января 1941 г. Молотовым и Шуленбургом.

«Жестокий роман»

Начальник имперской канцелярии Отто Мейснер сразу же после прибытия в Берлин в декабре 1940 года нового советского посла Владимира Георгиевича Деканозова завел с ним дружбу. Ясно, что она была санкционирована самим Гитлером, который познакомился с посланцем Сталина, когда тот сопровождал Молотова в его поездке в столицу рейха и присутствовал при переговорах в кабинете фюрера. Деканозов — маленького роста, но плотного телосложения, с бочкообразной грудной клеткой, лысеющей головой и густыми рыжими бровями — при новом назначении сохранил свой пост заместителя наркома, что подчеркивало особое доверие, которым он пользовался у «вождя народов».

Когда меня в конце декабря назначили первым секретарем посольства СССР в Германии и я приступил к своим обязанностям, Владимир Георгиевич встретил меня очень любезно. Часто приглашал на ужин, брал с собой на все важные переговоры, хотя в посольстве имелся специальный переводчик. Деканозов знакомил меня не только со всеми телеграммами, касавшимися отношений с Германией, но и с документами, которые ему присылали из Москвы как члену Центрального Комитета партии. За бутылкой грузинского вина он любил поговорить о том, что они со Сталиным земляки, ибо оба карталинцы (одна из кавказских народностей). Но прежде всего он был человеком Берии, да и перешел в Наркоминдел из органов безопасности. Видимо, все это учитывали в рейхсканцелярии, благословляя особые отношения между Деканозовым и Отто Мейснером.

Регулярно, два раза в месяц, приходя к послу на ланч, Мейснер, такой же низкорослый и грузный, развалясь в кресле, за коньяком и кофе «конфиденциально» сообщал, что в имперской канцелярии разрабатываются важные предложения к предстоящей встрече между Гитлером и Сталиным. Эти предложения, дескать, направлены на расширение германо-советского сотрудничества и во многом учитывают пожелания, высказанные Молотовым в беседе с Шуленбургом в ноябре. То была чистейшей воды дезинформация. Но Деканозов, естественно, доносил о беседах с Мейснером в Москву, и Сталин, который все больше опасался столкновения с Германией и очень хотел сохранить с Гитлером «дружеские» отношения, верил им больше, чем поступавшим со всех сторон предостережениям о скором и неминуемом вторжении.

Но по мере того как шло время и не появлялось никаких свидетельств подготовки к высадке «немцев на Британских островах, у Сталина возникло своеобразное толкование ситуации: Гитлер как опытный политик, конечно, остерегается ввязываться в конфликт с СССР, пока остается нерешенным вопрос с Великобританией. Продолжающуюся концентрацию германских войск на границах с Советским Союзом можно объяснить как стремление фюрера иметь «внушительный аргумент» при торге с советским правительством. Но нельзя исключать, что германский генералитет выступает за скорейшее нападение на СССР. Еще не подготовлены новые высшие кадры Красной Армии для замены репрессированных командиров, не налажен выпуск современной военной техники. Зимняя война с Финляндией показала неподготовленность Советского Союза. Исходя из этого, немецкий генштаб требует не откладывать вторжение. В высшем германском руководстве идет ожесточенная борьба. Чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону. Отсюда вывод Сталина: необходимо проявлять осторожность, не поддаваться на провокации, которые устраивает немецкая военщина, стремясь перетянуть Гитлера на свою сторону. Если соблюдать выдержку, не отвечать на вызов провокаторов, то Гитлер поймет, что Москва не хочет никаких осложнений с Германией, и он приструнит своих генералов. Придя к такому заключению, Сталин отверг все предложения о пресечении облетов немецкой авиацией советской территории, оставляя без внимания вопиющие факты нарушения германскими солдатами советской границы. Даже в случаях убийства немцами наших пограничников дело ограничивалось устными протестами посольства — Вейцзекеру, заместителю Риббентропа.

Поход вермахта на Балканы, занявший более двух месяцев, и полет заместителя фюрера Рудольфа Гесса в Англию окончательно убедили Сталина, что войны в 1941 году не будет. Если уж в Берлине решат совершить нападение, то произойдет оно не раньше весны 1942 года. Ведь из-за операций в Югославии и Греции потеряно драгоценное время. Такой осторожный политик, как Гитлер, не начнет вторжение в Россию в середине лета, тем более что германская армия — и это известно Сталину — не готова к зимней кампании. Гессу, несомненно, поручено договориться с Лондоном. Но пока Черчилль у власти, рассчитывать на такой сговор не приходится. Потребуются месяцы на перестановку в английском правительстве. Если же миссия Гесса вообще сорвется, Гитлер, возможно, решит сперва осуществить операцию «Морской лев». Надо дать фюреру сигнал о поддержке его в споре с генералами.

И вот 14 июня 1941 г., за неделю до вторжения нацистских полчищ на советскую территорию, в Москве публикуется заявление ТАСС. В нем говорится, что, «по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы».

Публикуя подобное поразительное заявление, Сталин, видимо, рассчитывал услышать нечто подобное и от Гитлера. Но Берлин ответил полным молчанием. Заявление ТАСС не поколебало Гитлера. О советском демарше германская пресса даже не упомянула. Зато советские люди, Красная Армия оказались дезориентированными. А Сталин все еще старался вовлечь фюрера в переговоры.

Во время одной из встреч с Феликсом Чуевым («Сто сорок бесед с Молотовым», стр. 41–42) Молотов затронул вопрос о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 г., как оно трактовалось в моей книге «С дипломатической миссией в Берлин».

«Бережков упрекает Сталина, — сказал Молотов, — что для такого сообщения ТАСС не было оснований…»

Молотов, оправдывая «вождя народов», пояснил, что это заявление было продумано Сталиным: «Это дипломатическая игра. Игра, конечно. Не вышло. Не всякая попытка дает хорошие результаты, но сама попытка ничего плохого не предвещала. Бережков пишет, будто это было явно наивно. Не наивность, а определенный дипломатический ход, политический ход. В данном случае из этого ничего не вышло, но ничего такого неприемлемого и недопустимого не было. И это не глупость, это, так сказать, попытка толкнуть на разъяснение вопроса. И то, что они отказались на это реагировать, только говорило о том, что они фальшивую линию ведут по отношению к нам…»

Но если так, то почему же Сталин уже 15 или 16 июня, как только обнаружилось, что немцы не реагируют, не отдал приказ о боевой готовности наших войск, а до последнего дня отклонял любые предложения на этот счет советского командования? И почему высшие командиры Красной Армии сами не приняли мер к тому, чтобы хотя бы замаскировать в приграничной полосе наши танки, артиллерию, авиацию, и довели дело до того, что в ночь на 22 июня гитлеровцы уничтожили на аэродромах 1200 наших боевых самолетов и другую технику?

Все были в нашей стране разоружены роковым заявлением ТАСС. Вот такая дипломатическая игра!

С мая месяца начался массовый выезд из Москвы членов

семей германского персонала. В посольстве остались лишь самые необходимые кадры. 19–20 июня германские суда покинули советские порты — некоторые из них ушли недогруженными. Обо всем этом Сталину докладывали. Но он продолжал цепляться за свою концепцию, став пленником упрямой веры в Гитлера.

Состав советского посольства в Берлине не только не сокращали, но, напротив, к нам приезжали все новые семьи, многие из них с детьми. Ни одно советское судно также не было отозвано из германских портов. Более того, Сталин позаботился, чтобы поставки материалов в Германию шли бесперебойно. Последний эшелон с нефтью, марганцем, зерном пересек германскую границу за час до вторжения. Закамуфлировавшиеся и ждавшие с минуты на минуту сигнала к атаке немецкие офицеры и солдаты, наблюдая этот товарный состав, надо полагать, диву давались, поражаясь неосведомленности советских властей.

Даже 21 июня, в канун вторжения, Сталин все еще надеялся, что сможет завязать диалог с Гитлером. В тот субботний день к нам в посольство в Берлине поступила из Москвы телеграмма, предписывавшая послу безотлагательно встретиться с Риббентропом, сообщив ему о готовности советского правительства вступить в переговоры с высшим руководством рейха и «выслушать возможные претензии Германии». Фактически это был намек на то, что советская сторона не только выслушает, но и удовлетворит германские требования.

Однако Гитлера уже ничто не могло остановить.

Сталин же по-прежнему верил в созданную им самим химеру. На рассвете 22 июня немецкие самолеты бомбят Минск, Брест, Львов, Ровно, рвутся бомбы на наших аэродромах и в танковых парках, превращая в железный лом боевую технику. Взлетают на воздух склады горючего и боеприпасов. От Балтийского моря до Черного гитлеровские полчища перешли советскую границу. Но Сталин и теперь колеблется. Отказывается подписать приказ об ответных действиях. Окружающим его маршалам и членам политбюро он говорит:

— А может быть, все это провокации германской военщины? Пусть Молотов вызовет Шуленбурга. У него прямая связь с Гитлером. Пусть спросит, что происходит…

Война бушует. В кабинете Сталина тишина. Все ждут результата разговора с германским послом. Молотов отправляется к себе, дает распоряжение позвонить Шуленбургу. Тот не торопится с прибытием в Кремль. Теряется драгоценное время. Наконец посол появляется и на вопрос Молотова отвечает:

— Это война. Германские войска перешли границу СССР по

приказу фюрера…

— Мы этого не заслужили, — вот все, что может ответить послу нарком…

Сообщение Молотова: «Это война!» воспринимается находившимися в кабинете Сталина как гром среди ясного неба.

До последнего момента все верили Сталину. Зная обстановку, надеялись, что «вождю народов» известно нечто такое, что позволило ему отметать все предостережения. Теперь стало очевидным: «мудрый Сталин» просчитался. Война обрушилась на страну — ожидавшаяся и неожиданная.

Шок, который испытал сам Сталин, лишил его дара речи. После долгой, тягостной паузы он подписывает приказ об отпоре агрессору. Члены политбюро просят его выступить по радио с обращением к народу.

— Не могу, — отвечает он. — Пусть выступит Молотов…

Вызвав автомобиль, Сталин, не проронив больше ни слова, уезжает на свою Ближнюю дачу в Кунцево, почти неделю ни с кем не общается: ему стыдно, что он позволил Гитлеру обвести себя вокруг пальца. Только 3 июля находит он силы выступить по радио.

Любопытно, что и в годы войны Сталин в беседах с зарубежными деятелями, да и в публичных выступлениях, не упускает случая сказать что-то обидное о фюрере. Как-то сравнивая Наполеона с Гитлером, он назвал Бонапарта львом, а Гитлера — котенком. Он мог бы сказать «гиена» или «шакал» или еще какое-либо оскорбительное слово. Но почему — «котенок»? Наши карикатуристы мучились, пытаясь изобразить это ласковое домашнее животное страшным чудовищем. Сталин в достаточной мере чувствовал русский язык, чтобы не ошибиться в выборе выражения. Быть может, он хотел показать Гитлеру, что тот не достоин даже «шакала» и тем сильнее оскорбить его? А заодно и несколько облегчить горечь обиды?

Впрочем, и Гитлер в течение войны не переставал интересоваться фигурой Сталина. Все, кто находился в близком окружении фюрера, свидетельствуют, что он обычно говорил с уважением о Сталине, особенно ценя его «выдержку» и «стойкость». Характерно одно из парадоксальных высказываний Гитлера в «застольной беседе»: «После победы над Россией было бы лучше всего поручить управление страной Сталину, конечно, при германской гегемонии. Он лучше, чем кто-либо другой, способен справиться с русскими…»

Весной 1945 года, уже оказавшись в безнадежной ситуации, Гитлер все еще уповал на Сталина. В дневниковой записи, датированной 4 марта, Геббельс отмечает стремление Гитлера

договориться с Москвой: «Фюрер прав, говоря, что Сталину легче всего совершить крутой поворот, поскольку ему не надо принимать во внимание общественное мнение». В последние дни, как отмечал один из его биографов, Гитлер «ощутил еще большую близость к Сталину», высоко оценив его как «гениального человека», заслуживающего «безграничного уважения». Сравнивая себя со Сталиным, «фюрер не скрывал чувства восхищения», многократно повторяя, что присущие им обоим «величие и непоколебимость не знают в своей сущности ни шатаний, ни уступчивости, характерных для буржуазных политиков».

Остается только добавить, что такая оценка весьма близка высказываниям некоторых наших современных непримиримых сталинистов.

Перехитрив Сталина в дипломатической игре накануне войны, Гитлер в итоге проиграл. Сталин, торжествуя победу, все же решил проявить своеобразное великодушие к поверженному противнику. Он прекрасно знал, что обгоревшие тела Гитлера и Евы Браун были опознаны близ бункера имперской канцелярии. Стоматолог фюрера подтвердил аутентичность сохранившихся зубных протезов своего пациента. Но, прибыв на Потсдамскую конференцию, «вождь народов» заявил, что труп фюрера. не обнаружен. Этим он дал повод для множества слухов, будто Гитлеру удалось спастись. Говорили, что он скрылся в Испании или в Южной Америке. На протяжении ряда лет вновь и вновь возникали версии, согласно которым фюрер нашел убежище на необитаемом острове, куда добрался на подводной лодке. Кто-то даже видел его в Пиренеях в уединенном монастыре. Другие уверяли, что встречали его на каком-то аргентинском ранчо. Таким образом, на многие годы Сталин подарил Гитлеру полумифическое загробное существование.

Так закончился «жестокий роман» Сталина и Гитлера, стоивший народам Германии и Советского Союза неимоверных жертв и страданий.

Красный директор

В солнечный августовский день 1923 года пароход 5 «Кольцов», миновав серый гранитный остов взорванного во время гражданской войны и все еще не восстановленного железнодорожного моста, подходил к Киеву. Слева тянулись песчаные отмели Чертороя и Труханова острова. Ветерок доносил аромат разогретой солнцем красной лозы. С палубы хорошо был виден силуэт города: золотые маковки церквей, зеленые кущи парков, трубы предприятий Подола нижней части города. Судно сбавляло ход, разворачиваясь носом против течения. Мы приближались к Белой пристани — пассажирскому причалу киевского порта.

Еще издали я увидел отца, стоявшего на пирсе. На нем были светло-кремовый чесучовый костюм и такая же фуражка. За время, прошедшее с тех пор, как мы расстались, отец заметно поправился, посвежел, приосанился. Наконец-то понадобились его знания и опыт. Больше не требовалось зарабатывать на жизнь шитьем сапог и варкой мыла, можно было заняться своим прямым делом на доверенном ему посту технического директора и главного инженера завода «Большевик», крупного по тем временам предприятия по производству сельскохозяйственных машин и оборудования для сахарных заводов.

Судно быстро пришвартовалось. На пристань переброшена широкая сходня. Отец бежит к нам, проталкиваясь сквозь толпу пассажиров. Мама, после долгой разлуки, виснет у него на шее, и я никак не дождусь, когда же настанет мой черед. Вот он поднимает меня, целует, обдавая запахом табака и щекоча аккуратно подстриженными черными усиками. Носильщики волокут наши вещи плетеные сундучки, коробочки, фанерные ящики, узлы.

Мы выходим на просторную, уложенную булыжником площадь перед пристанью. Здесь выстроились извозчики. Среди видавших виды пролеток несколько элегантных экипажей. Эти осколки старого режима каким-то чудом уцелели после революции, гражданской войны, разрухи и реквизиций, осуществлявшихся многократно сменявшимися в Киеве властями: немцами, гетманом Скоропадским, Петлюрой, белыми, поляками, красными. На облучках в темно-зеленых камзолах и такого же цвета вельветовых шляпах наподобие цилиндров упитанные ямщики. Поодаль пассажиры торгуются с ломовиками. Их богатырские кони и огромные, снабженные крюками платформы могут доставить в любой конец города самый громоздкий груз.

Укрытый брезентом и обвязанный веревками, он в любую непогоду в целости и сохранности без задержки попадет к владельцам. Наш багаж невелик, но и его погрузили на одну из таких платформ. Отец дает адрес вознице, и тот сразу же отправляется в путь. Мама беспокоится:

— А не исчезнет ли он с нашими вещами?

— Этого не может быть, — успокоил отец. — Ломовики — народ гордый. Они очень дорожат своей репутацией.

С подобной порядочностью я еще не встречался. После разоренной гражданской войной деревни, где каждый был готов подобрать то, что плохо лежит, меня озадачила беспечность отца. Значит, в этом большом городе есть люди, на которых можно положиться, которые не обманут, не украдут? И мне вспомнились казавшиеся сомнительными рассказы родителей о дореволюционном Петербурге, где отношения между людьми строились на взаимном доверии.

Мы направлялись к красивой коляске с упряжкой из двух серых, в яблоках, отлично ухоженных лошадей. Это, как пояснил отец, принадлежащий заводу выезд. Конюшни, лошади и экипажи достались «Большевику» от прежних владельцев чешских капиталистов Грейтера и Криванека. С козел спустился кучер дядя Иван, любезный, предупредительный и вместе с тем державшийся с достоинством. Впоследствии я с ним подружился и часами пропадал в конюшне, стараясь помогать присматривать за лошадьми. Меня очаровала ждавшая нас коляска с блестящим черным кузовом, расписанным золотыми виньетками, с красными спицами колес на резиновом ходу, бархатными подушками, двумя карбидовыми фонарями, сверкавшими красной медью. Дядя Иван помог маме устроиться на заднем сиденье, а меня посадил на откидной скамеечке напротив.

Экипаж катился по булыжной мостовой плавно и бесшумно, приятно покачиваясь на упругих рессорах. Каучуковые прокладки на подковах делали едва слышным бег лошадей. Дядя Иван цокал языком и время от времени прикрикивал на зазевавшихся прохожих:

— По-о-о-сторонись!..

Сейчас как-то не верится, что в моем детстве основным видом городского индивидуального транспорта все еще оставалась лошадь, служившая человеку на протяжении многих тысячелетий! Автотакси появились в Киеве только в начале 30-х годов, а ломовики соперничали с грузовиками почти до начала войны…

Преодолев крутой подъем Владимирской горки, выехали на Крещатик. Солнце клонилось к западу, освещая левую сторону улицы. Тут было много нарядной публики. На тротуарах за

столиками кафе в непринужденных позах расположились горожане, потягивая прохладительные напитки. Вокруг Бессарабки — центрального рынка, построенного в старорусском стиле, — толпилось особенно много народу. Прямо на мостовой высились горы арбузов и дынь, повсюду были расставлены лотки с разнообразными фруктами, палатки мороженщиков, мангалы с бараньим шашлыком.

Здесь мы повернули направо и стали подниматься вверх по Бибиковскому бульвару (теперь бульвар Шевченко), окаймленному высокими пирамидальными тополями. Слева, над чугунной оградой ботанического сада, свешивались ветви акаций с запоздалыми гроздьями белых цветов, распространявших дурманящий аромат. Дальше — Еврейский базар, или Евбаз, как его сокращенно называли, и мы сразу же окунулись в шумное, пестрое море толкучки. Преграждая нам путь, продавцы предлагали свой товар, на все лады расхваливая его и выкрикивая цены, которые тут же снижали. Яркая, красочная картина.

Выбравшись на Брест-Литовское шоссе, покатили быстрее и, преодолев еще километра три, оказались у цели: слева, за стеной, поднимались корпуса завода «Большевик». Непосредственно к нему примыкала усадьба, принадлежавшая владельцам завода. Наша упряжка остановилась перед высокими дощатыми двустворчатыми воротами, выкрашенными белой краской. Дядя Иван проворно соскочил с козел, распахнул ворота и повел лошадей под уздцы. Коляска плавно перекатилась через порожек, и мы оказались в мощенном брусчаткой дворике.

Слева, метрах в тридцати, начиналась территория завода. Справа — легкий забор из металлической сетки с такими же воротами отгораживал аллею, ведущую к одноэтажному особняку под зеленой крышей. Полукруглые вверху, забранные частыми переплетами окна, колонны у парадного входа и широкая открытая веранда создавали впечатление загородного помещичьего дома.

Отец повел маму осматривать квартиру, а я сразу же побежал в сад. Он был огромный, со множеством укромных уголков, зарослями каких-то экзотических растений наподобие бамбука, с увитыми плющом беседками. Тут росли декоративные и фруктовые деревья, грецкие орехи, кусты малины, черной и красной смородины. Сад украшали небольшие бассейны с водяными лилиями и фонтанчиками, клумбы и розарии. Напротив веранды, увитой диким виноградом, высился, наподобие конуса, грот, сложенный из шлаковых блоков, с небольшими площадками, на которых красовались ландыши. Весной это благоухающее чудо напоминало огромную сахарную

голову. От грота в разные стороны расходились дорожки, усыпанные желтым песком. Усадьбе все еще полагался садовник. Им был благообразный, солидный мужчина, очень добросовестно выполнявший свои обязанности.

Дальше, в глубине сада, стоял флигель, в котором, как я потом узнал, жили главный бухгалтер Шехтер и начальник пожарной охраны завода, бывший царский офицер Перекрестов. Особняк мы делили с красным директором завода Владимировым. Наша несколько меньшая половина состояла из пяти комнат больше, чем требовалось. Мама сказала, что хватит трех: двух спален и гостиной. Для них едва набралось мебели: за годы безвластия все внутреннее убранство особняка исчезло. Комнаты остались абсолютно голыми. В двух пустующих мы устроили, когда я обзавелся друзьями, любительский детский театр. Были у нас также ванная комната и небольшая кухня, откуда на веранду вел длинный коридор с ларями. Мама, наученная горьким опытом голодных лет, тут же заполнила их крупами, мукой, сахаром, картофелем, солениями и другими припасами. Впрочем, в этом не было нужды. В Киеве времен нэпа всего было вдоволь.

С появлением червонцев — больших десятирублевых банкнот с изображением пахаря и молотобойца — рубль стал весомым и конвертируемым. Мои родители, испортившие во время скитаний по стране свои зубы, покупали для коронок золотые царские десятки — три монеты за два червонца. Конвертируемость рубля позволяла нашим хозяйственникам, писателям, артистам без финансовых проблем ездить за границу. Червонцы повсюду охотно принимали, даже предпочитали доллару. Люди распевали частушку:

Червонцы мои червоноченные,
Любит вас простой народ и уполномоченные…

Каждую неделю мы с мамой отправлялись трамваем за провизией на Евбаз. Меня привораживала красочная картина невероятного изобилия, обволакивали ароматы овощей и фруктов. За два рубля мы доверху наполняли две большие корзины, которые с трудом волокли домой. Нередко меня посылали за продуктами к бакалейщику Паремскому. По маминому списку он отвешивал мясо, рыбу, масло, сыр и прочее и, положив все в корзинку, делал запись в лежавшей у него на конторке толстой книге. Денег мне с собой не давали, и Паремский, благодаря за покупку, обычно говорил:

— Когда у отца будет получка, расплатитесь…

Вся округа брала у него продукты в кредит, и никогда не возникало недоразумения. Такого же порядка придерживался и колбасник Жук. К нему я бегал с особым удовольствием. Уже издали манили запахи коптильни. А в лавке с дубовых балок потолка свисали окорока, колбасы, связки сосисок. Но была и еще одна причина моего частого появления в коптильне Жука — я был тайно влюблен в его рыжеволосую дочку Светлану, уже совсем взрослую. Она часто помогала отцу за прилавком.

Первые недели в Киеве запомнились как сказочный сон. Наверняка бывали дожди, небо заволакивали серые тучи, но мне помнятся только солнечные денечки, теплые и ласковые, с мягкими красками ранней осени. После крайней скудости и примитивности сельской жизни, где не было ни электричества, ни водопровода, где только начиналось возрождение после опустошения «военным коммунизмом», все в городе меня поражало: уличные фонари, асфальтированные тротуары, трамваи, каким-то чудесным образом бегущие по рельсам. А о редких автомобилях и говорить нечего! Все здесь казалось невероятным, фантастичным.

Оставаясь в квартире один, я часами вертел выключатель, будучи не в состоянии понять, почему мгновенно вспыхивала лампочка. Мне казалось, что должно пройти время, прежде чем то вещество, которое заставляет лампочку вспыхнуть, достигнет ее. И я хотел уловить этот промежуток. В равной степени удивили меня белая булка, какой я не видел в своей жизни, красная головка голландского сыра, арбуз. До этого мне была знакома только тыква. И уж вовсе немыслимой казалась стеклянная баночка, стоявшая на письменном столе отца в гостиной. Проводок от нее вел к наушникам, а сверху торчала кнопочка, от которой шел стерженек к прикрепленному на дне кристаллу. Надев наушники и поворачивая кнопочку, чтобы стерженек царапнул кристаллик, можно было «поймать» человеческую речь или музыку. Это был детекторный радиоприемник чудо технической мысли тех времен.

Наш сосед — красный директор Владимиров — мне понравился с первых же дней. Меня подкупало то, что он обращался со мной как со взрослым, разговаривал, будто с равным, внимательно выслушивал, между тем как родители, считавшие меня несмышленышем, не упускали случая, как мне казалось, это демонстрировать.

Красный директор, конечно же, ничего не смыслил в производстве. Он должен был осуществлять «политическое руководство» и контроль за техническим специалистом, то есть за моим отцом. Я сразу понял, что отношения у них сложились

хорошие, доверительные. Владимиров все перепоручал главному инженеру, не вмешивался в дела предприятия. В годы гражданской войны и интервенции Владимиров был одним из командиров дивизии Котовского, партизанившей в Бессарабии, а затем влившейся в Красную конницу. Потом часть, где он служил, перебросили на Дальний Восток — воевать против японских интервентов. Его подвиги, отмеченные орденом Красного Знамени, завершились тем, что он привез из Приморья жену — японку, очень хорошенькую, миниатюрную, приветливую и работящую. Она с утра до ночи хлопотала по хозяйству, развешивала в саду белье, которое стирала ежедневно, и готовила чудесные пельмени со сказочной начинкой. У них была трехлетняя дочка — Зоя, которая почему-то сразу же влюбилась в меня. Вечерами, после купания, она выскальзывала из рук матери, совершенно голая бежала на нашу половину и, выкрикивая: «Жених, жених!» — гонялась за мной по всему дому. Меня это приводило в ужасное смущение: за исключением дочери колбасника Жука, я ко всем существам женского пола относился тогда весьма скептически.

Фактически все управление заводом «Большевик» и вся ответственность за положение дел лежали на моем отце. Даже вопросы охраны предприятия он никому не передоверял. Тем более что понимал: будучи дореволюционным специалистом, ом, в случае любой аварии, мог быть обвинен во вредительстве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Незадолго до того как отец был сюда назначен, произошел пожар на одной из трех огромных цистерн — хранилищах нефти, служившей топливом для котельной. За это тогдашнего главного инженера, тоже старого «спеца», арестовали и отправили в лагерь, хотя причина пожара не была выяснена до конца. Выгоревшая, ржавая и покореженная цистерна служила постоянным предостережением о возможном акте саботажа. Начальник пожарной охраны Перекрестов всячески демонстрировал свое усердие, каждое утро докладывал обстановку. Даже по воскресеньям, когда наша семья завтракала на открытой веранде, он неизменно появлялся, держа руку у козырька фуражки и шагая напрямик, через клумбы и газоны. Подойдя совсем вплотную, он зычным голосом, по-военному, рапортовал:

— Честь имею доложить, на заводе все в полном порядке. Начальник пожарной охраны Перекрестов.

— Да что вы, Константин Константинович, — говаривал ему отец. — Зачем же так официально? Садитесь, выпейте чайку…

— Не имею права. Нахожусь на посту. Разрешите идти?

Он поворачивался на каблуках и таким же напряженным

шагом, по прямой линии, словно следуя протянутой нитке, покидал усадьбу. Эта сцена повторялась каждое воскресенье. Перекрестов ни разу не принял приглашения к чаю, и отец называл его настоящим службистом. Но все же целиком не полагался на него и регулярно по ночам обходил территорию завода, проверял сторожей и вахтеров, дежуривших в проходной.

Однажды я был разбужен громкими возгласами мамы, необычным шумом и беготней за дверью моей спальни. За окнами стояла кромешная тьма. Значит, утро наступит не скоро. Почему же родители не спят?

Спустив босые ноги с постели, я подошел к двери и приоткрыл ее. Передо мной предстала страшная картина: отец, полностью одетый, полулежал в кресле. Ворот рубашки был расстегнут, и на ней, так же как и на шее, виднелись потеки крови. Мама в накинутом на плечи халате, присев рядом на стуле, прикладывала мокрое полотенце к лицу отца. Я разрыдался и бросился к ним.

— Не плачь, — успокоил меня отец. — Ничего страшного. Обходя завод, заметил около цистерн какого-то человека. Окликнул его, но тот бросился бежать. Я погнался за ним. Не заметил в темноте железную балку и налетел на нее. После холодных примочек все обойдется…

Рано утром он, как обычно, отправился на работу, где сделал выговор Перекрестову. Тот усилил ночную охрану, но отец не прекратил свои ночные обходы, а шрам у него на переносице остался навсегда.

Мне очень нравилось бродить по территории завода. Это не возбранялось. Вахтеры скоро ко мне привыкли и не обращали внимания, когда я мимо них проходил. Но в цеха заходить не разрешалось. Зато в административном здании я был частым гостем. Кабинеты красного директора и главного инженера находились рядом. Туда вели высокие дубовые двери из просторного помещения со множеством столов, за которыми сидели сотрудники заводоуправления. За стеклянной перегородкой находилось машбюро. Там восседали дамы, одетые в белые кружевные кофточки и длинные, до пят, темные юбки. Их высокие прически напоминали фотографии в мамином семейном альбоме. Виртуозно, как бы играючи, они мелкой дробью постукивали по клавишам «ундервудов», производивших на меня не меньшее впечатление, чем детекторный приемник. Дамы угощали меня крепким чаем с бубликами. Мы подружились, и я был допущен к таинству печатания. Специфический запах копирки до сих пор напоминает мне те далекие дни. В годы гражданской войны эти дамы работали в штабах красных полков,

редактируя и печатая приказы, рапорты и распоряжения малограмотных, а порой и вовсе безграмотных комдивов.

Как-то, заглянув к отцу, я застал у него красного директора. Он был в военного покроя френче, темно-синих галифе и высоких, до блеска начищенных сапогах. Я хотел было ретироваться, но Владимиров поманил меня, посадил на колени, принялся расспрашивать. Я с гордостью сообщил, что научился печатать на машинке.

— Не мужское это дело — вертеться около юбок, — сказал директор. — Сходи лучше в цеха, познакомься с рабочим классом. Там узнаешь кое-что поинтереснее…

Отец поддержал эту идею и на следующий день провел меня по основным цехам предприятия. Мне понравилась паровая машина, вращавшая огромный маховик, от которого сквозь отверстие в стене убегала широкая кожаная лента. За стеной, в токарном цехе, она была накинута на меньшее колесо, прикрепленное к длинному валу — трансмиссии с множеством колесиков. Они вращали шкивы поуже, соединенные с токарными станками.

Такие же трансмиссии имелись и в других цехах. И всю эту сложную систему приводила в движение паровая машина.

Много времени проводил я у модельщиков и литейщиков. Они относились ко мне дружески, позволяли упражняться на свободном верстаке, одолжили ножовку, рубанок и другие инструменты. Я мастерил из обрезков досок паровозы, автомобили, самолеты. В литейном цехе меня увлек процесс формовки, когда в опоках уплотнялась просеянная черная земля, а потом извлекалась деревянная модель и заливался расплавленный металл. Нравилась мне и работа электриков, которым я с радостью подносил проволоку, выключатели, рубильники и вообще старался быть полезным. Все это подготовило меня к будущей работе электромонтера на том же «Большевике».

Смерть Ленина

Грейтер и Криванек выписали немало чешских рабочих высокой квалификации. Почти все они остались на «Большевике» после революции. Условия здесь сохранялись те же, что и при бывших владельцах. Выдавалась спецодежда: токарям и литейщикам — кожаная, остальным — из толстого брезента. На работу приходили в аккуратных костюмах и переодевались в спецовки. По окончании смены принимали душ и надевали чистое. Правда, столовая отсутствовала: еду приносили с собой в алюминиевых баульчиках.

Не только чехи, но и рабочие другой национальности жили в основном в индивидуальных домах с садиком в поселке, расположенном за кирпичным забором, напротив проходной. Неподалеку действовал миниатюрный пивоваренный завод, и вся округа наслаждалась прекрасным чешским пивом. Имелся клуб с киноустановкой и сценой, где ставились пьесы на революционные темы с неизменной победой красных над белыми.

Заводская поликлиника с небольшим стационаром обслуживала также членов семей. Надо полагать, что сейчас работающие на «Большевике» имеют тоже приличные условия, но вряд ли они живут в отдельных домиках и регулярно пьют свежее чешское пиво. Грейтер и Криванек расположились в своей усадьбе, конечно, неплохо. Но надо отдать им должное: заботу о рабочих они тоже проявляли.

Когда начался театральный сезон, родители почти каждое воскресенье стали ездить в театр, а в оперу нередко брали и меня. Архитектура здания, богатое внутреннее убранство, пурпурные кресла, позолота, вычурные канделябры, торжественность зала — все это производило огромное впечатление.

Первая опера, услышанная мною, была «Демон» Рубинштейна, по одноименной поэме Лермонтова. Фантастичность сюжета, необычные костюмы, сказочные декорации суровых кавказских гор так меня захватили, что захотелось воспроизвести все это в нашем домашнем театре. Вместе со школьными товарищами мы вырезали из ватмана и цветной бумаги декорации, смастерили из лоскутков маминого рукоделия костюмы и, перечитывая поэму Лермонтова, дополняли либретто своими эпизодами. Наконец все было готово, премьеру назначили на 22 января 1924 г.

Вечером 21 января внезапно раздался протяжный, не прекращающийся гудок «Большевика». Его подхватили соседние предприятия, слившись в тревожный гул. Вдруг все стихло,

наступила зловещая тишина. Но спустя пару минут «Большевик» своим мощным гласом как бы вновь приглашал других подхватить скорбный звук. Так повторялось вновь и вновь. Прервав последние приготовления к спектаклю, мы окружили маму:

— Что случилось? Почему гудят?..

Мама была в растерянности. Все падало у нее из рук.

— Произошло что-то страшное, — сказала она дрожащим голосом. — Может, началась война? Почему так долго нет отца?..

Он должен был уже давно вернуться с завода, но все не приходил. Мои товарищи быстро оделись и помчались домой. Мы с мамой, накинув пальто, вышли на веранду. Здесь, на открытом воздухе, гул казался еще страшнее. Мы вернулись в дом, охваченные тревогой. Пристроились в уголке дивана и стали ждать, прислушиваясь к гудкам. Перед моим мысленным взором проплывали обрывки воспоминаний — страшные картины гражданской войны: солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками, пулеметные очереди. Мама прячет меня в какой-то подворотне. Мимо бегут люди. Кто-то упал, сраженный пулей. Вопли женщин и детей. Неужели снова война?

Отец вошел в комнату мрачный, осунувшийся. Мы устремились к нему. Он сказал:

— Умер Ленин…

Что пережил в этот момент восьмилетний подросток? К политике я не испытывал никакого интереса. Но было два имени, которые я знал с младенчества: Ленин и Троцкий. В голову запала популярная частушка:

Я на бочке сижу, а под бочкой каша,
Ленин-Троцкий нам сказал, что Россия наша!

О Сталине тогда никто не слыхал. Его имя начало появляться только в конце 20-х годов. С Лениным все связывали нэп, который почти мгновенно изменил жизнь к лучшему. Появление червонцев и исчезновение миллиардов «керенок» и «совзнаков», которыми вместо обоев стали оклеивать стены, тоже заслуга Ленина. Все это создавало чувство защищенности, веру в то, что худшее осталось позади и что дальше нас ждет только хорошее. Я не знал о болезни Ленина, о том, что он уже много месяцев оставался недееспособным, что страной управляли другие люди. Постоянное присутствие Ленина, хотя и где-то далеко, в Москве, представлялось мне чем-то естественным и неизменным, чем-то, что оберегало меня, сделало жизнь нашей семьи благополучной. И вдруг Ленина не стало…

За свою короткую жизнь мне пришлось видеть немало смертей. Но гибель людей, боровшихся друг с другом, казалась неизбежной, даже естественной. Шла война, кругом стреляли, спасались те, кому повезло. Но там, далеко, в Кремле, над всем этим стояли Ленин и его ближайший соратник — Троцкий. И пока они были, происходившее вокруг имело определенный смысл. Меня никто этому не учил, отец не говорил со мной о политике. Я как-то до всего дошел своим умом. И вот теперь не стало Ленина. При словах отца «умер Ленин» у меня что-то оборвалось внутри. Я разрыдался и убежал в свою комнату, где еще долго не мог успокоиться.

Сквозь приоткрытую дверь я слышал, как отец, понизив голос, говорил маме, что смерть Ленина — огромная потеря.

— Ленин понимал, — доносился до меня глухой шепот отца, — что эксперимент с «военным коммунизмом» привел страну в пропасть. Но у него хватило здравого смысла круто повернуть руль. Пойдут ли по новому курсу его наследники? Все они фанатики. Снова станут навязывать людям сомнительные идеи. Но сначала будет борьба за власть. Примутся резать друг другу горло.

Я удивился, почему отец так плохо отзывается о соратниках Ленина. Ведь есть его ученики, продолжатели его дела…

Всхлипывая, вышел в гостиную. Отец посадил меня рядом на диван. Спросил, как же с нашей премьерой, назначенной на завтра.

— Театр закрыт, траур, — решительно заявил я.

И тут же отправился писать плакат черной краской по красному полотнищу: «Представление оперы «Демон» отменяется по случаю кончины Ленина».

Пришел Владимиров. Он не скрывал своего горя. Слезы стояли у него в глазах. Он обнял отца, положил голову ему на грудь и зарыдал, как ребенок.

— Мы осиротели, — повторял он. — Совсем осиротели. Нет никого, кто мог бы заменить Ильича. Мы остались без вождя. Что с нами будет?

— Надо мужаться, — успокаивал его отец. — Жизнь продолжается. Нельзя падать духом…

Владимиров вытер слезы, попросил у мамы прощения за свою слабость. Прислушавшись к непрекращающимся гудкам, сказал:

— Пора идти на траурный митинг.

Я попросился с ними, и отец взял меня с собой. На заводском плацу собралась огромная толпа. Несмотря на снег и холодный ветер, все стояли с непокрытыми головами. На сколоченной из досок трибуне, затянутой черной и красной тканью, были какие-

то люди. Туда же поднялся Владимиров. Мы с отцом остались неподалеку. Гудки прекратились. Самодеятельный духовой оркестр заиграл траурный марш. У меня снова к горлу подкатил комок и навернулись слезы. Отец, заметив мое состояние, до боли сжал мою руку, и стало немного легче.

Сначала выступали стоявшие на трибуне. Потом один за другим туда поднимались рабочие. Вновь и вновь раздавались траурные мелодии. Горе было неподдельным. Митинг продолжился далеко за полночь.

Целую неделю Киев, как и вся страна, находился в трауре, оплакивая невосполнимую утрату. Люди оцепенели в горе, скорби и страхе за будущее. Они не ведали, что человек, соблазнивший их созревшей в его могучем мозгу утопией, уже завел пружину дьявольского механизма репрессий, который унесет в могилу десятки миллионов соотечественников.

В Москве вожди поклялись продолжать дело Ленина. Им поверили.

Жизнь постепенно вошла в нормальную колею. Красный директор «Большевика» по-прежнему тяготился своими прямыми обязанностями. На работе он обычно бывал лишь в первую половину дня. Затем, передав бразды правления главному инженеру, спешил к дяде Ивану, к лошадям, слабость к которым питал со времен удалых кавалерийских рейдов дивизии Котовского. Он особенно был влюблен в молодую кобылицу по кличке Аида, гнедую красавицу с огненными карими глазами, крутой шеей и черной, как смоль, гривой. Владимиров сам седлал ее, выгуливал по плацу. Затем накидывал себе на плечи белую бурку, привязывал к поясу боевую саблю — подарок Буденного — и, лихо вскочив в стремена, выезжал из ворот на другую сторону шоссе. Здесь он давал Аиде шпоры и пускался в галоп по уходящему к горизонту полю. Выхватив из ножен шашку и размахивая ею, словно рубя головы невидимым врагам, он мчался, поднимая клубы пыли, по бескрайнему пространству до самого Святошино, некогда аристократического пригорода Киева. Спустя пару часов Владимиров возвращался на взмыленной кобылице, счастливый и полный энергии…

Этого человека, преданного солдата революции, не минула участь, постигшая многих его соратников. Спустя некоторое время Владимирова перевели в тогдашнюю столицу Украины — Харьков. Здесь он получил пост директора Института проектирования предприятий тяжелого машиностроения. А в начале 30-х годов его по доносу арестовали и расстреляли. Национальность его жены оказалась достаточной уликой, чтобы объявить Владимирова японским шпионом.

Глава вторая

Закупочная комиссия

Отправлявшаяся в Германию в начале февраля 1940 года закупочная комиссия состояла из видных специалистов в области экономики, опытных конструкторов военной техники, генералов и адмиралов, директоров крупных предприятий. Некоторые из них стали впоследствии известными политическими деятелями, как, например, Д. Ф. Устинов. Тогда он был директором оборонного завода в Ленинграде. Способный инженер и неплохой администратор, он обратил на себя внимание возглавлявшего комиссию наркома судостроительной промышленности Тевосяна, от которого об Устинове узнал Сталин. В начале войны Устинов был назначен наркомом оборонной промышленности и сделал много для организации выпуска современных видов вооружений, значительно превосходивших германские образцы. А завершил он свою карьеру как член политбюро и министр обороны СССР, участвовавший в принятии бесславного решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.

Из-за распространенной у нас в сталинские времена приверженности к конспирации всех, входивших в состав закупочной комиссии, в том числе и меня, нарекли в паспортах «купцами». В этой связи произошел забавный инцидент.

Через некоторое время после прибытия в Берлин наша группа была принята главнокомандующим германским военно-морским флотом гроссадмиралом Редером. Войдя в его кабинет вслед за Тевосяном, мы увидели сидящего за большим столом худощавого, уже довольно пожилого человека с волевым лицом. На нем была черная адмиральская форма со множеством орденских планок на груди. Редер медленно поднялся с кресла, выпрямился во весь свой завидный рост и, протягивая руку Тевосяну, громко произнес:

— Приветствую господ адмиралов и генералов!

Не ожидавший такого обращения, Тевосян начал было пояснять, что его делегация состоит из скромных «купцов». Но Редер, сделав протестующий жест, вернулся к столу, взял лежавшую там газету «Правда». Он развернул ее так, чтобы мы могли видеть всю первую полосу. Там был напечатан указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых высших воинских званий и о присвоении их первым генералам и адмиралам. А дальше шли фотографии, среди которых нетрудно было распознать некоторых «купцов» из нашей закупочной комиссии.

Таким конфузом закончилась эта конспирация. Тевосяну

оставалось лишь развести руками и пустить в ход свою обезоруживающую белозубую улыбку…

Из Москвы мы выехали поездом с Белорусского вокзала. Утром прибыли в Ригу — столицу буржуазной Латвии.

Здесь предстояло пересесть на немецкий поезд, отправлявшийся через Кенигсберг в Берлин поздно ночью. Сдав вещи в камеру хранения, мы весь день гуляли по городу. Снабжение в Москве тогда было гораздо лучше, чем в 80-е, а тем более в 1991 году, но все же оно тускнело по сравнению с Ригой. Поражало обилие товаров и продуктов питания. Мы знали из нашей прессы, что в буржуазной Латвии крестьянам и рабочим жилось нелегко, что немецкие бароны, издавна обосновавшиеся в Прибалтике, наживались на дешевом труде простых людей, которые, конечно же, жили впроголодь. В нашем представлении жизнь там уж никак не лучше, чем в Москве — столице рабоче-крестьянского советского государства. Но то, что мы увидели на рынке, рядом с вокзалом, а также в многочисленных магазинах, казалось просто фантастическим. Причем все это было доступно даже для нашего тощего кошелька. Разнообразнейшая обувь, меховые пальто и куртки, костюмы и пуловеры, грампластинки, патефоны, радиолы и радиоприемники, горы фруктов и овощей, целые туши на крюках в мясных лавках — просто глаза разбегались.

Я стал размышлять: если и в Германии такое изобилие, то надо не сплоховать. Купить хорошие подарки близким, да и самому получше экипироваться. Значит, решил я, надо экономить. Аванс, выданный нам в долларах, сразу приобрел особый вес, и я уже, сожалел, что истратил 50 центов на плитку швейцарского шоколада после пересечения советско-латвийской границы.

Вернувшись после прогулки на вокзал, решили перекусить в расположенном тут же ресторане. Нас было пятеро — остальные разбрелись по городу и еще не вернулись. Официант, свободно владевший русским, раздал меню на латышском, английском и русском языках и принялся рекомендовать фирменные блюда: жареный поросенок с гречневой кашей, козленок с запеченной в мундире картошкой, фаршированная индейка с яблоками и еще многое другое, от чего у меня потекли слюнки. Но я помнил, что дал обет не тратить зря валюту, и потому, сославшись на отсутствие аппетита, заказал бульон с яйцом. Остальные же, видимо, такого обета не давали, и вскоре рядом с моей скромной чашечкой бульона появились и жареный поросенок, и индейка, и карп по-монастырски, а сверх того бутылка замороженной водки и кофе со сливками. Я старался смотреть только на свой бульон

и, растягивая время, пил его мелкими глотками, пока вокруг шла эта ужасная оргия. Наконец официант подошел с блокнотиком, готовясь подбить сумму. Не успел я раскрыть рот, как сидевший рядом со мной инженер Валентин Петрович Селецкий бодро предложил:

— Общий счет!

И, обращаясь к сидевшим за столом, добавил:

— И разделим поровну. Согласны?

— Конечно! — послышался нестройный хор.

Я невнятно пролепетал о согласии, понимая, что совершил страшную оплошность. Не мог же я признаться, что выбрал бульон из экономии. Ведь все слышали, как я объявил, что не голоден. Пришлось раскошеливаться.

Сперва я обиделся на Селецкого, но потом понял: для меня это хороший урок — не быть скрягой, не жадничать, не трястись над валютой. А потом мы с Селецким очень сдружились.

На заводе Круппа

Когда в феврале 1940 года я впервые попал в Берлин, город предстал предо мной вовсе не таким ухоженным, каким он мне представлялся по рассказам побывавших там ранее коллег. На улицах подтаивали грязноватые сугробы, ветер гнал мусор, в воздухе висела дымка от бурого угля, которым отапливалась столица рейха. Повсюду — приметы начавшейся полгода назад войны, массовой мобилизации, породившей нехватку рабочих рук. В гостинице «Заксенхоф», близ Ноллендорф-платц, портье выдал каждому из нас вместе с ключом круглый фосфоресцирующий жетончик с булавкой. Его следовало прикрепить к верхней одежде, чтобы при строгих правилах затемнения прохожие с наступлением темноты, видя светящуюся точку, не натыкались друг на друга. Вечерами город погружался во мрак. Не было ни ярких реклам, ни расцвеченных витрин. Входы в магазины, кафе и учреждения прикрывали тяжелые двойные войлочные пологи, образующие узкий тамбур. Только оказавшись за первым пологом, полагалось. раздвигать второй, прикрывавший освещенное помещение. На фарах автомашин — черные чехлы с узкими прорезями, пропускающими лишь узкую полоску света.

Такой увидели мы столицу «третьего рейха».

В последнее время у нас много писали о советских поставках Германии, справедливо упрекая Сталина в том, что он снабжал Гитлера зерном, нефтью, редкими металлами, помогал нацистам накапливать стратегические запасы, использованные ими впоследствии в войне против Советского Союза. Но надо сказать, что и мы получили не только необходимое нам оборудование, но и современные военные системы. Лишь при таких условиях советское правительство соглашалось поставлять Германии нужное ей сырье. Мы получили от немцев самый современный для того времени крейсер «Лютцов», однотипный с крейсером «Принц Евгений», — оба эти корабля германский флот строил для себя. Кроме того, нам передали рабочие чертежи новейшего линкора «Бисмарк», 30 боевых самолетов, среди них истребители «Мессершмитт-109» и «Мессершмитт-110», пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-88», образцы полевой артиллерии, новейшие приборы управления огнем, танки и формулу их брони, взрывные устройства. Наряду с этим Германия обязалась поставлять нам оборудование для нефтяной и электропромышленности, локомотивы, турбины, дизель-моторы, торговые, суда, металлорежущие станки, прессы, кузнечное

оборудование и другие изделия для тяжелой промышленности.

В задачу советской закупочной комиссии входило, как уже было сказано, наблюдение за выполнением обязательств немецкой стороной и приемка готовой продукции. Группа, в которую входил я, работала на заводе фирмы «Крупп» в Эссене. Мне вместе с Селецким поручили приемку орудийных башен для крейсера «Лютцов».

Я уже тогда спрашивал себя: почему немцы согласились поставлять нам самые современные военные системы, когда вермахт готовился к нападению на СССР? Тут, видимо, был ряд причин. Во-первых, ведя кампанию дезинформации, Гитлер хотел убедить Сталина, что он, дескать, окончательно отбросил провозглашенную им в «Майн кампф» идею «уничтожения большевизма» и повернул курс Германии в сторону сотрудничества с СССР. Во-вторых, недооценивая советский научный и технологический потенциал, в Берлине считали, что СССР не в состоянии освоить новейшие модели вооружений, а полученные отдельные образцы не делают погоды. Во всяком случае, даже если кое-какие виды нового оружия будут запущены в производство, вермахт успеет разгромить Советский Союз прежде, чем начнется массовый выпуск этих образцов. В-третьих, из-за английской блокады Германия отчаянно нуждалась в стратегическом сырье, а советские переговорщики, в особенности нарком внешней торговли А. И. Микоян, требовали взамен советских поставок самую современную технику, в том числе и военную. В тот момент Гитлер никак не мог допустить осложнений с Советским Союзом, поскольку пакт о ненападении и договор о дружбе и границе гарантировали ему возможность не только избежать войны на два фронта, но и обойти английскую блокаду.

Из документов того времени известно, что германское командование возражало против военных поставок Советскому Союзу. Особенно резко критиковал решение Гитлера гроссадмирал Редер. Но фюрер игнорировал протесты военных, считая слишком важными бесперебойные советские поставки. Тем более что советская сторона скрупулезно выполняла свои обязательства. Немногим более чем за год действия торгового соглашения — с весны 1940 по июнь 1941 года — Германия получила 1 млн. т пшеницы, 900 тыс. т нефтепродуктов, 100 тыс. т хлопка, 500 тыс. г фосфатов, значительное количество стратегических материалов. Мы также обеспечили немцам транзитные перевозки через советскую территорию 1 млн. т соевых бобов из Маньчжурии, значительного количества каучука, олова и других материалов из Юго-Восточной Азии. Кроме того,

советская сторона согласилась закупать для Германии металлы и сырье в третьих странах. Как отметил руководитель германской делегации на торговых переговорах с Москвой посланник Юлиус Шнурре, «Сталин неоднократно оказывал великодушную помощь в этом отношении». Торговый договор, подчеркнул Шнурре, «означает для нас широко открытые ворота на Восток… Тем самым действие английской блокады ослабляется в решающей степени».

Сталин также разрешил немцам пользоваться Северным морским путем и производить дозаправку и ремонт судов в советском Заполярье. Этими услугами немцы пользовались с сентября 1939 года.

К сожалению, мы не смогли в полной мере воспользоваться тем, что получили от немцев. Крейсер «Лютцов», например, отбуксированный в Ленинград, успели оборудовать лишь двумя из четырех орудийных башен. К тому же он был разбомблен гитлеровцами в первые дни войны. Но все же советские специалисты смогли изучить оружие, с которым нам предстояло столкнуться в июне 1941 года. Они получили возможность учесть это при разработке новых вооружений, и, надо полагать, в какой-то мере это помогло создать к концу 1942 года танки, орудия, самолеты, намного превосходившие немецкие.

«Чашка чая»

Поле, по которому гарцевал красный директор завода «Большевик» Владимиров, давно застроено. Большую его часть занимает киностудия имени Довженко. Вокруг высятся многоэтажные жилые дома. Но в 20-е годы пустырь использовался для испытания самолетов, выпускавшихся расположенным за нашей усадьбой заводом «Ремвоздух». Это были легкие бипланы: деревянный каркас, обтянутый клеенкой, один моторчик и склеенный из прочной древесины пропеллер. Мальчишки всей округи ждали момента, когда из ворот «Ремвоздуха» выкатят на руках новенький летательный аппарат. Мы толпились вокруг него, зная, что скоро понадобится наша помощь. Заключалась она в том, чтобы всей ватагой навалиться на хвост и удерживать самолет, пока механик, крутя пропеллер, добивался вспышки в цилиндрах, а затем пилот набирал нужные для тяги обороты. В соответствующий момент мы должны были, по команде механика, отскочить от самолета. Он катился по траве, набирая скорость, и наконец взмывал в воздух под наши радостные крики. Сделав несколько кругов над полем, машина шла на посадку, мы разбегались кто куда, а затем снова толпились вокруг самолета, с восторгом глядя на выбиравшегося из кабины пилота. Он был во всем кожаном, в шлеме и очках, делавших его похожим на стрекозу.

За «Ремвоздухом» находилось еще одно интересное предприятие принадлежавший нэпману Смирнову завод по производству спортивного инвентаря. Ближе к зиме отец решил заказать там «финские санки» с длинными полозьями и высоким сиденьем. Отправляясь к Смирнову, он взял с собой меня. Предприятие это было небольшое, там работало около двух десятков человек, но все они были мастера самой высокой квалификации.

Хозяин заводика — высокий, спортивного вида человек — продемонстрировал нам процесс производства. Осмотр начался с древесного склада, где при определенной температуре на протяжении нескольких месяцев, а то и лет, выдерживалась древесина. Это считалось особенно важным, чтобы в дальнейшем изделия не покоробились. У Смирнова изготовлялись и пропеллеры по заказу «Ремвоздуха». К складу непосредственно примыкал деревообделочный цех, затем шли металлическая мастерская, отделочная и красильная камеры. Готовые изделия имели очень привлекательный вид и славились отличным качеством. На базе этого заводика можно было бы создать целый

комбинат по производству спортивного оборудования. Но в начале 30-х годов предприятие Смирнова закрыли, самого хозяина отправили в Сибирь, мастера разбежались, и хорошо налаженное производство спортивного инвентаря прекратило свое существование. Таких изделий, какие выпускал Смирнов, мне больше у нас никогда не приходилось встречать.

Район, где находился завод «Большевик», был не только рабочим. Поблизости, в зеленом массиве, стояли корпуса Киевского политехнического института. Здесь же были разбросаны коттеджи профессоров и студенческие общежития. Поэтому в расположенном напротив Пушкинском парке, где был летний кинотеатр, а зимой заливался каток, публика толпилась весьма пестрая. Фильмы в то время шли в основном американские: «Владычица мира» из 13 серий, пятисерийная «Королева лесов», четырехсерийные «Акулы Нью-Йорка», «Кровь и песок» с Рудольфом Валентино, «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом. Впрочем, показывали и европейские: «Нибелунги», «Дороти Верной», «Человек, который смеется». Невероятное столпотворение вызвало посещение Киева знаменитыми американскими кинозвездами — Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом. Они приехали в нашу страну для съемок на студии «Межрабпом-Русь» кинокомедий «Поцелуй Мэри Пикфорд» и «Чашка чая» с участием Игоря Ильинского. Эти фильмы, очень быстро отснятые, собирали в Пушкинском парке огромную аудиторию. Разумеется, первый показ состоялся на Крещатике в роскошном кинотеатре, известном киевлянам под старым названием «Шанцер» — по имени его дореволюционного владельца.

Крещатик был тогда не таким широким и холодно импозантным, как ныне. Он имел свою прелесть, особенно на отрезке от Думской площади (затем — площадь Октябрьской революции) до Фундуклеевской — (затем — улица Ленина). На этом небольшом пространстве находилось пять кинотеатров, включая «Шанцер», с просторными фойе, украшенными мраморными колоннами, зеркалами в позолоченных рамах и бра в стиле «арт нуво». Помимо иностранных там шли и ленты юной советской кинопромышленности, например «Отец Сергий», «Аэлита» или «Кирпичики», по сценарию, навеянному популярной в те годы песенкой о любви работницы, замешивавшей глину, и грузчика Сеньки, ставшего, после назначения на пост красного директора, «товарищем Семеном». На Крещатике почти в каждом здании в полуподвалах работали заведения под вычурной вывеской «Бильярд-Пиво». Здесь после работы мужчины коротали время, гоняя шары и потягивая пенистый напиток. Прямо на

тротуаре в специальных машинках изготовляли ароматные вафли с кремом. Тут же мальчишки продавали надувных, резко пищавших «чертиков» и упакованные в деревянные коробочки ириски. Кафе-кондитерских было не счесть. Их названия («Семадени», «Микадо», «Валентин») пестрели и на прилегающих улицах. Многие из них принадлежали частным владельцам, имевшим свои небольшие кондитерские фабрики. Такие кафе обычно состояли из двух помещений. В первом за прилавком торговали навынос. Во втором, внутреннем зале было множество мраморных столиков и плетеных стульев. Здесь не спеша лакомились пирожными, тортами, мороженым, пили лимонад, кофе, чай, какао, шоколад. И всегда было просторно, всегда имелись свободные столики. В подъездах и подворотнях, в небольших витринах лица, занимавшиеся, как теперь принято говорить, индивидуальной трудовой деятельностью, предлагали модные тогда кожаные куртки всех цветов, обувь, дамские сумочки. Вообще поражало обилие кожаных изделий. По-видимому, гибель лошадей и скота в годы гражданской войны обеспечила частных кожевенников огромным количеством разнообразных шкур. Оказалось, что даже в тех невероятно трудных условиях шкуры не пропадали, а были кем-то выделаны, и, когда нэп позволил снова открыть производство, портные и скорняки сразу же взялись за дело и в считанные месяцы обеспечили страну кожаными изделиями.

Крещатик был тогда наиболее популярным местом гуляний, встреч, свиданий. Там выставляли свои картины художники-футуристы, распевали под гармошку веселые частушки самодеятельные эстрадники, смешили прохожих уличные клоуны и фокусники. И еще одно зрелище привлекало сюда публику: время от времени здесь появлялась молодая пара, совершенно нагая, — только узенькая ленточка через плечо с надписью «Долой стыд».

Словом, Крещатик в те годы славился своей экстравагантностью…

Отель «Эссенер Хоф»

Руководство фирмы «Крупп» разместило нас в своем отеле «Эссенер Хоф», несколько старомодном, но роскошно обставленном, с красиво оформленным в стиле «деко» рестораном. Номера были огромные, с высокими потолками, но ванная комната приходилась на каждый этаж одна. Тогда даже в дорогих гостиницах далеко не все комнаты имели ванны.

В «Эссенер Хоф» купание представляло собой целый ритуал. Заказанную заранее на определенный час процедуру готовили две молоденькие розовощекие пышные горничные: складывали в стопку свежевыглаженные, еще теплые, полотенца и простыни, распаковывали душистое мыло, раскладывали на полочках банки с ароматическими кремами, расстилали на кафельном полу белоснежные коврики, заполняли ванну горячей водой с добавкой хвойного экстракта и, наконец постучав в дверь гостю, торжественно объявляли, что все готово…

Стол для нас накрывали на выходившей в старинный парк застекленной веранде. Обслуживали одетые в ливреи официанты — чинные и величественные. Впрочем, насладиться всей этой роскошью времени не было: после раннего завтрака мы отправлялись в цеха, а вернувшись в обеденный перерыв и наскоро перекусив, спешили опять на завод.

После поездки по Германии нарком Тевосян, возглавлявший закупочную комиссию, прибыл в Эссен познакомиться с делами нашей группы. Встреча с ним, в которой принимал участие и представитель фирмы «Крупп», проходила в холле отеля. Официант принес прохладительные напитки и печенье, разложил коробки с сигаретами и сигарами. Тевосян попросил Устинова рассказать о нашей работе. Главная проблема состояла в том, что опытная сборка орудийной башни для крейсера «Лютцов» шла слишком медленно из-за задержки заводом комплектующих узлов и деталей. Немцы явно тянули с этим делом. Орудийная башня — сложное сооружение: три этажа вниз под палубой, с многочисленными механизмами подачи снарядов, выбросом гильз, гидравлическими устройствами перемещения стволов. Но все же можно было действовать быстрее. За несколько недель не была собрана даже первая башня.

Кроме того, работать приходилось в большой тесноте. Отсек цеха, где мы находились, отгораживали, словно стены, огромные брезентовые полотнища. Это, надо полагать, было сделано, чтобы мы не могли видеть, что еще делается в этом же цехе.

— Мы не собираемся, — сказал Устинов, — проникать в

немецкие секреты, но все же площадку вокруг башни не мешало бы расширить.

Представитель Круппа оправдывал задержку сборки возросшими заказами германского правительства. Тевосян сказал, что не может принять подобное объяснение, и добавил, что придется поговорить обо всем этом с высшим руководством фирмы Круппа. Затем принялся расспрашивать представителя фирмы о деталях конструкции башни.

И тут произошел казус. Переводчица, сопровождавшая наркома, не владела в достаточной мере технической терминологией и не смогла перевести на русский язык многое из того, что пояснял инженер фирмы.

Я вызвался помочь.

Когда совещание окончилось и все начали расходиться, Тевосян предложил мне задержаться. Попросил подробнее рассказать о себе, спросил, где изучал язык, какую имею специальность. Мои ответы, видимо, его удовлетворили. Он предложил, чтобы я на какое-то время оставил работу на заводе Круппа и сопровождал его в поездке по Германии, а также в Голландию, куда он вскоре собирается направиться, чтобы ознакомиться с ходом выполнения советских заказов на суда-рефрижераторы. Спустя две недели он вызвал меня в Берлин.

Тем временем первая орудийная башня была наконец собрана. Мы приступили к испытаниям ее механизмов. В этом деле нам помогал немецкий инженер Франц Хюскер, с которым мы сдружились. Он долгое время работал в Индонезии, которая в то время была голландской колонией. В доме у него — а он меня нередко к себе приглашал — была целая коллекция образцов индонезийского искусства: изящные статуэтки, фигурки теневого театра, редкие раковины, чудесные плетеные изделия из бамбука и рисовой соломки. Его жена Кетэ и две дочери-школьницы тоже приветливо меня встречали. Посещение этой семьи вносило в мою жизнь приятное разнообразие.

Хюскеры были заядлые велосипедисты. Нашелся велосипед и для меня. Когда в воскресные дни погода благоприятствовала, мы совершали прогулки по живописным окрестностям. Но в ненастные свободные дни не было ничего лучшего, как остаться в номере и почитать. В книжном магазине, неподалеку от нашей гостиницы, я приобрел несколько книг, в том числе роскошное иллюстрированное издание «Декамерона». Как-то вечером, когда я просматривал накопившиеся за неделю газеты, ко мне зашла переводчица нашей группы Зина.

— Извини, что побеспокоила, — сказала она. — Нет ли у тебя чего-либо почитать?

Я указал на стопку книг на краю стола. Она принялась их просматривать, и я заметил, что ее внимание привлек «Декамерон».

— Можешь взять с собой эту книгу.

— Но она, кажется, неприличная.

— Что за чепуха! — возмутился я. — Это же классика, каждый образованный человек должен ее знать!

Она колебалась — ей и хотелось взять, и было как-то неловко.

— Ну, тащи ее сюда, садись рядом. Я прочту тебе одну из новелл.

Зина передала мне томик, села поодаль на диван. Книга, естественно, была на немецком, но для нас это не составляло проблемы. Не помню уж, какую новеллу я выбрал, во всяком случае она шокировала Зину, которая стала корить меня за нескромность. Впрочем, уходить она не собиралась. По тем временам, да еще учитывая наше пуританское воспитание, то был чуть ли не верх эротики. Я подсел к Зине поближе, и мы вместе стали разглядывать картинки, многие из которых были весьма фривольны. Потом уже Зина захотела прочесть одну из новелл.

До сих пор мы относились друг к другу совершенно индифферентно, но тут ощутили, что совместное чтение «Декамерона» как-то сближает. Нас забавляли двусмысленные, а порой и вовсе недвусмысленные эпизоды. Наши руки сплелись, и как-то незаметно мы оказались в объятиях друг друга. Внезапно она напряглась, острые локти впились мне в грудь и оттолкнули.

— В чем дело, что случилось? — прошептал я.

— Профсоюз научил меня быть стойкой, — неестественно резко выкрикнула Зина.

— При чем тут профсоюз, какое ему до нас дело?

— Глупый, как ты не понимаешь, — ответила она уже более спокойно, отодвинулась подальше и, понизив голос, пояснила: — Профсоюз — это партия, ВКП(б). За границей запрещено признавать причастность к партии, а чтобы мы знали друг о друге, говорим, что члены профсоюза. И должны быть морально устойчивы. Ты что же, беспартийный?

Да, я был тогда беспартийный, к тому же холостой, и еще не знал о всевидящем оке профсоюза.

Некоторое время я беспокоился, как бы Зина не покатила на меня телегу. Ведь доложить куда следует о «неправильном поведении товарища» — это тоже могло входить в обязанность «члена профсоюза». Но все обошлось. Совместных чтений мы больше не возобновляли.

Зину вскоре перевели в Берлин, в торгпредство.

В пасхальные дни мы с Валентином Петровичем Селецким решили совершить прогулку по Рейну. Наметили добраться поездом до Рюдесгейма, а потом отправиться пешком вдоль реки до Годесберга.

Поезд быстро набирал скорость. Мимо мелькали уютные домики под черепичной крышей, с зелеными лужайками и миниатюрными фаянсовыми гномиками вокруг клумб. И вдруг, как в кинофильме, эту идиллию перебили длинные составы с зачехленными орудиями, покрытыми брезентом танками, вагонами с солдатами в стальных касках; вся эта грозная масса неотвратимо двигалась к границам Франции, Бельгии, Голландии.

Короткая остановка. К нам в вагон вошла девушка. Длинные каштановые волосы, вздернутый носик, ярко-голубые глаза. Увидев, что у нас свободно — я стоял в проходе у окна, в купе был только Селецкий, — она робко спросила, не найдется ли место для нее. Я поспешно открыл стеклянную дверь. Девушка повесила легкий плащ, положила в сетку над диваном небольшую дорожную сумку и устроилась у окна. Мимо прошла буфетчица с термосом. Я остановил ее и, взяв три кофе, предложил Селецкому и нашей новой соседке.

— Большое спасибо, — просто сказала она, взяв чашку.

Я представился, назвав только имя.

— Мальвина, — послышалось в ответ.

Поговорили о красотах Рейна, о ранней весне. Я снова вернулся к окну в проходе. Через некоторое время Мальвина присоединилась ко мне. Очень удивилась, узнав, что мы — русские и приехали на завод Круппа. Ее отец тоже работал у Круппа, но сейчас призван в армию. Его часть на границе с Францией, и она едет его навестить.

— А мы с приятелем решили совершить на праздники прогулку по Рейну, пояснил я.

— Очень люблю эти места, — сказала Мальвина. — Мы все здесь исходили пешком, когда я еще училась в школе. Откуда вы так хорошо знаете немецкий?

Я рассказал, что посещал немецкую школу на Украине.

— Неужели в России есть немецкие школы? — удивилась она.

— Были, когда я учился…

Я знал, что нашу школу закрыли, а ее основателя и директора Фридриха Фибиха* сослали в Сибирь как «шпиона» и «врага народа». Но этого я ей не сказал.

Мы снова обогнали эшелон с танками и войсками.

— Очень опасаюсь за отца. У него слабое здоровье. Но кто обращает на это внимание! Им нужно побольше солдат. Всю зиму

и весну мы надеялись, что после Польши война закончится и отца отпустят. Но теперь видно, что это надолго. С моей специальностью медсестры тоже не избежать фронта.

Начало темнеть, в купе зажегся свет, Селецкий приглашал нас жестами к себе. Но что-то удерживало нас в полутемном проходе. Мы говорили и говорили обо всем и ни о чем. Нам просто было приятно общение друг с другом. По радио объявили следующую станцию — Рюдесгейм.

— Здесь мы выходим, — сказал я. И сразу стало холодно и неуютно.

— Жаль, — коротко ответила Мальвина. Не думая, что это возможно, я как-то машинально произнес:

— Почему бы и вам не сойти здесь вместе с нами? Она немного помолчала, потом пристально взглянула на меня:

— А почему бы и нет? Я могла бы продолжить свою поездку завтра утром.

Ее ответ меня ошеломил. Но отступать было некуда.

Она спокойно вошла в купе, взяла сумку и плащ и вернулась в проход.

Войдя в купе и потянувшись за чемоданчиком, я шепнул Селецкому:

— Она выходит вместе с нами…

— Этого еще недоставало, — незлобиво проворчал он.

Я пожал плечами.

Вечер был чудесный. Луна еще не взошла, но уже серебрила небо призрачным сиянием. Мы шли по тихой улочке в поисках жилья. Почти на каждой калитке висела табличка: «Сдаются комнаты».

Остановились у дома с двумя рядами окон в высокой крыше. Хозяйка показала нам в верхней мансарде три комнаты, которые нас вполне устроили. Она же приготовила ужин — яичницу и бутылку рейнского. Пожелав друг другу приятных сновидений, мы разошлись по своим спальням. С Мальвиной мы ни о чем не уговаривались, но я оставил дверь незапертой. Ночью она пришла ко мне. Она, конечно, понятия не имела о профсоюзе и его канонах…

Луна поднялась над рекой, обозначив в небе резкие силуэты рыцарских замков. Тихая ночь, ночь перед бурей, которая, быть может, унесла в небытие и медсестру Мальвину, и ее отца-солдата.

Утром, выпив наскоро по чашке кофе со свежими булочками, мы проводили Мальвину на вокзал.

Прощание, взмах платочка из вагона — и поезд скрылся за поворотом.

Мы с Селецким отправились пешком по левому берегу Рейна. Погода стояла солнечная и теплая, а к полудню и вовсе стало жарко. Кругом зеленели виноградники. Почти через каждый километр попадались подвальчики, где крестьяне угощали холодным домашним вином. Сновали по Рейну пароходики и баржи, а на холмах мрачно высились старые крепости. Но было и немало хорошо сохранившихся замков, некоторые из них — частные музеи. Зайдя в такой музей, как бы оказываешься в средневековье. Столетия, кажется, не коснулись ни одного предмета. Осмотрели мы и стальную громаду статуи «Германия» — чудовищной, огромной валькирии с угрожающим мечом. Вот уж поистине памятник торжествующему милитаризму! Пообедали в небольшом ресторанчике на склоне холма и, немного передохнув, продолжили путь. К вечеру добрались до Бад-Годесберга.

Намечая свой маршрут, мы решили здесь переночевать и послали телеграмму в гостиницу «Дрезен». Она нас привлекла тем, что в ней в сентябре 1938 года, незадолго до мюнхенской сделки, состоялась встреча Гитлера с британским премьером Чемберленом. Площадка перед отелем оказалась забитой автомашинами. Из открытых окон доносился шум нестройных голосов.

Войдя в вестибюль, мы увидели множество эсэсовцев. Подошли к стойке, назвали себя. Сверившись с гроссбухом, портье вежливо сказал, что ждет нас, и выдал регистрационные карточки. Мы принялись их заполнять, положив на стойку паспорта. Вдруг за моей спиной вырос какой-то эсэсовский чин.

— Кто такие? — грубо спросил он. Портье с растерянным видом протянул эсэсовцу наши паспорта.

— Им здесь нечего делать, — рявкнул эсэсовец. — Пусть убираются!..

Обернувшись к нему, я спокойно сказал:

— Могли бы быть повежливее. Вы, кажется, забыли, что между нашими странами существуют нормальные отношения…

Короткая шея эсэсовца налилась кровью. Он, казалось, готов был броситься на меня с кулаками. Однако сдержался и прошипел:

— Вы скоро узнаете, какие у нас отношения, мы вам еще покажем…

Резко повернувшись на каблуках, он зашагал прочь.

Портье извиняющимся тоном принялся объяснять, что сейчас в Бад-Годесберге происходит слет какой-то эсэсовской части, гостиница переполнена, и он сожалеет, что вышло недоразумение. Впрочем, он тут же дал нам адрес

расположенного неподалеку частного дома, где сдаются комнаты. Там мы и переночевали.

Позавтракав утром в соседнем кафе, отправились бродить по холмистым берегам Рейна. По пути нам несколько раз встречались молодые офицеры на породистых, ухоженных лошадях в безукоризненно сшитой униформе, в кокетливо надетых фуражках и замшевых перчатках. Они гарцевали, соревнуясь в ловкости друг с другом, радостные и беззаботные. Видно было, что из-за вынужденного безделья на протяжении более чем полугода их энергия переливается через край. В отеле «Петерсберг», где мы обедали, тоже встретили немало таких же веселых молодых офицеров. Их сопровождали девушки в модных тогда цветастых платьях, что делало круглые столы, которые они занимали, похожими на пестрые клумбы. Никто из них, видимо, не задумывался о том, что их ждет впереди. Они еще находились во власти романтики молниеносных походов. А шестилетняя кровавая война только начиналась.

С террасы ресторана открывался замечательный вид на реку, на скрывавшийся в туманной дымке ничем особым тогда не примечательный маленький городок Бонн. Мы спускались по извилистой тропинке, окруженные спокойным зеленым полумраком.

Внезапно тишину и торжественность леса нарушили громкие выкрики: к нам приближалась ватага солдат вермахта. Их сопровождали две девицы. Все — пьяные вдрызг. Один из солдат на ходу пил из бутылки, пиво лилось по подбородку и гимнастерке. Девица тыкала ему в грудь пальцем и глупо хохотала. Мы посторонились.

Селецкий, посмотрев им вслед, мрачно произнес:

— Неужели такая пьяная банда когда-нибудь ворвется в нашу страну?..

Мы не подозревали, что это «когда-нибудь» окажется столь близко.

Вилла «Хюгель»

После проведенного Тевосяном совещания администрация крупповского завода несколько раздвинула площадку, на которой мы работали: брезентовые полотнища перевесили подальше. Разговор же о задержке комплектующих узлов орудийной башни состоялся у Тевосяна в поместье семьи Крупна — на вилле «Хюгель».

В назначенный час нас ждали у подъезда гостиницы «Эсснер Хоф» два черных «мерседеса» с флажками на крыльях. Одетые в черную форму, в фуражках с лакированным козырьком, водители распахнули дверцы с подчеркнутой вежливостью. Мы с Тевосяном разместились в первой машине, Устинов и Селецкий — во второй.

Выехав за черту города, мы вскоре оказались на довольно узкой дороге, которая, петляя по холмистой местности, привела к усадьбе главы фирмы. У входа во дворец застыли лакеи в расшитых золотом ливреях.

По мраморным ступенькам мы поднялись в просторный холл, где нам навстречу вышел худощавый старик с пергаментным лицом и жестким взглядом. Это и был Густав Крупп фон Болен унд Хальбах — пушечный король Германии. В прошлом он считался противником Гитлера и до его назначения рейхсканцлером в 1933 году даже предостерегал Гинденбурга против «такой глупости». Но позже, увидев, какие барыши несет ему гитлеровская программа перевооружения Германии, перешел на сторону нацистов и стал одним из вдохновенных сторонников фюрера. Гитлер же, очень нуждавшийся в поддержке промышленников, осыпал Густава Крупна почестями и даже присвоил ему звание Героя труда.

Поздоровавшись с советскими гостями, Крупп взял Тевосяна под локоть и повел в большую, ярко освещенную залу. Мы последовали за ними и оказались в роскошном помещении со старинными гобеленами во всю стену, с картинами в золоченых рамах, высокими горками с фарфором и бронзой. Тут уже было немало гостей — руководители фирмы «Крупп», военные, в том числе несколько генералов, чины СС.

Хозяин представил нас собравшейся публике, пояснив, что министр Тевосян занимает высокое положение в партийной иерархии Москвы и к тому же сам является металлургом, проходившим в свое время практику в Германии, в том числе и на заводах фирмы «Крупп». В ответ послышались редкие аплодисменты.

Появились лакеи с подносами, уставленными бокалами с

шампанским. Густав Крупп поднял тост за «сотрудничество между Германией и Россией», не преминув упомянуть, что новые отношения двух стран приносят заметную выгоду и его фирме. Тост вызвал оживление и благожелательный смешок в зале. Затем несколько приветственных слов произнес Тевосян, закончив здравицей в честь советско-германского сотрудничества.

Всех пригласили в соседнюю залу, где на длинных столах были расставлены всевозможные закуски и сладости. Публика заметно оживилась, стало шумно и жарко. Через некоторое время я заметил, что к Тевосяну подошел хозяин дома. Я сразу же поспешил к ним. Густав Крупп предложил советскому гостю пройти в соседний кабинет, где будет тише и спокойнее.

Это было небольшое, слабо освещенное помещение с глубокими креслами, обитыми темно-бордовой кожей. Стены, отделанные дубовыми панелями, тускло поблескивали, отражая пламя камина. На низком столике сверкали серебряные кофейные приборы, сахарницы и молочники. Тут же несколько хрустальных граненых графинов с напитками.

— Надеюсь, ваши коллеги довольны сотрудничеством с нашей фирмой? поинтересовался Густав Крупп, когда мы разместились вокруг столика. Он, конечно, не мог не знать о нашем недовольстве, но решил начать разговор в мажорной тональности.

Тевосян также не сразу перешел к претензиям.

— Мы высоко ценим, — сказал он, — совместную работу с такой прославленной фирмой, как ваша. Это целое понятие — эффективность, качество, современная техника. Для нас очень важны и системы, которые мы у вас закупаем. — Тевосян отхлебнул кофе и испытующе посмотрел на собеседника.

После некоторой паузы Крупп заметил, что такое сотрудничество — дело новое и, как во всем новом, могут быть трения и сложности.

Тевосян улыбнулся, он был доволен, что хозяин фирмы первым заговорил о трудностях.

— Вы правы, — подхватил нарком. — Трудности и трения в таком деле неизбежны. Но существуют определенные договоренности, есть график поставок, который обе стороны должны соблюдать.

— Что вы имеете в виду? — в голосе Круппа послышалась жесткость.

— Крейсер «Лютцов», который мы купили у Германии, скоро будет отбуксирован в один из балтийских портов. Но пока это только корпус, без вооружения.

Мы рассчитывали получить в самое ближайшее время хотя бы

одну из четырех орудийных башен. Ее опытная сборка начата несколько недель назад. Но дело движется очень медленно. График поставки комплектующих частей нарушается вашей фирмой.

Вошел лакей. Он наполнил рюмки ликером, налил в чашки кофе и, поклонившись, исчез.

— Давайте все же сначала выпьем за наше сотрудничество, — примирительно сказал Крупп.

Подняли рюмки, пригубили сладковато-терпкий напиток.

— Обязательства, разумеется, надо выполнять, — продолжал Густав Крупп. Такова наша традиция. Но тут причастны силы, над которыми мы не властны. Несмотря на все усилия нашего любимого фюрера, да и на поддержку в этом господина Сталина, попытки убедить англичан и французов покончить с войной, прийти к примирению отвергаются. В Лондоне и Париже продолжают придерживаться воинственного курса. Казалось бы, проблемы Восточной Европы благополучно урегулированы. Польский вопрос, будораживший мир, решен, и обе наши страны договорились о поддержании порядка и спокойствия в этой части континента. Что им еще нужно, этим англичанам? Они хотят уничтожить Германию, а заодно и Россию. Они ненавидят нас. Положение в Европе остается напряженным. В любой момент могут вспыхнуть новые вооруженные столкновения. Поэтому Германия должна поддерживать вермахт на должном уровне. Фюрер призывает нас приложить к этому все усилия. И мы выполняем свой патриотический долг.

— Все это верно, — возразил Тевосян, — но вы должны понять и нас. Мы выполняем свои обязательства, поставляя Германии зерно, нефть, стратегические металлы, помогаем вам обходить английскую блокаду. Однако и у нас имеются обязательства перед нашим народом, мы не можем не заботиться о нашей национальной безопасности. В обмен на наши поставки мы приобрели крейсер. Это важный элемент нашей обороны. Я настоятельно прошу вас, господин президент, принять меры к тому, чтобы обязательства вашей стороны выполнялись точно по предусмотренному графику.

Опять повторилась процедура с появлением лакея.

Может быть, так было специально задумано, чтобы дать время Круппу продумать свои аргументы.

— Хорошо, — сказал он после небольшой паузы. —, Я поинтересуюсь этим делом. Но надо иметь в виду, что именно сейчас заканчивается оснащение аналогичного крейсера «Принц Евгений», предназначенного для германского военно-морского флота. После того как эта работа будет закончена, мы ускорим

поставку орудийных башен для «Лютцова».

Тевосян поблагодарил и посмотрел на часы. Крупп перехватил его взгляд и заметил:

— Становится поздно, а у меня еще есть дела на сегодня.

Мы вышли в большую залу, где к нам присоединились Устинов и Селецкий. Распрощались с Густавом Крупном и, сделав общий поклон, вышли на крыльцо, перед которым рядом с лимузинами стояли неподвижные фигуры шоферов.

Ярко светила луна, освещая дорожки, посыпанные галькой. Тихая, мирная ночь, казалось, не предвещала новых кровавых событий, которые уже притаились у ворот апреля 1940 года.

Спустя много лет после окончания войны мне довелось побывать на острове Капри. Советских людей влечет туда «Красная вилла» Максима Горького. Я тоже отдал дань этому пристанищу «пролетарского классика с неаполитанским загаром». Но меня не меньше заинтересовала усадьба с укрепленной на глухой стене, отгораживающей значительную часть южного побережья острова, бронзовой табличкой с надписью «Вилла Круппа». Это поместье семья Крупна передала после войны муниципалитету Капри. Но долгое время оно представляло собой запретную зону, недоступную никому, кроме самых доверенных лиц пушечного короля. Будучи гомосексуалистом, он искал уединенный уголок и счел, что нет ничего более подходящего, чем изолированный скалистый склон острова Капри. Его отгородили высокой стеной, тщательно охраняемой днем и ночью. А с юга вертикально уходит в море неприступная скала. В ней вырублены крутые ступеньки, ведущие к небольшой площадке искусственной пристани. Сюда верные люди привозили интересовавших Круппа молодых людей, и никто не знал ни их лиц, ни их имен. В те времена гомосексуализм был равнозначен порочной болезни, и Крупп тщательно охранял свою тайну, хотя о ней шептались повсюду…

Густав Крупп в какой-то мере сдержал слово: сборка орудийного комплекса ускорилась. К концу 1940 года обе передние башни удалось установить на крейсере. Но потом все застопорилось. Корабль так и не был до конца оснащен, когда на СССР напала гитлеровская Германия. В первые же дни войны его потопила «люфтваффе».

В аргументации Густава Крупна была и доля правды. В первые месяцы 1940 года Гитлер действительно готовился к военным действиям на Западе, рассчитывая, разгромив Францию, вторгнуться на Британские острова. Но было и другое. Фюрер и тогда не изменил своей навязчивой идее «уничтожить большевизм». Вынужденный обстоятельствами согласиться на

поставки Советскому Союзу современного оружия, он старался под разными предлогами затянуть его доставку по назначению. Тем более он не хотел допустить завершения строительства крейсера «Лютцов».

Как это было

В октябре 1923 года я пошел в первый класс находившейся по соседству с «Большевиком» школы, а вечерами, дважды в неделю, занимался немецким и английским языками с приходящим репетитором. Я противился этим занятиям, не подозревая, какую важную роль знание иностранных языков сыграет в моей судьбе. Но родители твердо держали меня в узде, будучи убеждены, что, кем бы я ни стал, это мне в жизни пригодится. Пришлось смириться, но в качестве компенсации за хорошее поведение мне обещали поездки в город.

Когда мама планировала большие закупки, отец разрешал брать выезд, и дядя Иван доставлял нас в центр, а затем дожидался в условленном месте. Помимо частных лавчонок на Крещатике и на прилегающих улицах было много крупных магазинов с красивыми витринами. Наиболее фешенебельные принадлежали иностранным концессиям. Писчебумажный и канцелярских принадлежностей на Фундуклеевской все знали как хаммеровский. Тут были не только отличные карандаши, ручки и перья, дневники и школьные тетради, ватман и готовальни, но и множество другого добра: альбомы для открыток и записи стихов, пестрые ленточки-закладки с приделанным к ним тисненым цветочком или зверьком. Были здесь и глянцевая бумага всех цветов радуги, ластики в виде забавных фигурок, акварельные и масляные краски — словом, все что угодно. Привлекали любителей кино и прекрасно отпечатанные фотографии кинозвезд, в основном голливудских, В австрийском магазине Альтмана имелись всевозможные вязаные шерстяные изделия пуловеры, свитера, кофты, носки, а также обувь. Карандаши чешского Кохинора соперничали с хаммеровскими. И нигде никаких очередей.

Вместе с тем в то время было и немало безработных. У биржи труда всегда стояла очередь, и трудоустройство шло медленно. Однако, выполнив какую-либо эпизодическую работу, можно было заработать на пропитание. Тяжело было смотреть на беспризорных. Но почему-то они мне вспоминаются как неунывающие ребята. Почти все чем-то торговали, предлагали поднести покупки, но и шарили по карманам зазевавшихся. После гражданской войны город благоустраивался. Мостили улицы, приводили в порядок тротуары. Повсюду стояли огромные чаны, в которых растапливали асфальт. Здесь бездомные грелись в холодную погоду, устраивались на ночь. Это была обычная картина. Милиция их не тревожила, и утром они разбредались

кто куда.

Нередко, закончив покупки в центре, мы заезжали на Подол. В этой части города, расположенной на берегу Днепра, когда-то находилось гетто. В последующем черта оседлости фактически перестала действовать, и многие евреи, особенно более состоятельные, перебрались в верхнюю часть Киева. Некоторые из них владели довольно крупными предприятиями, строительными фирмами. Миллионер Гинзбург соорудил неподалеку от Крещатика первый в Киеве высотный комплекс с роскошными квартирами. Уже давно исчез владелец, а его здание, все еще доминирующее в силуэте города, по-прежнему называют «домом Гинзбурга». Известна всем и бывшая улица Меринга, построившего незадолго до революции несколько кварталов красивых доходных домов. Рядом с ними находился заполненный магазинами и кафе Пассаж, сооруженный страховым обществом «Россия». Все эти строения украшали центр Киева.

С установлением советской власти никакой дискриминации по национальному признаку и вовсе не существовало. Напротив, в городе действовали еврейские школы, театр, синагога, выходила газета на идиш. Но Подол по-прежнему оставался преимущественно еврейским районом. Здесь было много всевозможных мастерских: швейных, сапожных, ювелирных, часовых, слесарных, кожевенных. Клиентов встречали очень любезно, заказ либо тут же выполняли, либо были готовы доставить с посыльным. На бойких перекрестках и у крупных магазинов предлагали свои услуги так называемые «красные шапки» — люди разного возраста в малиновых фуражках, отлично знавшие город и готовые доставить по указанному адресу письмо, цветы, торт и даже более крупную посылку. Кроме того, действовала пневматическая почта. Телеграмму, срочное письмо или небольшой сверток укладывали в капсулу, которая по трубам, под давлением воздуха, почти мгновенно попадала в любую часть города, а затем через посыльного к адресату.

Подол славился богатым рыбным привозом и обилием фруктов и овощей. У причалов с раннего утра стояли огромные плоскодонки, или «дубы», как их называли со времен Запорожской Сечи. Каждая такая лодка имела от восьми до десяти гребцов и, на случай попутного ветра, косой турецкий парус. Но обычно большую часть пути ее тащили волоком. Здесь были свои «ряды»: только что выловленная рыба плескалась в чанах, установленных на днище лодок, фрукты и овощи высились почти до бортов. Аромат антоновок, янтарных, без единого пятнышка, заглушал все другие запахи. Огромные арбузы с Херсонщины горой высились над стоявшими поодаль баржами.

Дальше, в сторону здания Контрактовой ярмарки, шли вереницы ларьков, заполненных всякой снедью. За деревянными расписными прилавками стояли пышные розовощекие украинки в цветных плахтах вокруг бедер, в расшитых кофтах, в монистах, составленных из множества коралловых и стеклянных бус. У девчат на голове был неизменный венок из свежих цветов, у женщин постарше — плотно облегающий чепец. Они наперебой зазывали прохожих:

— Панич, дивчина… любеть наше сало, нашу ковбасу, наши галушки, наши варенники…

Действительно, домашние колбасы, ряженка, топленое сало с чесноком, вареники с вишнями в сметане могли соблазнить любого аскета.

В дни контрактовых ярмарок, проходивших каждую осень, на Подоле царила невероятная толчея. Сюда съезжались оптовые торговцы и покупатели со всей страны и из-за границы, так же как и на Нижегородскую ярмарку. Участвовали в торгах как частные, так и государственные предприятия. Предлагалось все что угодно — от зерна, мяса и фруктов до промышленных изделий, потребительских товаров, мебели, предметов домашнего обихода. Но и отдельный посетитель мог приобрести в специально отведенных местах любой товар и в любом количестве, скажем, чайный сервиз, ковер, велосипед, музыкальные инструменты. Продавалось не только оптом, но и в розницу также и оружие: охотничьи ружья, малокалиберные винтовки, финские ножи, патроны. Хотя гражданская война закончилась совсем недавно, свободная продажа оружия никого не смущала… Охотничьи ружья регистрировали в любительских обществах, а малокалиберные винтовки вообще никого не интересовали. Отец подарил мне такую винтовку, называлась она «Монте-Кристо», и я с ней в пригородном лесу подстреливал птиц, делая из них чучела, которыми украшал свою комнату.

В 1929 году мой школьный товарищ Кока Юшков отправлялся с матерью в Анапу — детский черноморский курорт. Они пригласили и меня. Родители сперва не соглашались. Но в конце концов уступили моим настойчивым просьбам. Путешествие поездом до станции Тихорецкой, откуда курортников вез автобус, мне хорошо запомнилось. Поражало обилие продуктов, которые на остановках предлагали местные жители. Вдоль перрона на вышитых петухами рушниках и соломенных подстилках стояли горшочки с топленым молоком, покрытым коричневой корочкой, были разложены домашняя колбаса, сало. В чугунках дымилась горячая картошка, на тарелках знаменитые малороссийские гречаники — блинчики из гречихи. Тут же копченый рыбец,

множество ягод и фруктов. Поляницы теплого домашнего хлеба, пряники и бублики брали к чаю, а кипяток всегда имелся на каждой станции в титанах прямо на перроне. Милиция не разгоняла самодеятельных продавцов, как это стало обычным после начала коллективизации.

Мы прогуливались с Кокой вдоль поезда с кульками, полными спелой душистой вишни, лихо выплевывали косточки.

— Знаешь, — говорил я ему, — мне не приходилось ездить на поезде с тех. пор, как мы с родителями в гражданскую войну добирались из Петрограда в Киев. Тогда в вагонах было не протолкнуться. На полу и на всех полках, даже под самым потолком, где складывают багаж, лежали люди. Во время остановок никто не решался выходить, опасаясь потерять место или вообще не втиснуться снова в вагон. Да и на станциях было пусто, хоть шаром покати.

— Ну, теперь все это позади, больше такого быть не может.

Я соглашался с Кокой, не подозревая, что оба мы ошибаемся. Не пройдет и года, как все это изобилие исчезнет. Толпы раскулаченных крестьян, репрессированных ремесленников, кустарей снова будут виснуть на подножках вагонов, кочуя по опустошенной, голодной стране в поисках пищи и крова.

В Анапе жизнь оказалась не хуже, чем в Киеве. Кокина мама сняла у греческой семьи флигель из трех комнат с кухней. У них был хорошо ухоженный фруктовый сад и всякая живность, копошившаяся под домом, стоявшим на бетонных сваях. У них мы брали козье молоко, яйца, овощи, фрукты. Таких груш, как у этих трудолюбивых садоводов, ныне у нас не сыщешь. В городских лавках продавали мясо всех сортов, свежую рыбу, на лов которой с вечера отправлялись в своих фелюгах рыбаки-турки. Больше всего в сети попадалась барабулька маленькая рыбешка с красной чешуей, очень вкусная, если ее поджарить с картошкой и луком. Впервые увидел я тут и креветки. Тогда властей не беспокоило, что рыбаки, находясь ночью в море, могут сбежать в Турцию: они неизменно возвращались домой, привозя свежие дары моря. На Кавказе и в Крыму этого было вдоволь.

Коллективизация затронула не только землепашцев, но и тружеников моря. Границу заперли на замок не столько от внешних лазутчиков, сколько от своих граждан, чтобы они не сбежали из советской страны. Лодки с заходом солнца стали запирать в загон из колючей проволоки. Сети реквизировали. Рыбаки-турки остались без дела, да скоро и их самих, так же как греков, татар и многих других, переселили бог весть куда. Свежевыловленной рыбы не стало. Нет ее и поныне. (Все удивлялись, почему в Ленинграде не купишь ни одной живой

рыбешки, а рядом, в хельсинкском порту, глаза разбегаются при виде даров моря.) Погибли сады и огороды, зачахли ремесла… Да и вся Анапа пришла в запустение…

Проведя утро на великолепном песчаном пляже, мы — Кока, его мама и я отправлялись обедать в ресторан Курзала. То была воистину торжественная трапеза. Обеденный зал поражал своими размерами так же, как и открытая веранда, где стояли столики под цветными зонтами. Сохранили старорежимную осанку и официанты в кремовых люстриновых костюмах, пикейных жилетах, с бабочкой в горошек и крахмальной салфеткой, перекинутой через руку. Хотя отдыхающих понаехало немало, всегда находились свободные столики. Меню было разнообразным, обслуживание безукоризненным. Справа от входа находился бар, и мы с завистью поглядывали на молодых людей, угощавших там модных девиц аперитивами.

Вечерами в Курзале показывали кинофильмы и устраивали танцы. Мы с Кокой тоже болтались там, восторгаясь изяществом танцующих и ощущая себя бесконечно одинокими. Впрочем, вскоре на пляже мы познакомились с двумя сестренками. Одна из них — белокурая Нина — была нашего возраста, вторая — черноволосая Вера лет шестнадцати. Почему-то она проявила благосклонность именно ко мне, а Коке понравилась Нина. Со стороны наши две пары выглядели, надо полагать, весьма забавно: Кока, вымахавший не по возрасту и потому нескладный, и Нина миниатюрная и юркая. Моя же девушка оказалась не только на три года старше, но и ростом повыше. Как я ни пыжился, оставался ей по плечо. Вера вообще была вполне оформившейся девушкой и, как вскоре выяснилось, уже имела некоторый опыт в обращении с мальчиками. Она замечательно плавала и выглядела особенно привлекательно в черном купальном костюме, облегавшем ее точеную фигурку. Кока и Нина больше плескались на мелководье, а мы заплывали далеко, испытывая особое чувство близости среди морской пучины. Порой к нам, играя, подплывали дельфины. Совсем ручные, они выпрыгивали из волн, сверкая на солнце гладкой кожей.

Потом, понежившись на горячем песке, мы с Верой прогуливались по отмели, тянувшейся на пару километров к Лысой горе. Пляж нигде не был разделен, не существовало и так называемых медицинских соляриев. Люди располагались, где хотели.

Я повторял Вере рассказы моего отца, совершившего после окончания морского инженерного училища плавание вокруг Европы — из Петербурга в Одессу. Красочно описывал Гибралтар и Золотой рог Стамбула, его Голубую мечеть и византийскую Айя-

Софию. Спустя много лет, бывая в Стамбуле и на островах югославской Адриатики, так схожих с гриновскими пейзажами, я всякий раз вспоминал наши с Верой детские мечты в благословенное лето в Анапе 1929 года…

Все это изобилие, весь этот образ жизни сохранялись вплоть до начала коллективизации. В любой деревне в жаркий летний день, во всяком случае на Украине, можно было постучаться в первую попавшуюся хату, попросить попить, и тебе выносили кувшин холодного, из погреба, молока, краюху черного домашнего хлеба, а к тому же еще и кусок сала или брикетик сотового меда. Угощали от «широго сердца», от души, и отказывались принимать деньги… И в этом крае, где все дышало изобилием, спустя два года насильственная коллективизация привела к страшному голоду, унесшему миллионы жизней!..

Некоторые наши экономисты, даже те, кто критикует драконовские методы коллективизации, рассуждают о том, что в конце 20-х годов наша страна в условиях индивидуального крестьянского хозяйства не могла получить достаточно зерна, чтобы, экспортируя его, заработать валюту, необходимую для осуществления планов индустриализации. И потому, дескать, надо было как-то обобществить сельское хозяйство. Возможно, они и правы, хотя дело ведь было не в одном зерне. Индивидуальные хозяйства давали стране мясо, молоко, фрукты, овощи. Индивидуальная деятельность охватывала сферу обслуживания, производство продовольственных товаров, кустарных изделий, портных и часовщиков, сапожников и кондитеров. Но я, не собираюсь вступать здесь в теоретические споры. Я просто хотел показать, как это было. И что произошло в результате сплошной коллективизации хотя бы на примере Киева, где я все видел своими глазами. Оказалась разрушенной целая инфраструктура сферы услуг, исчезли кустари, мелкие лавочники, сапожники, портные, часовщики, закрыли Контрактовую ярмарку, сломали ларьки на Подоле и рассеяли по свету розовощеких «дивчат», угощавших прохожих домашними варениками. Конфисковали плоскодонки, сгнившие вскоре на безлюдных берегах Днепра. Концессионерам предложили убраться восвояси. И ничего в городе не стало, словно смерч пронесся над ним.

И еще одна мысль не дает покоя. Сколько лет идет у нас перестройка, а жизнь в нашей огромной, богатой талантами, природными ресурсами и плодородной землей стране становится все хуже. Как же тогда, в начале 20-х годов, после трех лет первой мировой бойни, после четырех лет братоубийственной гражданской войны и интервенции, после безжалостных

реквизиций «военного коммунизма», потребовалось всего каких-нибудь полтора-два года, чтобы не только «накормить народ», о чем мы уже давно мечтаем, но и воссоздать неплохо устроенную жизнь и обеспечить так и не виденное с тех пор изобилие?

Тогда, в 20-х годах, не было такой гласности, как ныне. Существовали довольно строгие правила поведения граждан. Бразды правления крепко держала в руках центральная власть. Но как-то это не беспокоило основную массу населения. После многих лет жестокой гражданской войны, неустроенности, голода люди стремились к спокойной, упорядоченной и, главное, сытой жизни. Все это дал им нэп. Дал почти молниеносно, и народ успокоился и занялся делом. Все произошло в короткие сроки, мне думается, потому, что был налицо нужный для этого человеческий материал. Крестьянские дети, измученные многолетней бойней, отказывались воевать в окопах мировой войны, братались с врагом, бежали с фронта. Но, поверив обещанию большевиков дать землю, готовы были четыре года переносить лишения и ужасы гражданской войны и обеспечили победу советской власти. Когда с началом нэпа появилась возможность свободно трудиться на своей земле, крестьянство одним урожаем накормило страну. Ждали возможности беспрепятственно развернуть производство и ремесленники, люди, занятые в прошлом в сфере услуг. Важно и то, что оставшиеся позади тяготы не успели исковеркать психологию людей. Огромные массы изголодались по труду, приносящему удовлетворение и достаток. Появившийся в нужный момент червонец и наличие продуктов и товаров наглядно продемонстрировали, что имеет смысл хорошо трудиться.

Конечно, и тогда имело место сопротивление партийного аппарата. Мы знаем, как решительно с этим явлением боролся Ленин. Он взял верх потому, что авторитет его был непререкаем, а влияние аппаратчиков не успело укрепиться. Нэп просуществовал неполных восемь лет. А насильственное и жестокое лишение крестьян земли, о которой они мечтали на протяжении веков, нанесло страшную травму, кровоточащую и поныне.

Что же в современной ситуации не позволяет повторить опыт начала 20-х годов? Сперва многие полагали, что, используя элементы нэпа в современных условиях, удастся быстро выправить положение. Сколько было выдвинуто с апреля 1985 года смелых идей, сколько, на самом высоком уровне, принято постановлений — а дело не двигалось с места.

Помимо всего известного нам об источниках торможения перестройки главное сводится к двум факторам: сохранившимся

нетронутыми на разных уровнях структурам командно-административной системы, препятствующим раскрепощению труда, и деформированному сталинским режимом образу мышления значительной части населения. Запретительные механизмы и психология уравниловки, отрицательное отношение к тем, кто готов трудиться, но и хорошо зарабатывать, низкий уровень требований к качеству жизни, инертность и безразличие — все это усугубляется отсутствием в свободной продаже продовольственных продуктов и товаров первой необходимости и падающей покупательной способностью рубля.

Можно ли было рассчитывать на перемены к лучшему, если у крестьянина нет уверенности, что на предоставленной ему земле смогут трудиться его дети, внуки и правнуки? Если руководитель колхоза или совхоза может под тем или иным предлогом отобрать индивидуальную ферму? Если чиновники имеют возможность в любой момент ввести новые разорительные правила налогообложения? Если кооператоры, работающие честно, зависят от произвола властей? Если индивидуальный предприниматель, как и фермер, лишен возможности нанять нужное ему количество временных работников? Если отсутствуют посредники, готовые взять у производителя продукцию и доставить ее туда, где в ней нуждаются?

Все это следовало упорядочить в первые же месяцы перестройки. Между тем конкретные меры стали принимать лишь на ее шестом году, причем в условиях стремительного снижения уровня жизни.

Остается только молить судьбу, чтобы у нашего многострадального народа не иссякло долготерпение и чтобы не произошло страшного российского бунта.

Поездка в Роттердам

В первые дни апреля 1940 года Тевосян, которого я сопровождал, посетил базу германских подводных лодок в Киле. Меня поразило то, что от советского наркома как будто не было секретов. Он смог увидеть все, что хотел. Эта игра в «открытость» представляла собой часть дезинформационной кампании Гитлера, стремившегося убедить Сталина, будто Германия не собирается в обозримом будущем воевать с Советским Союзом. Несомненно, доклад Тевосяна об осмотре германских военных объектов, посланный им через посольство СССР в Берлине, оказал определенное влияние на оценку Сталиным планов Гитлера.

В Москве остались довольны миссией наркома судостроительной промышленности в Германии. Ему поручили до возвращения домой съездить в Роттердам.

У нас не было тогда дипломатических отношений с Нидерландами. В Гааге имелись лишь представительство «Экспортхлеба» и филиал Морфлота. Но визы нам в голландском посольстве в Берлине выдали без промедления, и вечером 6 апреля 1940 г. мы с Тевосяном выехали экспрессом Берлин — Гаага.

Спальный вагон 1-го класса имел просторные одноместные купе с умывальником. Помимо койки и столика там умещались еще кресло и небольшой бар с напитками. Тевосян, как все сталинские функционеры, привык работать по ночам и засыпать только под утро. После ужина в вагоне-ресторане он пригласил меня к себе в купе, и мы в течение нескольких часов разговаривали на самые различные темы.

Нарком высказал мнение, что «сидячая война», когда на фронтах ничего не происходит, не может долго продолжаться. У кого-то сдадут нервы — и начнется перестрелка. Вопрос в том, кто начнет. И потом — что будет дальше? Друг другу противостоят «линия Мажино» и «линия Зигфрида». Обе строились и укреплялись на протяжении многих лет. По опыту финской войны мы знаем, как трудно было прорвать «линию Маннергейма», а ведь она не идет ни в какое сравнение с «линией Мажино». Война на Западе может стать очень затяжной, позиционной. Важно, чтобы наша страна как можно дольше не была в нее втянута. Пусть капиталисты колошматят друг друга.

— Конечно, — продолжал нарком, — немцы могут нарушить нейтралитет Голландии и Бельгии и обойти «линию Мажино». Однако я не думаю, что они это сделают. Если не станут уважать нейтралитет малых стран, это приведет к полному хаосу. Думаю,

Гитлер на это не пойдет…

Мне, еще совсем молодому и малоопытному человеку, эти рассуждения казались обоснованными. Они проясняли для меня позицию советского правительства и, конечно, лично Сталина. Становилось понятным, почему, несмотря на нарушение немцами графика поставок, советские материалы бесперебойно продолжали отправляться в Германию. Значит, нам надо выиграть время, успокоить Гитлера, а заодно и показать ему, что Германии просто нет смысла начинать войну с СССР и лишать себя канала снабжения.

Ночь, проведенная с одним из сталинских наркомов, к тому же близким к самому «хозяину», была для меня интересна и тем, что приоткрыла завесу, которая обычно скрывала в функционере человека. Все они надевали на себя личину суровости, непоколебимости, по отрешенности от мелких людских дел — только служение партии, только работа, и больше ничего.

Слушая душевный рассказ Тевосяна о том, как он, заехав домой на пару часов между дневным и ночным бдением, возился со своим сынишкой, видя, как светились его глаза при упоминании родного горного селения в Армении, где прошло его детство, я понял, что и ему не чужды простые человеческие радости.

Но так раскрываться он позволял себе крайне редко. Зато постоянно носил обличье одержимого задачами, поставленными ЦК партии, самим Сталиным. Все эти «железные наркомы» были рабами идеи и по собственному выбору, и по принуждению одновременно. Ради этой идеи они могли быть тверды как гранит, жестоки, даже бесчеловечны. Те, кто был готов выполнить предначертания свыше, заслуживали похвалы и поощрения. Тех, кто не хотел или не мог, следовало смести с пути.

Они и о своей функции имели такое же бескомпромиссное представление. Если они работали, не зная ни сна, ни отдыха, лишь урывками позволяя себе отдаться семейным радостям, они выполняли свой долг, как сами его понимали. И в этом случае заслуженно пользовались теми привилегиями и благами, которые для них предусматривали сталинский кодекс и «табель о рангах». Если же они не выполняли своей функции или ослушались «хозяина», то должны были уйти со сцены и безропотно примириться с тем, что их устранили.

Зато умел «хозяин» и обласкать тех, кто верно ему служил. Рабочих и колхозников, ставивших хорошо организованные рекорды, осыпал медалями, орденами, звездами Героев, депутатскими мандатами. Они послушно поднимали руки в Верховном Совете, польщенные тем, что приобщились к

«управлению государством» по формуле Ленина, согласно которой на это способна «любая кухарка». Талантливых конструкторов военной техники и академиков одарял виллами с угодьями в несколько гектаров. Писателям и поэтам, прославлявшим «великую сталинскую эпоху», разрешал поездки за границу. Композиторам и артистам, сочинявшим и исполнявшим любимые мелодии вождя, дарил автомобили, совершенно не доступные рядовым гражданам. Именно тогда появились специально для элиты медицинские учреждения, санатории и дома отдыха.

Пользуясь всем этим, представители «верхушки» не задумывались над тем, что миллионы заключенных, в том числе и некоторые из их недавних коллег, копают мерзлую землю Воркуты, Колымы и Магадана, добывая золото, алмазы и другие сокровища, пополняющие Госфонд, из которого «вождь народов» щедрой рукой одаривал своих послушных подданных.

Именно на этой психологической установке держалась в сталинские годы созданная им административно-командная система: на сочетании собачьей преданности, слепого энтузиазма и… страха. Когда не стало «хозяина», когда страх убрали, а энтузиазм поубавился, система начала буксовать и привела нашу страну на край катастрофы. Мне представляется, что одна из главных причин неудач перестройки в том и состоит, что все еще действующая, особенно на местах, сталинская система, при полном отсутствии энтузиазма и свободная от страха, стала главной помехой движению вперед-Рано утром прибыли в Гаагу. На перроне нас встречали директор «Экспортхлеба» Львов, плотный пожилой человек с седой шевелюрой, и представитель Морфлота, мой старый друг Костя Ежов. Я не знал, что он в Гааге, и очень обрадовался этой встрече. Хотелось о многом поговорить, но нарком решил скорее отправиться в контору Львова, чтобы получить информацию о положении в стране и договориться о поездке на следующий день в Роттердам.

Только поздно вечером мы смогли встретиться с Костей. В кафе, куда мы зашли, было людно. Но все же свободный столик найти удалось.

— Тут все заведения переполнены, — пояснил Костя. — Люди до поздней ночи дискутируют. Никто не верит, что Нидерландам удастся защититься нейтралитетом. Но пока этим статусом пользуются разведки всех стран. Уверен, что и тут, в кафе, немало германских, английских, французских и других тайных агентов. Особенно активны немцы. Похоже, они готовят какую-то акцию…

Костя расспрашивал, какова обстановка в Москве, стало ли легче после окончания финской войны.

— Приезжающие в последнее время в Берлин, — ответил я, — рассказывают, что стало лучше.

— Это хорошо, — вздохнул Костя. — Надеюсь, что и моим родным в Ленинграде тоже полегчало…

Добравшись до Роттердама, мы лишь на пару минут заскочили в гостиницу и сразу отправились на верфь: в заводоуправлении Тевосяна уже ждали руководители фирмы. Нас провели в помещение по-деловому, но со вкусом обставленное деревянные, натертые душистым воском, панели, удобные кожаные кресла и диваны, низенькие столики. Вся комната была пропитана ароматом дорогих сигар и крепкого кофе: коробки с сигаретами и сигарами, а также все для кофе было расставлено на столиках.

Тевосян поинтересовался, как продвигается строительство рефрижераторов. Пояснения не вполне его удовлетворили.

— Мы хотели бы, — сказал он, — получить суда как можно скорее. Обстановка сейчас сложная, всякое может случиться, и чем раньше работы будут закончены, тем лучше. Мы даже готовы выделить определенную премию за досрочную поставку рефрижераторов.

— Это очень заманчивое предложение, — заметил президент фирмы, раскуривая сигару. — Мы его обдумаем. Но именно в связи с напряженным международным положением у нас значительно прибавилось заказов, и все их мы обязаны выполнить в срок. Поэтому, не изучив вопроса, не могу ничего сказать насчет досрочной поставки ваших судов. Что же касается вашего беспокойства, то Голландия — нейтральная страна. Не думаю, что в наш век кто-либо решится нарушить принцип нейтралитета. Мы на этот счет имеем неоднократные заверения воюющих стран, в том числе и Германии. И вообще уже так долго нигде не происходит военных действий, что мы начинаем думать: может быть, так тихо и закончится эта никому не нужная война…

Тевосян высказал сомнение насчет быстрого окончания войны, скорее, она разрастается: очень уж серьезные противоречия и интересы замешаны в нынешнем конфликте.

Мы отправились на строительную площадку. Один из наших рефрижераторов стоял на стапелях, другой был недавно спущен на воду. Тевосян поговорил с рабочими и мастерами, похвалил их за хорошую, аккуратную работу. Действительно, все делалось добротно, основательно. Я имел некоторый опыт судостроения на Киевской верфи и тоже мог по достоинству оценить квалификацию голландских корабелов.

Руководители фирмы предложили на следующий день совершить поездку на катере в Амстердам и Заандам, где мы

хотели осмотреть домик Петра Великого.

После беседы на верфи было краткое знакомство с городом. Проехали по каналам на моторной лодке. Меня поразило обилие велосипедистов. Казалось, это основной вид городского транспорта. Стайки девушек стремительно пролетали по специально отведенной дорожке вдоль канала. Заметив, как я верчу головой, Тевосян презрительно хмыкнул:

— Не отвлекайтесь на эти глупости…

Потом был официальный ужин с краткими речами. Предвкушая завтрашнюю поездку, мы наконец вернулись в отель. Условились позавтракать утром в номере у Тевосяна.

Проснувшись, я принял душ и, начав бриться, включил радио. От неожиданности даже порезался: диктор сообщал, что германские войска в эту ночь высадились в Норвегии и Дании.

Вот и кончилась «сидячая война»! Наскоро завершив туалет, я побежал к Тевосяну. Он уже сидел за столом. К завтраку подали не ломтики ветчины, а целый окорок и головку сыра, и гость сам нарезал себе порции. Стояли целая корзина фруктов, термосы с кофе и чаем, кувшин с молоком.

— Опаздываете, — послышался шутливый голос наркома.

— Вы не знаете, что произошло?

— Здесь, кажется, не бывает землетрясений.

— Хуже! Немцы вторглись в Норвегию и Данию! С наркома мгновенно слетело беззаботное настроение. Он вскочил, зашагал по комнате.

— Этого надо было ожидать. Я же им вчера говорил, что скоро начнется! А они все твердили о нейтралитете. Наивные люди… — заключил Тевосян, сам недавно говоривший мне, что немцы будут соблюдать принцип нейтралитета.

— Как же нам теперь быть? — спросил я.

— Конечно, об экскурсии не может быть и речи. Мы должны немедленно возвращаться в Берлин.

— Почему?

— Странный вы человек! Теперь наверняка сюда, в Голландию, пожалуют англичане. И спросят: «Что тут делает советский нарком?» Мне не хотелось бы с ними здесь встретиться.

Тевосян замолчал, продолжая ходить по комнате. Подошел к окну, отодвинул занавеску. На улице было все спокойно.

— Спокойствие обманчиво, — сказал он задумчиво и после паузы продолжал энергичным тоном: — Немедленно наймите машину, и мы кратчайшим путем, не заезжая в Гаагу, отправимся к германской границе. Оставьте записку у портье, укажите, что меня срочно вызвали в Москву.

Я глотнул кофе и побежал выполнять распоряжение наркома.

Нанять машину не представляло труда. Мы побросали вещи в багажник и двинулись в путь. Мосты и шлюзы охранялись голландскими солдатами. Кое-где на перекрестках стояли танкетки. Но шоссе было пустынно. Не замечалось никакой нервозности.

К вечеру добрались до пограничной станции, расплатились с водителем и перешли на германскую сторону. Поезд пришлось ждать долго на миниатюрной замызганной станции. Все же утром мы были в Берлине. А на следующий день Тевосян уехал в Москву.

Я тогда не подозревал, что это краткое общение с наркомом скажется на моей дальнейшей судьбе.

«Веселый уголок»

Весной 1926 года отец получил новое назначение. Будучи инженером-кораблестроителем, он был привлечен к проектированию новой верфи на Днепре, создаваемой на базе машиностроительного завода «Ленинская кузница», главным инженером которого он стал. Нам пришлось покинуть прекрасную директорскую усадьбу «Большевика» и перебраться в центр города.

С тяжелым сердцем обошел я в последний раз свои «владения» в зарослях сада, взобрался на развесистый дуб, в ветвях которого мы с друзьями соорудили шалаш, попрощался с гротом, где лишь недавно отцвели ландыши. Не забыл сбегать и к неподвижно стоявшему за оградой усадьбы узкоколейному паровозику. Заброшенный со времен гражданской войны, он доставлял нам, ребятам, много радости, делая правдоподобными наши игры в «красный бронепоезд», отстреливавшийся от осаждавших его «белых» полков. Я не подозревал, что весь этот сказочный мир, покидаемый мною, уже обречен.

Вскоре началась реконструкция «Большевика». На месте директорской усадьбы запланировали строительство нового котельного цеха. Деревья выкорчевали, старый особняк сровняли с землей. Когда после окончания школы-семилетки осенью 1930 года я пришел работать электромонтером на завод «Большевик», от моего любимого сада не осталось и следа. Неужели, думал я, нельзя было расширить предприятие в другом направлении? Ведь напротив до самого горизонта простиралось поле. Но в те времена кто думал о том, что еще мог послужить людям прекрасный фруктовый сад, еще долго могли давать плоды огромные ореховые деревья, на выращивание которых кто-то положил немало труда? Все старое под звуки международного гимна трудящихся «Интернационала» с энтузиазмом «уничтожалось до основанья», чтобы затем построить «наш, новый мир»…

Отцу удалось вступить в жилищно-строительный кооператив, который только что закончил строительство двухэтажного четырехквартирного дома в Липках, некогда аристократическом районе Киева. Кооператив, под несколько легкомысленным названием «Веселы кут» (по-русски — «Веселый уголок»), облюбовал неплохое местечко на углу Левашовской и Институтской улиц, впоследствии переименованных в Карла Либкнехта и 25-го Октября. Организаторы кооператива не думали, что жизнь обитателей нового дома окажется не такой

веселой, как они рассчитывали при его создании.

Квартира нам досталась на первом этаже. Она состояла из трех комнат, кухни с дровяной плитой и совмещенной с туалетом ванной, имевшей колонку для нагрева воды. В комнатах также высились по углам кафельные печи: центральное отопление было в то время редкостью. Каждая семья располагала в подвале большим помещением, где хранились дрова и каменный уголь. Там же, в подвале, имелся еще и небольшой погреб. В нем всю зиму держали бочки с мочеными яблоками, квашеной капустой, солеными огурцами. Все это мама заготовила в первую же осень. Я почему-то всегда просыпался чуть свет, и в мои обязанности входило принести из подвала дрова и уголь, затопить печки, а когда вставали родители, развести огонь под плитой и колонкой в ванной. Пилили и кололи дрова, заготовляемые на всю зиму, монахи из Лаврского монастыря, расположенного неподалеку от нашего дома. Они же снабжали отца ароматной травкой-зубровкой, на которой он настаивал водку. В Лавре пекли огромные квадратные буханки душистого черного хлеба с выдавленным сверху крестом. Мы регулярно покупали его в монастырской булочной.

На новом месте тоже имелись свои прелести. Дворик был небольшой, но все же достаточно просторный для игры в футбол. На противоположном углу от нашего дома находился летний парк профсоюза совторгслужащих. Там был театр под открытым небом, а когда не ставили спектакль, то показывали кино. До революции в этом парке стоял особняк киевского генерал-губернатора. А чтобы проезжавшие по булыжнику телеги и коляски не беспокоили обитателей особняка, весь угол залили асфальтом — тогда это было, пожалуй, единственное в городе асфальтовое покрытие. Особняк сгорел в годы гражданской войны, но асфальт сохранился, и по нему ребята катались на велосипедах. Такой же подарок вскоре отец сделал и мне. Многократно ободрав в кровь колени и локти, я вскоре освоил велосипед и стал виртуозно гонять без рук, вызывая зависть других мальчишек и восторг девчонок. Одна из них, черноволосая Тамара, дочурка нашего соседа, грека Попондуполо — нэпмана, владевшего небольшим заводом металлических изделий, меня очаровала. Предприятие, надо полагать, давало неплохой доход. Тамару одевали богато и модно, она благоухала дорогими духами. Ее отец имел свой выезд — лошадь и коляску. С женой-красавицей, в кружевах и вуали под широкополой шляпой, они вечерами выезжали на Крещатик покрасоваться перед публикой. Нэпман, небрежно развалясь на сиденье и дымя ароматной сигарой, вызывал у прохожих смешанные чувства. Одни смотрели

на него с восхищением и завистью, другие бросали злобные взгляды, как бы грозя, что еще разделаются с такими «недобитыми буржуями».

Другим нашим соседом был профессор Задорожный, знаток украинской истории и литературы. Он носил усы под классика прошлого века Тараса Шевченко, одевался в вышитые сорочки и шаровары, заправленные в сапоги с голенищами гармошкой. Они с отцом сдружились, и Задорожный, заходя к нам и выпив пару чарок зубровки, прекрасно исполнял украинские народные песни, аккомпанируя себе на бандуре. Он и во мне развил любовь к фольклору, истории и легендам Украины, ставшей, по сути, моей второй родиной.

Наконец, четвертым жильцом нашего дома оказался сам председатель правления кооператива Наум Соломонович Ротштейн. Паспортов в Советском Союзе тогда еще не существовало и никто не подозревал о скором их введении. Тем более что старшее поколение хорошо помнило, сколь унизительна была царская паспортная система.

Когда мы въехали в квартиру, Наум Соломонович попросту записал нас в домовой книге, на чем вся процедура и закончилась. Он был очень любезным старичком, охотно делился советами в самых различных областях жизни, всегда старался чем-то» помочь. Несомненно, благодаря его заботам и общительности в кооперативе «Веселый кут» царила дружеская атмосфера взаимной выручки и доброжелательства. Кооператив намечал строительство еще нескольких жилых домов, и Ротштейн часто приходил к нам посоветоваться с отцом насчет достоинств и недостатков того или иного из проектов.

Наш район нравился мне своими прекрасными парками, тянувшимися над кручами Днепра: Мариин-ский, Царский, Купеческий сады, зеленые холмы Владимирской горки, увенчанной бронзовой фигурой крестителя Руси князя Владимира с огромным крестом. Здесь же, в большом круглом здании под высоким стеклянным куполом, размещалась «Панорама Голгофы». Она потрясла мое детское воображение реалистическими картинами жизни и распятия Христа, созданными лучшими мастерами начала века. Видения, навеянные когда-то чтением Ветхого завета, как бы обретали плоть и кровь, вызывая восторг и смирение. В начале 30-х годов здание «Голгофы» разрушили, огромное полотно панорамы исчезло. Но, быть может, его не уничтожили? Вдруг оно да найдется, и наши современники смогут наслаждаться этим произведением искусства, возродившим с потрясающей силой библейскую легенду?

Лютеранская улица

С приближением осени надо было думать о моем устройстве в новую школу. Родители хотели, чтобы я продолжал изучение иностранных языков, а здесь, по соседству, оказались кварталы, с давних времен населенные киевлянами немецкого происхождения. Улица, вокруг которой расположилась колония немцев, называлась Лютеранской (впоследствии она была переименована в улицу Энгельса). На ней находилась школа-семилетка, где все предметы преподавали на немецком, а русский и украинский считались как бы иностранными языками. Рядом со школой расположилась лютеранская кирха, где органистом был пожилой благообразный немец — герр Ульпе. Он согласился стать моим репетитором: хотя я уже довольно бойко болтал по-немецки, все же для третьего класса специальной школы этого было недостаточно. На протяжении двух месяцев до начала занятий, а также в течение первого семестра я регулярно ходил к супругам Ульпе и там окунался в своеобразную атмосферу патриархальной немецкой семьи. Меня поразили аккуратность и чистота их большой квартиры, начищенная до блеска кухонная посуда, кружевные занавесочки на окнах, аромат натертых воском дубовых панелей в кабинете хозяина. Во всем чувствовались довольство и достаток. Оказалось, что герр Ульпе вовсе не профессиональный органист. Он лишь недавно ушел на покой, а до того долгое время, даже еще до революции, преподавал историю и литературу Германии в немецкой гимназии, находившейся там же, где и наша трудовая школа. Со мной он был строг, но умел заинтересовать и привить тягу к знаниям. У него было множество свернутых в рулоны больших цветных картин с пейзажами и видами германских городов, где изображались их жители за разными занятиями: ремесленники, крестьяне, студенты, торговцы и др. То были наглядные пособия для изучения языка и пополнения словарного запаса.

Мне особенно запомнились рейнские пейзажи с их виноградниками, старинными замками, живописными переправами через реку, церковками с высокими колокольнями. Я с благодарностью вспоминал эти картинки профессора Ульпе, давшие мне ощущение атмосферы Германии задолго до того, как мне самому довелось бродить по берегам Рейна.

Кроме языка мой репетитор, уже по своей инициативе, обучал меня и другим премудростям: чеканке по меди, изготовлению рельефных карт, резьбе по дереву. Ульпе, всегда торжественно одетый в длинный сюртук и белоснежную рубашку с туго

накрахмаленным воротничком, носивший широкий галстук, заколотый золотой булавкой с жемчужиной, любил курить сигары. Пустые деревянные коробки от них использовались для моих упражнений в резьбе. Тонкие медные пластинки, на которых специальными лопаточками выдавливались фигурки, так же как и толстый картон и белая масса папье-маше для рельефных карт, продавались в магазине Хаммера на Фундуклеевской. Когда рельеф был готов, я разрисовывал его масляными красками: белые вершины гор, их зеленые склоны, желтые пустыни… Эти занятия увлекали меня и пробудили интерес к рисованию.

Среди друзей моих родителей вскоре после нашего переезда в Липки появился очень симпатичный старичок, также увлекавшийся папиной зубровкой. Но до того как «нагрузиться», он изъявил готовность в каждый визит давать мне урок рисования. Дядя Савелий, как все его величали, окончил когда-то императорскую Академию художеств в Петербурге и подавал надежды как талантливый портретист. Но постепенно спился и жил в бедности в небольшом покосившемся бревенчатом домике между холмами Мариинского и Царского парков. Здесь еще до революции существовало большое цветоводство и славился французский ресторан «Шато де Флер». В мое время ресторана уже не было, но цветоводство продолжало существовать, разнося по округе аромат роз и гвоздик. У его южного края и примостилась хижина дяди Савелия. Это был мастер на все руки. Он не только сохранил способность блестяще нарисовать портрет или пейзаж, но мог смастерить зеркальную фотокамеру, оживить старинные часы, восстановить звучание скрипки древнего мастера. Дядя Савелий преподал мне основы живописи, ставшей на всю жизнь моим хобби.

В начале 30-х годов дядя Савелий внезапно исчез. Когда он пришел к нам в последний раз, мы уже знали, что цветоводство закрывается, что все прилегающие к нему постройки, в том числе и домик дяди Савелия, снесут и на их месте будет сооружен стадион с футбольным полем, волейбольными площадками, теннисными кортами и другими спортивными комплексами. Возведут и большое административное здание с рестораном.

Это был последний удар для дяди Савелия. В тот день он особенно много пил, проклинал на чем свет стоит тех, кто придумал строительство стадиона, и ушел от нас грустный и растерянный. Больше его не видели.

А стадион построили. Его хозяином стало спортивное общество «Динамо», представляющее органы безопасности. Спортивным сооружениям присвоили имя наркома внутренних дел Украины Балицкого — инициатора строительства стадиона

на месте бывшего цветоводства. Но золотые буквы на фронтоне помпезной колоннады с именем наркома красовались недолго. Вскоре Балицкий, вместе с несколькими другими украинскими руководителями, был арестован и расстрелян как «шпион и опасный националист».

Неужто небеса услышали проклятия дяди Савелия?..

Нашими, совместно с профессором Ульпе, усилиями, я был принят в третий класс немецкой школы. Это была такая же семилетка, как и все другие советские «трудовые школы» того времени, дававшие начальное образование подросткам. Но атмосфера здесь существенно отличалась от той, какая царила в школе по соседству с «Большевиком». Примерно половина ребят была из немецких семей, остальные — украинцы, русские, евреи, поляки. По социальному составу школьники также составляли довольно пеструю картину. Были тут дети рабочих, служащих, научных работников, ремесленников и частных предпринимателей. На учеников первого и второго классов мы смотрели свысока и почти не общались с ними. Зато четвероклассники являлись предметом нашей зависти и образцом для подражания.

Глава третья

Снова в Роттердаме

События развивались стремительно. 10 мая 1940 г. германские войска без всякого предупреждения вторглись в Голландию и Бельгию. Свою очередную агрессию Гитлер обосновывал необходимостью «укрепить нейтралитет» обоих государств. Никто, конечно, этому не верил. Здесь тоже сработал «блицкриг». Вермахту потребовалось несколько дней, чтобы оккупировать Голландию. Та же участь ждала и Бельгию. А затем развернулась битва за Францию.

В середине мая меня вызвали в Берлин. Заместитель торгового представителя СССР в Германии Кормили-цын направлялся в Роттердам выяснить судьбу наших рефрижераторов, и я, как уже побывавший там, должен был его сопровождать.

Железнодорожное сообщение между Берлином и Гаагой быстро восстановили, и в поезде с его роскошным рестораном о войне напоминало лишь большое количество военных. На голландской территории несколько железнодорожных мостов было повреждено. Поезд замедлял ход и как бы ощупью двигался по рельсам, поддерживаемым временными опорами, сооруженными саперами вермахта.

В Гааге не было заметно следов военных действий. Кое-где стояли немецкие часовые, но в целом порядок поддерживала голландская полиция.

Заехав ненадолго в «Экспортхлеб», где Кормилицын выслушал информацию Львова, все еще ошеломленного молниеносным захватом страны немцами, мы отправились на машине в Роттердам. Только на автостраде появились явные признаки иноземной оккупации. На перекрестках дорог, у мостов и шлюзов стояли германские броневики и вооруженные автоматами солдаты в стальных шлемах. Во всех направлениях мчались немецкие штабные машины, выкрашенные в защитный цвет. Нас несколько раз останавливали военные патрули, проверяли документы.

При подъезде к городу мы увидели висевшее над ним темное облако. Потянуло гарью и запахом пережаренного кофе. Все еще дымились разбомбленные районы Роттердама и портовые склады, хранившие колониальные товары.

На верфи нас встретили представители фирмы, знакомые мне по прошлому приезду. Неприятное известие в том же уютном кабинете в заводоуправлении сообщили Кормилицыну: судно, стоявшее на стапелях, сгорело во время бомбежки, зато

находившееся на плаву — уцелело. Отправились его осматривать. Проходя мимо бывших стапелей, увидели груду покореженного пламенем железного лома. На сохранившемся рефрижераторе завершались работы по сооружению надстроек и отделке корпуса. Пахло суриком, смазочными маслами, краской — специфические запахи остро напомнили мне далекое мирное лето 1937 года, когда я участвовал в ходовых испытаниях буксиров на Киевской судоверфи.

Администрация фирмы обещала ускоренными темпами закончить строительство рефрижератора. И действительно, он был готов к осени и отбыл своим ходом в Ленинград.

Закончив дела в Роттердаме, мы отправились на машине в Брюссель. Из-за военных действий оказалась прерванной связь посольства торгпредства в Бельгии с Москвой. Кормилицыну поручили выяснить ситуацию на месте. На голландской территории картина казалась мирной. И в пограничном пункте об оккупации напоминало лишь присутствие немецких офицеров рядом с голландскими и бельгийскими пограничниками. Никаких виз у нас не было, только лишь справки германского министерства иностранных дел, полученные нами перед отъездом из Берлина. Это все, что нам требовалось для пересечения границы. Но едва мы углубились в бельгийскую территорию, как почувствовали близость войны. В ряде мест тут, судя по всему, происходили тяжелые бои. По обе стороны шоссе валялась подбитая и обгоревшая военная техника. То и дело попадались вереницы людей с жалким скарбом, погруженным на велосипеды, детские коляски, тачки. Более удачливые имели телеги, заваленные чемоданами, узлами, кое-какой мебелью. Беженцы второй мировой войны начинали свой долгий скорбный марш.

В посольстве в Брюсселе нас встретил посол Рубинин — рафинированный дипломат чичеринской школы, каким-то чудом уцелевший после чистки Наркоминдела в конце 30-х годов. Он сообщил, что ни посольство, ни торгпредство не пострадали, все сотрудники живы и здоровы, и вообще пока никаких особых проблем не возникало.

Рубинин угостил нас бутербродами с икрой и сыром, кофе с печеньем и предложил осмотреть город.

Меня поразила обстановка в Брюсселе. Все выглядело так, будто никакой войны не было и в помине. Движение регулировали бельгийские полицейские, нарядные бульвары заполняла толпа элегантно одетых людей, на тротуарах под пестрыми зонтами за мраморными столиками непринужденно беседовали нарядные, в мехах, дамы и солидные мужчины. В воздухе витал аромат кофе, дорогих сигар и тонких духов.

Роскошные магазины с обилием всевозможных товаров, пирамиды овощей и фруктов, соблазнительные витрины кондитерских. Лишь изредка встречавшиеся небольшие группки немецких офицеров и полное отсутствие бельгийской военной формы напоминали о том, что страна находится под германской оккупацией.

Потом, конечно, все изменилось. Начался организованный грабеж захваченных на Западе территорий, хотя и не такой тотальный, как на Востоке. Но в те первые дни оккупации в Брюсселе еще сохранялась нормальная жизнь.

В конце дня Рубинин пригласил нас в ночной клуб. Здесь тоже было людно. Пары танцевали на большом подсвеченном стеклянном диске. Потом на этом же диске появилась полногрудая красотка, демонстрировавшая стриптиз. Ее сменил иллюзионист. И опять начались танцы. Как принято в таких заведениях, подавались только шампанское и вино. И никаких закусок, разве что орешки. Главную ложу занимала группа немецких офицеров, среди них генерал с моноклем. С высокомерием победителей они наблюдали, как развлекаются побежденные.

Переночевав в торгпредстве, утром отправились в Ватерлоо — посмотреть памятник исторической битвы, ознаменовавший конец эры Наполеона. Его не тронула промчавшаяся здесь война, но совсем рядом городок Номюр был полностью превращен в развалины — они еще дымились, мрачно смотрели на нас пустыми глазницами окон обломки стен. Над ними разносился приторный запах оставшихся под обломками разлагающихся трупов. Вся эта зона смерти была оцеплена немецкими солдатами, но нас пропустили по справке германского МИД.

Битва во Франции близилась к концу. Каждый день в сводке германского командования сообщалось о занятии новых городе». «Линия Мажино», так и не выполнившая предназначенную ей роль неприступного вала, была обойдена немцами.

С тяжелым сердцем возвращался я в Берлин. Что же происходит? Гордые и высокомерные победители в первой мировой войне беспорядочно отступают, даже в панике бегут под натиском недавних побежденных. Таково возмездие за несправедливый версальский диктат. Толпы беженцев в Бельгии и Франции изможденных, голодных, оборванных — и подтянутые, дисциплинированные, самоуверенные солдаты и офицеры вермахта! Какой разительный контраст! Неужели нет силы, способной остановить этот поток, уже заливший обширные территории Европейского континента? И куда эта лавина двинется дальше?

Под барабанную дробь и крики «зиг хайль!» берлинское радио вещает на весь мир о блестящих победах. Пал Париж. Кинохроника показывает Триумфальную арку, под которой дефилируют немецкие войска. Гитлер позирует перед гробницей Наполеона. Английский экспедиционный корпус окружен у Дюнкерка. Бросая оружие и боеприпасы, солдаты перебираются через Ла-Манш, пользуясь паузой, которую великодушно предоставил им фюрер. Франция капитулирует. В очередном киножурнале видим, как в Компьенском лесу Гитлер на радостях отплясывает близ исторического вагона маршала Фоша, где 11 ноября 1918 г. была принята капитуляция кайзеровской Германии. Теперь, 21 июня 1940 г., гитлеровская Германия навязывает тут Франции драконовские условия капитуляции.

И вот в Берлине парад войск, возвращающихся из похода на Запад. Сам Гитлер его принимает. Я стою неподалеку от трибуны, на Аллее Победы, вижу, как к фюреру тянутся руки из толпы, когда он медленно проезжает в открытой машине. Какое массовое безумие! Наконец Гитлер на трибуне, в скромном кителе с железным крестом, а вокруг фельдмаршалы, генералы, адмиралы, высшие чины СС.

Гитлер поднимает руку в фашистском приветствии, как бы благословляя войска, проходящие мимо него безукоризненными рядами. Картина внушительная, страшная.

Торгпредство получило пригласительные билеты в дипломатическую ложу в «Кроль-опер» — бывший оперный театр, где после пожара в рейхстаге заседают назначенные Гитлером «парламентарии». Мы пришли заранее и наблюдали, как заполняется зал. Большинство в форме — армейской, морской, СС и СА. Штатских очень немного. На сцене, в президиуме, Геринг в серебристой, специально для него придуманной форме рейхсмаршала. Вся грудь в орденах и медалях. Рядом с ним Гесс, Геббельс, Гиммлер, Риббентроп, другие нацистские бонзы. Гитлера все нет. Зал притих в ожидании. И вдруг — оглушительный шквал аплодисментов и выкриков. Где-то, под нашей ложей, появился Гитлер. Он медленно, ни на кого не глядя, движется по проходу к сцене. Правая рука поднята в фашистском приветствии, левая лежит на ремне гимнастерки. Он как бы не слышит буйства в зале, выкриков «зиг хайль!», «хайль Гитлер!», «хайль фюрер!»…

Наблюдая все это, думаю и, признаюсь, пугаюсь этой мысли, как много схожего тут с нашими съездами и конференциями, когда в зале появляется Сталин. Те же бурные аплодисменты, переходящие в нескончаемую овацию, так же все встают. И почти такие же, близкие к истерике, выкрики: «Слава Сталину!», «слава

вождю!»

Гитлер поднимается на сцену, подходит к Герингу. Продолжая стоять, поют «Германия превыше всего». Снова овации и выкрики. Выждав несколько минут, Гитлер делает знак рукой. Воцаряется тишина. Геринг предоставляет слово «фюреру и рейхсканцлеру Великой Германии». Снова аплодисменты. Гитлер начинает говорить, и зал затихает.

Разгромив Францию и дав англичанам возможность эвакуировать почти полумиллионную армию из Дюнкерка, Гитлер полагал, что Лондон пойдет на мировую. Он мобилизует все свои актерские способности, чтобы предстать перед всем миром как человек, который, несмотря на огромный успех, сдержан, даже скромен, покладист, готов на уступки. Ни одного истеричного выкрика, ни одного резкого слова — сама любезность. Правда, он обрушивает сарказм на Черчилля, который недавно возглавил британское правительство. Но рядовым англичанам фюрер великодушно указывает достойный выход из войны, гарантирует сохранность империи. «В этот час, — торжественно провозглашает Гитлер, — я считаю долгом перед своей совестью еще раз воззвать к разуму Англии. Я полагаю, что могу это сделать, поскольку не как побежденный прошу о чем-то, но как победитель призываю к разуму. Я не вижу никакого повода для продолжения борьбы». Однако ответ Лондона один: твердое «нет»!

Разочарованный Гитлер подписывает директиву ускорить подготовку операции «Морской лев» — вторжения на Британские острова.

Начинаются интенсивные бомбежки английских городов. Разрушен Ковенти. Поврежден Вестминстер — британский парламент. Но усиливается и сопротивление англичан. Они сбивают самолеты «люфтваффе». В Берлине все чаще объявляется воздушная тревога. Английские бомбардировщики прорываются сквозь противовоздушную оборону столицы рейха.

Еще в начале лета я заказал в ателье на Таунциен-штрассе костюм и плащ. Мне обещали все сделать быстро. Но портного забрали в армию, и дело затянулось. Я отправился в ателье предупредить, что больше ждать не могу, и неожиданно узнал, что мой мастер после ранения демобилизован и вернулся на работу. Когда он вышел ко мне с готовыми вещами, я его не узнал. Еще недавно это был упитанный молодой человек. Теперь он превратился в дряхлого старика. Он улыбался, но в глазах были боль и ужас. Заметив мою растерянность, сказал:

— Вот что делает с человеком война. Наслушавшись победных реляций, я с воодушевлением отправился на фронт. Не

верьте этим реляциям. Там — ад и смерть. Физически я жив, но внутренне — убит…

У него на глазах появились слезы. Казалось, он знает нечто такое, чего человек, не побывавший на войне, не может себе даже представить. Не представляло этого пока что и мое поколение. Вскоре миллионам советских людей пришлось столкнуться с этой страшной тайной.

В августе меня вызвали в Москву. Я должен был немедленно явиться к наркому внешней торговли А. И. Микояну.

Наташа

Дисциплина в немецкой школе в Киеве была очень строгая, но держалась она не только на уважении к наставникам. Хотя всем внушали, что в советское время наказание поркой и другим физическим воздействием немыслимо и строго карается законом, не выучивших урок или провинившихся в школе на Лютеранской улице не только ставили на горох, на колени в угол на все время урока, но и драли за уши, а уж подзатыльники вообще считались обычным делом. Тот, кто жаловался, мог ожидать еще худшего обращения. В первом классе все занятия вел молодой, высокий, рыжеволосый саксонец Радешток — «геноссе Пауль» (товарищ Пауль). Он только что прибыл из Германии, откуда ему по каким-то причинам пришлось срочно убраться. Ходили слухи, будто он «боевик» германской компартии. Выполнив какое-то ответственное задание руководства, он вынужден был скрыться от правосудия. Мы не очень представляли себе, что такое «боевик», но звучало это слово угрожающе, и Пауля все побаивались. В старших классах он преподавал физкультуру и не щадил тех, кто вызывал его неудовольствие. Любимый его прием состоял в том, чтобы, зажав под свой могучий локоть голову провинившегося, натереть ему рот серым прачечным мылом. Оно изготовлялось из рыбьего жира и было невероятно противным. Пострадавший, пытаясь сплюнуть отвратительную пену, пускал мыльные пузыри и, задыхаясь, орал благим матом. Это еще больше раззадоривало мучителя, и он самозабвенно продолжал экзекуцию. Вокруг ученики дрожали в страхе, не шелохнувшись. Но однажды мы решились осуществить возмездие.

Придя впервые в школу, я узнал, что мальчики двух старших классов немецкая семилетка была недавно создана, и потому там имелось только четыре класса — еще с прошлого года разделились на два клана. Каждый из них имел своего лидера. Одного звали Ленька, другого Зюнька. Я сразу же примкнул к последнему: он напоминал мне моего любимого киноактера Дугласа Фербенкса. Большей частью группы враждовали между собой, и дело нередко доходило до жестоких потасовок. Я не раз возвращался домой с окровавленным носом. Мама в ужасе требовала, чтобы отец отправился в школу и прекратил это безобразие, но он отшучивался, говоря, что настоящий мужчина должен сам уметь за себя постоять. Когда же появлялся общий противник, если, например, банда из соседней школы во главе со своим вожаком Мазаем появлялась поблизости и начинала приставать к нашим девочкам, мы, конечно, объединялись и

выступали единым фронтом. В одно из таких перемирий и созрел план возмездия.

— Сколько мы будем терпеть издевательства Пауля? — обратился Зюнька к своему сопернику. — Надо его проучить, даже если потом нам придется пострадать.

Ленька задумался, принялся усиленно грызть ногти, что всегда делал, когда сосредоточивался. Наконец ответил:

— У меня есть идея, давай обсудим…

Они уединились в туалете.

Вскоре план был разработан во всех деталях. Каждый его участник получил конкретное задание. Осуществить его решили на ближайшем уроке физкультуры.

Когда Пауль демонстрировал нам пробежку, Ленька подставил ему ножку. Тот упал, и мгновенно на него налетела вся ватага: по пять человек прижали к полу его руки, по десять — ноги. Может быть, от неожиданности, а возможно, и от того, что страх прибавил всем нам силы, этот Голиаф оказался пригвожденным и после нескольких попыток высвободиться лежал неподвижно. Зюнька встал коленом ему на грудь и принялся натирать тем же прачечным мылом рот Пауля. Каким же был восторг детворы, когда наш мучитель стал плевать пеной и пускать пузыри! Мы знали, что в ярости он способен если не убить, то основательно покалечить любого, кто попадется ему под руку. Поэтому заранее условились, что должны все одновременно отскочить от него и успеть скрыться из зала. Пауль ревел, словно раненый бык, мыльная пена резала ему глаза. В этот момент по сигналу Зюньки мы отпустили жертву и разбежались в разные стороны. Пауль так и не успел никого схватить. Мы спаслись.

Мы ждали, что он пожалуется директору, что будет разбирательство и что нас, возможно, исключат из школы. Но прошел день, второй, третий — и ничего не стряслось. Видимо, поразмыслив, Пауль счел для себя унизительным разглашать происшедший инцидент. А может, он оценил нашу безумную отвагу и самоотверженную решимость постоять за себя и своих товарищей. На следующем уроке физкультуры он вел себя так, будто ничего не произошло. И мы прониклись к нему уважением. Да и он сам перестроился — больше не прибегал к мыльным экзекуциям, ограничиваясь легкими подзатыльниками, что практиковали и другие учителя.

Но строгости и неотвратимость наказания имели и свою положительную сторону: ученики получали хорошие знания. Многое из того, чему нас тогда учили, я отлично помню до сих пор, могу воспроизвести по памяти целые страницы текста. А уж немецкий остался со мной на всю жизнь как второй родной язык.

Видимо, поэтому и родители, несомненно знавшие об экзекуциях, не протестовали и не забирали детей из нашей школы.

Меня все же очень уязвляло то, что я не в старшем классе. Тех ребят я ощущал ближе по духу. Мне казалось, что и по общему развитию я скорее равен им, чем третьеклассникам. И лучший друг у меня завелся не в моем, а в четвертом классе. Его звали Михель. Он был настоящий немец, вернее, баварец, хотя и носил фамилию Воронов. Его история необычна. Он родился в живописной деревушке Зонтхофен, в баварских Альпах, на год раньше меня. В первую мировую войну его отец, Фриц Юбельхор, погиб на фронте, а к ним в хозяйство прислали русского военнопленного — Воронова. Сперва он просто у них батрачил, присматривал за коровами, работал в поле. Но вскоре сошелся с матерью Михеля и прижил с ней мальчика Ганса. После заключения Брестского мира Воронов, захватив новую семью, вернулся на Украину, оформил брак и поселился в Киеве. Так Михель стал Вороновым. Но он не забывал своей родины, мечтал вернуться в Баварию, увлеченно рассказывал мне об Альпах, научил баварским песням. Я так с ним сдружился, что попросил его родителей позволить Михелю провести каникулы со мной в Сваричевке, куда мы по старой памяти отправлялись с матерью на лето. Семья Михеля жила очень бедно, отец работал в какой-то мастерской, мало зарабатывал, к тому же пил. Они обрадовались возможности на пару месяцев избавиться от лишнего рта. Мои родители тоже приветствовали эту идею, считая, что мне будет с кем играть и я смогу получить языковую практику.

Но мне в то лето было не до игр. Стремление попасть в среду старшеклассников подогревалось вспыхнувшей в моем сердце детской любовью к Наташе, учившейся в четвертом классе и теперь переходившей в пятый. Тамара, дочка грека-нэпмана, была напрочь забыта. Теперь Наташа казалась мне самым прекрасным на свете существом. Мне хотелось всегда быть подле нее. Я писал ей страстные письма, обливая бумагу слезами восторга. Но не находил взаимности. Я убедил себя, что она обратит на меня внимание только тогда, когда я догоню ее. И я принял отчаянное решение: за время летних каникул пройти весь курс занятий четвертого класса и осенью сдать экзамен в пятый. Не знаю, откуда у меня хватило воли и сил пожертвовать отдыхом и сельскими развлечениями, отказаться от поездок на лошадях в ночное, от рыбной ловли, не ходить по грибы, до минимума свести купания.

Тургенев как-то сказал, что любовь сильнее смерти, сильнее страха смерти. Нечто подобное испытывал тогда и я — с радостью жертвовал всем, чтобы добиться поставленной цели, не

испытывал сомнений, не ощущал страха, что могу провалиться и все мои усилия окажутся тщетными. Какая-то таинственная волна вливала в меня энергию и упорство. С первого же дня после приезда в Сваричевку я засел за книги, которые захватил с собой Михель. Как настоящий товарищ он помогал мне справиться с, казалось, непосильной задачей. И я справился, сдал экзамены, был зачислен в пятый класс и по праву победителя сел за парту рядом с Наташей…

Теперь, оглядываясь на эту авантюру, не могу не думать, что, не перепрыгни я тогда из третьего в пятый, моя жизнь сложилась бы по-иному. Я бы вышел из семилетки на год позже, то есть не в 1930, а в 1931 году, когда на Украине уже начинался убийственный голод. И институт я окончил бы в год начала второй мировой войны. Все бы сдвинулось и перепуталось. Как тут не поверить, что судьба человека соткана из случайностей?

Год в пятом классе был, пожалуй, самым счастливым в моем детстве. Платоническая любовь к Наташе, возможность быть рядом с ней делали посещение школы сплошным праздником и позволяли с легкостью справляться с заданиями. К тому же было и немало развлечений. Под руководством «танте Хэдвиг», которая вела уроки пения, музыки и рисования, ставились любительские спектакли, в которых все мы принимали участие. Наши представления давались на Крещатике в Деловом клубе, где был большой зал со сценой. Их посещали не только родители, но и городская публика, привлеченная красочными афишами, которые мы сами рисовали. Завсегдатаем у нас был и генеральный консул Веймарской республики. Подстриженный бобриком, с мощным затылком, он очень походил на Гинденбурга, имел военную выправку и, по-видимому, являлся генералом рейхсвера. На окраине Киева стояла воинская часть, состоявшая из солдат и командиров немецкого происхождения. Они шефствовали над нашей школой, и мы у них часто бывали. Все там — плакаты, лозунги, диаграммы — было на немецком языке. По-немецки отдавалась и команда.

Эту часть нередко посещал германский генконсул. В то время генштаб Красной Армии тесно сотрудничал с командованием рейхсвера, проводил с ним совместные маневры близ Киева, в которых участвовали и наши шефы, советские солдаты-немцы. Летом мы пару недель жили у них в лагерях в Дарнице, пригороде Киева, ухаживали за лошадьми, выполняли роль лазутчиков на учениях.

Запомнились и вечеринки, которые мы обычно устраивали в просторной квартире нашего соученика Щурки Цейтлина. Он жил недалеко от школы в доме Городецкого, привлекавшем прохожих

своей необычной, фантастической архитектурой. До революции Городецкий был, пожалуй, самым модным архитектором своего времени. В Киеве по его проекту были построены Исторический музей с греческим портиком, дорическими колоннами и двумя львами у широкой лестницы, здание банка в мавританском стиле и другие сооружения. Но самым причудливым был его собственный дом на Банковской улице. Городецкий, страстный охотник, ежегодно отправлявшийся на сафари в Африку, украсил свой огромный особняк фигурами слонов, тигров, львов, кондоров, а по углам крыши расположил русалок с поднятыми вверх, словно вычурные свечи, хвостами. При советской власти там поселили несколько семей, и у отца Шурки, модного врача-гинеколога, имевшего частную практику, оказался целый этаж. Нам нравилось там бывать еще и потому, что Цейтлины держали маленькую обезьянку, каким-то чудом уцелевшую из зверинца Городецкого. Она нас забавляла, бегая по комнатам и прыгая с комода на шкаф и с кресла на кресло. Правда, запах от нее был не очень приятным, но ей все прощалось за умилительные гримасы и вообще за неслыханную экзотичность.

На таких вечеринках мы читали немецкие, русские и украинские стихи, устраивали самодеятельные концерты, играли в лото, в бирюльки и в сохранившийся с дореволюционных времен и еще остававшийся популярным среди молодежи из интеллигентных семей утонченный «флирт цветов», когда каждому выдавалась карточка, где под названием цветка значились изречения из произведений классиков. Назвав цветок и адресовав его партнерше, передавали послание, не произнося его вслух.

Светлое, безмятежное время…

Но со следующего года началась мрачная полоса. Внезапно я остыл к Наташе, стал одинок и разочарован. А она тайно страдала. Мать Михеля развелась с Вороновым и, забрав детей, возвратилась в свой Зонтхофен. Это был первый удар. Я терял своего лучшего друга, терял навечно, ибо заграница казалась тогда для нас такой же далекой, как другая планета. Мы последний раз пошли с ним на кручи Днепра, где так часто вместе играли, поклонились Аскольдовой могиле в надежде, что ее таинственная сила когда-нибудь соединит нас вновь. Наша тоска была так велика, что мы сочли бы за счастье броситься вместе в омут. Но приходилось смириться с судьбой.

В школе тоже начались непонятные дела. Арестовали «танте Хэдвиг». Распространился слух, будто она входила в какую-то подрывную организацию. Не прошло и нескольких месяцев, как исчез преподаватель математики и физики Шиллинг. «Танте

Хэдвиг» якобы показала на него как на руководителя этой «вредительской группы». Мы не представляли себе, чем они могли вредить нашей стране, но все же склонны были верить доходившим до нас слухам. Вскоре арестовали и «боевика» Пауля. Он пропал бесследно. Появились новые учителя, плохо владевшие немецким. Часть предметов стали преподавать по-русски. Последним забрали всеми нами любимого директора Фибиха. Кирху на Лютеранской улице закрыли. Хорошо, думал я, что супруги Ульпе успели уехать в Германию. Иначе их тоже обвинили бы в шпионаже. Дело явно шло к ликвидации немецкой школы, что вскоре и произошло. После нас окончить ее успел только один класс.

Арест

Перейдя в шестой класс немецкой школы, я стал реже видеть отца. Он целиком окунулся в проектирование и поиск места для строительства новой верфи. Уходил на работу рано, приходил поздно, а я отправлялся во вторую смену: утром в нашем помещении работала украинская семилетка. С выходными днями вообще произошла какая-то кутерьма. Видимо, добиваясь, чтобы люди забыли о религиозном значении воскресенья и отвыкли от церкви, власти ввели пятидневную неделю: каждый пятый день стал нерабочим — 5, 10, 15, 20, 25 и 30-е числа считались выходными. На предприятиях установили скользящий график с целью беспрерывного производства. В итоге многие члены семей имели свободный день в разное время и, по сути, почти не общались друг с другом.

Вскоре выяснилось, что на предприятиях невозможно найти нужного в данный момент работника. Возникла какая-то чехарда, и «беспрерывку» пришлось отменить. В конце концов кремлевские экспериментаторы, нанеся немалый ущерб семейным и производственным отношениям, вернулись к нормальной семидневной неделе со свободным днем в воскресенье.

Это, пожалуй, было одним из первых волюнтаристских решений партии и правительства, которых за годы советской власти набралось великое множество, вплоть до антиалкогольной кампании во второй половине 80-х годов, окончательно дезорганизовавшей нашу торговлю. Приходится только удивляться, как руководители, претендующие на научную обоснованность всех своих постановлений и действий, не в состоянии продумать и предвидеть последствий своих решений. И что еще интересно, народ никогда не мог узнать, кто же их облагодетельствовал очередной неразрешимой проблемой.

Когда, в редких случаях, представлялась возможность, отец брал меня с собой в поездки на катере по Днепру. Вместе с прибывшей из Москвы правительственной комиссией он выбирал наиболее подходящее место для строительства верфи. Забирались высоко вверх, а затем спускались вниз по течению. Геодезисты обследовали отмели и бухточки, пригодные для возведения заводских корпусов. Все это были чудесные, живописные места с нетронутыми песчаными пляжами, окаймленными кустами красной лозы, заливные луга, заводи и перелески, подступавшие к кручам. Но тогда страна увлекалась планами индустриализации. Людям в чудесных мечтаниях виделись леса строек, дымящие трубы заводов, опоясывающие землю линии

электропередач. И мало кто задумывался над тем, что появление промышленных гигантов вроде проектируемой верфи будет означать исчезновение приднепровского природного ландшафта, конец привольной жизни людей и животных.

К счастью, и тут сказалось влияние отца: место для верфи выбрали в конечном счете в затоне, напротив Подола, где уже существовали с давних времен судоремонтные мастерские. Днепровские берега выше и ниже Киева остались тогда нетронутыми… до тех пор, пока, уже после войны, близ Вышгорода не была сооружена, скорее всего из ложно понятого Подгорным и другими украинскими руководителями «престижа», плотина гидроэлектростанции, изуродовавшая местность и затопившая сотни тысяч гектаров плодородных земель и пастбищ.

Началось строительство верфи, поглощавшее все время отца. Для него это вообще был нелегкий период.

После так называемого «процесса промпартии», когда осудили крупнейшего ученого, проектировщика паровых котлов Рамзина и других инженеров, начались аресты дореволюционных технических специалистов. Вокруг отца исчезали не только инженеры, но и некоторые квалифицированные рабочие. После очередного ареста кого-либо из коллег отец приходил домой мрачный, неразговорчивый. Он никак не мог понять, зачем люди стали на путь «вредительства» и почему все сознаются в своих преступлениях. Он не раз говорил:

— Здесь какая-то страшная тайна. Все словно загипнотизированы. Какой им смысл вредить? У них хорошие должности, интересная работа. Зачем лишать себя всего этого? Все это невероятно. Да и вредительские акты, которые им приписывают, результат не злого умысла, а следствие спешки и неумелости, с какими ведется у нас любое строительство…

Не избежали этой участи и некоторые старые большевики. Петя, сын одного талантливого инженера, с юных лет примкнувшего к революционному движению, учился со мной в школе. Я часто видел его отца и мать, красивую брюнетку, на наших школьных представлениях в Деловом клубе. Он носил бородку, а на его груди красовался редкий тогда орден Красного Знамени, полученный за какую-то смелую операцию в годы гражданской войны. Как он мог оказаться вредителем?

— Он не вредитель, — рассказывал, едва сдерживая рыдания, Петя после свидания- с отцом незадолго до его отправки в ссылку в Сибирь. — Он считает, что, признаваясь в проведении несуществующих диверсий, оказывает последнюю в своей жизни услугу партии, делу социализма. Страна во вражеском окружении, есть и внутренние враги. Народ должен сохранять

бдительность и верить в светлое будущее. Делая признание, он считает, что укрепляет систему, созданную революцией, поддерживает веру народа в Сталина, имя которого ассоциируется с социализмом…

Многие убежденные коммунисты тогда так думали. Они и сами верили в непогрешимость органов власти. Нельзя было допустить и мысли, что творится страшный произвол. Надо было заставить людей поверить, что власть никогда не ошибается. Если человека арестовали, значит, он виноват. Любая попытка оправдаться была равнозначна намерению набросить тень на мотивы действий властей, а значит, и усомниться в справедливости системы. Так думали и палачи, и жертвы. Поэтому, как правило, тот, кого забирали органы внутренних дел НКВД и ГПУ, не возвращался. Он исчезал бесследно, будто никогда не существовал. Имена самых видных деятелей партии вытравлялись из сознания народа.

Так исчезли секретарь ЦК Компартии Украины Постышев, Председатель украинского Совнаркома Любченко, нарком внутренних дел Балицкий, а вскоре и первый секретарь КП(б)У Косиор. В моем непосредственном окружении арестовали нэпмана Попондуполо со всей семьей и объявленного «опасным украинским националистом» профессора Задорожного. При обысках и их аресте в качестве понятого присутствовал Наум Соломонович, председатель нашего кооператива «Веселый уголок», который впору было переименовать в «Уголок скорби».

Мой отец не знал за собой никакой вины, но было заметно, что волна репрессий тревожит его. Он ничего мне не говорил, но, наверное, тоже ждал ночного стука в дверь. Случайные громкие шаги на улице, подъехавшая поздно вечером к дому автомашина заставляли его вздрагивать. Вся наша семья жила в тревоге, какой уже давно не ведала. И вот самое страшное постигло и нас…

Мама нервно тормошит меня. Я сквозь сон сознаю, что должна быть еще глубокая ночь, и не понимаю, зачем она меня будит. Протираю глаза и вижу зловещую картину. Мама в слезах. Отец в накинутом на ночную рубаху халате, в брюках, но босой, стоит неподвижно посреди комнаты. Яркий свет всех лампочек люстры делает особенно рельефными его обычные, но теперь кажущиеся набухшими мешки под глазами. В углу прижались к кафельной печке понятые — Наум Соломонович и наша дворничиха Матрена. У двери в переднюю два красноармейца и еще один — около окна. Винтовки с примкнутыми штыками. За папиным письменным столом копошится в ящиках человек в форме ГПУ со шпалой в петлице. Обыск! Я, словно от вспышки молнии, прозреваю, но все еще не хочу верить, что это с нами

стряслось. Снова, но с гораздо большей силой, чем при прежних потрясениях, что-то обрывается у меня в груди.

Может быть, это только обыск? Не найдя ничего, они уйдут и оставят нас в покое? Тщетная надежда. Человек в форме ГПУ поднимает голову, бросает взгляд в сторону отца:

— Что стоите, одевайтесь!.. — И обращаясь к маме: — Помогите ему собрать вещи, можно взять кое-что теплое…

Значит, не только обыск, но и арест, и надолго: сейчас поздняя осень, в здешних краях мягкая и влажная, а теплые вещи нужны для ЗР1МЫ…

Обыск продолжается. Из комода вытаскивают ящики, перебирают белье, потом берутся за книжные шкафы. Их у нас несколько — работы много. Все класть на место нет времени. Пролистав профессиональным движением пальцев каждую книгу, гепеушник бросает ее на пол. Их растет целая гора. Красноармейцы помогают обыскивающему отодвинуть буфет, пианино. Он заглядывает внутрь, шарит рукой, задевая струны, издающие протяжный, жалобный звук. Мое сердце разрывается, я еле сдерживаю рыдания…

Конвой переходит в спальню родителей. Мы все следуем за ним. Отец уже одет. Я восхищаюсь его самообладанием. Он наблюдает за происходящим так спокойно, словно это его не касается. Солдаты светят карманными фонариками под кроватью, осматривают платяной шкаф. На мамином трельяже толстый семейный альбом, хранящий память о трех поколениях Титовых. Перелистав плотные страницы, гепеушник останавливается на той, где вставлена знакомая мне с младенчества фотография дяди Лени — маминого брата, офицера царской армии, награжденного двумя Георгиями в первой мировой войне. На обратной стороне фотографии надпись, сделанная наспех черными чернилами: «Прощайте, мои дорогие, завтра меня расстреляют».

Прочтя ее, гепеушник обращается к маме:

— Что это?..

Она поясняет:

— Мой брат перешел на сторону красных и был расстрелян белыми…

Я знаю, что мама говорит неправду, но понимаю почему.

Гепеушник недоверчиво вертит в руках фотографию, решая, как с ней поступить. Потом кладет ее поверх альбома и говорит:

— На всякий случай уберите подальше…

Неужели в нем проснулось что-то человеческое?

Мама молча прячет фотографию в карман халата.

И вот последние минуты прощания. Мама крепко обнимает отца, никак не отпускает его.

— Гражданка, заканчивайте! — слышится резкий возглас гепеушника.

Отец приподнимает меня и, целуя, шепчет на ухо:

— Запомни, я ни в чем не виновен…

Эти слова вызывают бурю в моей душе и поток слез. Он ставит меня на пол, берет узелок с вещами и, не оборачиваясь, идет в переднюю. Конвоир открывает дверь, выходит первым. За ним следует отец, затем гепеушник и два конвоира. Пригнувшись, не говоря ни слова, исчезают понятые. Мы даже не закрываем за ними дверь, оглушенные происшедшим и еще не способные осознать постигшее нас горе. Мама тащит меня к окну. Тускло горящий фонарь освещает уродливый фургон, прозванный «черным вороном». У него нет окон, только сзади зарешеченная дверца. В ее проем подсаживают отца. За ним следуют конвоиры. Гепеушник взбирается в кабину водителя. Ревет мотор, и «черный ворон» увозит родного человека…

Неужели навсегда?

Арест отца как бы подвел черту под всей нашей прежней жизнью. Из нормальной мы стали семьей репрессированного. Теперь от нас отвернутся многие. И в школе у меня, как я знал по опыту соучеников с такой же судьбой, предстоит тяжелое время. Никто прямо не скажет ничего, но почувствуется отчуждение. Одни, убежденные в непогрешимости властей, посмотрят как на зачумленного. Другие, возможно и не веря в вину репрессированных родителей, опасаются за себя и потому стараются держаться подальше. В те времена вслед за главой еще не высылали в лагеря всю семью, но так или иначе тень падала на всех родственников арестованного. И не только помощи, но и сочувствия было ждать не от кого. И я, предвидя все это, решил на следующий день не идти в школу, против чего мама не протестовала, разделяя мои чувства.

Немного приведя в порядок квартиру и выпив крепкого чая, мы с мамой отправились на улицу Розы Люксембург, где находилось городское управление ГПУ. В справочной узнали, что «подследственного» через несколько дней переправят в Лукьяновскую тюрьму, после чего передачи туда можно возить дважды в неделю.

Эта скорбная процедура запомнилась мне на всю жизнь. Тюрьма находилась на самом краю Лукьяновки, некогда богатого пригорода, известного красивыми виллами и усадьбами, принадлежавшими киевским богатеям. Этот район был мне хорошо знаком. Там находилось еще дореволюционное офицерское стрельбище, и мы нередко бывали там с отцом на соревнованиях снайперов. А в одной из усадеб, в небольшой

комнатке старинного особняка, жила мамина портниха, и мы тоже к ней ездили. Пока у мамы шла примерка, я бродил по саду с уже заросшими дорожками и неухоженными клумбами, что меня вполне устраивало: можно было бегать где угодно. В парке стояло много копий античных скульптур — прекрасных нимф и страшных сатиров, и, хотя у некоторых из них были отбиты части тела, они очень оживляли парк, придавая ему таинственную прелесть. С тех пор о Лукьяновке у меня сохранились самые светлые воспоминания. Теперь они померкли и сменились мрачной картиной молчаливых очередей у приемного окошечка Лукьяновской тюрьмы.

Мама будила меня в четыре утра, и мы, собрав передачу, отправлялись к остановке, чтобы попасть на первый трамвай, идущий к Лукьяновке. Мы садились в полупустой вагон, который по ходу наполнялся такими же, как мы, печальными фигурами с узелками и корзинками. Заняв места у окна друг против друга, мы дремали под дребезжание стекол и постукивание колес, вздрагивая время от времени и озираясь в опаске — не проехали ли тюрьму. Меня при этом преследовало одно и то же видение: мы подходим к окошечку, но оно не открывается. Стучим — и вдруг распахиваются ворота, и навстречу к нам выходит отец, веселый и энергичный, такой, каким он встречал нас давным-давно у Белой пристани на Подоле. После этой яркой, радостной картины пробуждение в темное зимнее утро у тюремной ограды, в очередь у маленького окошка в железных воротах — все это отзывалось в сердце мучительной болью.

Денег у мамы не было, и пришлось сдать внаем одну из комнат в нашей квартире. Решение об этом было для мамы очень болезненным, но ничего другого не оставалось. К счастью, жилец попался неплохой. Лет сорока пяти, худощавый, высокий, он держался скромно и старался нас не обременять. Более того, нередко делился с нами своим пайком: консервированной говяжьей тушенкой, которая казалась мне неслыханным деликатесом. Он часто куда-то уезжал и, возвращаясь, привозил что-либо съедобное: овощи, картофель, капусту, а иногда воблу и подсолнечное масло. Постепенно мы с ним сдружились. Он оказался из рабочих. Профессиональный революционер, участник гражданской войны, он работал в каком-то из центральных учреждений в Харькове — тогдашней столице Украины — и был послан на Киевщину создавать колхозы. С этим и были связаны его частые отлучки. Человек он был от природы добрый и потому делом, которое ему поручили, явно тяготился. Проснувшись ночью, я нередко слышал его глубокие вздохи, а порой и страшные стоны.

Как-то мама спросила его об этом. Он помялся, помолчал, но все же ответил:

— У меня очень трудная работа. Организовывать колхозы не так-то просто. Но как дисциплинированный партиец я должен выполнить данное мне поручение. Вам трудно себе представить, что такое раскулачивание и выселение людей из родных мест. Это страшная человеческая трагедия. Ведь не только мужчины-кулаки, но их жены, старики-родители и дети — все должны быть депортированы. Видели бы вы, как прощаются они со своим домом, со своей скотиной, с землей, за которую воевали в гражданской войне на нашей стороне! От такой картины не то что закричишь в ночи — готов убежать куда глаза глядят».

Но он продолжал тянуть лямку, хотя сам был тяжело болен туберкулезом, курил запоем и беспрестанно глухо кашлял. Мы продолжали поддерживать с ним дружеские отношения и после того, как столица переехала в Киев. Он получил хорошую квартиру в новом доме, построенном в нашем районе. Но состояние его здоровья быстро ухудшалось. Он таял на глазах. Незадолго до смерти он сказал мне:

— Ты еще молод, и твоя жизнь может сложиться по-всякому. Где бы ты ни был, никогда не забывай о нашем народе. Он перенес и еще перенесет неслыханные страдания, а заслуживает лучшего…

Мне казалось, что за этими словами скрывается трагическое осознание того, что, выполняя поручения свыше, он своими действиями усугублял страдания народа и теперь, перед уходом из жизни, не может себе этого простить. Да, страшно было подводить такой итог…

Возвращение в Москву

Итак, после полугодичного пребывания за границей я возвращался из Берлина в Москву. Внезапный вызов на Родину у советского человека обычно порождал чувство тревоги: не написал ли на тебя кто-то донос, не ждет ли дома какая-либо неприятность. И хотя в телеграмме, присланной в торгпредство, мне предписывалось явиться в секретариат наркома внешней торговли, тут нельзя было исключать некой уловки — не спугнуть «провинившегося», не спровоцировать его на какую-либо нежелательную властям выходку. Те, кто ведал у нас загранкадрами, выработали немало подобных уловок. Впрочем, я за собой серьезных упущений по службе не находил, но все же, возможно, выйдя за рамки принятого, держал себя порой слишком свободно, завел немало знакомств и где-то в глубине сознания ощущал некоторое беспокойство.

За несколько месяцев работы в Германии я приобрел кое-какое имущество. Попав за рубеж, советский человек обязательно обзаводится вещами, покупать которые ни одному жителю нормальной страны не пришло бы в голову. Ведь все, особенно крупные предметы, он может купить у себя дома. С нами так не бывает. Тогда, как, впрочем, и теперь, спустя полвека, с Запада везли бытовую технику — холодильники, радиолы, радиоприемники, фотоаппараты, чулки-«паутинки», модную одежду. Мыло, зубную пасту, крем и лезвия для бритья в Союз не брали. Такого добра тогда было вдоволь дома. Я тоже, конечно же, приоделся, купил радиолу с приемником фирмы «Телефункен», один из лучших в то время фотоаппаратов «Контакс», часы и еще кое-какие мелочи.

На вокзале «Фридрихштрассе» меня провожал Валентин Петрович Селецкий. Он помог разместиться в купе и оставался до отхода поезда.

— Завидую тебе, что едешь в Союз, — говорил он. — А нам еще сколько придется пробыть здесь! Надеюсь, у тебя все там будет в порядке. Если что, дай знать…

Все-таки он обо мне беспокоился — как бы не поджидал меня непредвиденный сюрприз. Слишком близкий контакт с иностранцами всегда мог обернуться неприятностью. Мы это хорошо усвоили. И все же меня тянуло домой. С нетерпением ждал момента, когда снова ступлю на родную землю. На этот раз путь лежал через польскую территорию. Во Франкфурте-на-Одере мост еще не был полностью восстановлен. На нем работали немецкие саперы. Дальше, в сельской местности, все выглядело

мирно, но в городах виднелись разрушенные войной дома. Вокзал в Познани лежал в руинах, а Варшаву поезд объезжал по окружной дороге, и очертания города виднелись лишь вдали.

Наконец добрались до советско-германской разграничительной линии. Поезд остановился, не доезжая моста. В вагоне появился офицер СС в сопровождении двух солдат в зеленоватых стальных шлемах. Проверка документов, весьма тщательная. Но вещей не осматривали. Послышался свисток паровоза, и мы двинулись дальше. Прогремев по мосту, состав медленно выбрался на восточный берег Буга. Вот и полосатый пограничный столб с табличкой «СССР». Рядом молодой солдатик в выцветшей гимнастерке и пилотке с красной звездой. У меня при виде его подкатил ком к горлу. Радостно защемило сердце и, как я ни старался сдержаться, на глаза навернулись слезы. Стало так светло на душе.

Но длилось это недолго. Поезд остановился у перрона пограничной станции, где мы должны были простоять два часа, пока под вагонами меняли тележки на широкую колею.

Громкоговорители прохрипели:

— Граждане пассажиры, всем выходить с вещами для таможенного досмотра.

К серому зданию потянулась длинная вереница с чемоданами, коробками, баулами. Из багажного вагона выгружали громоздкие вещи. Все это раскладывалось на длинных низких столах, обитых полосками железа. Таможенники самозабвенно копались в белье, выворачивали карманы пиджаков и брюк. Досмотр походил на обыск. Книги, газеты, журналы, письма, листки бумаги, если на них было что-то написано, передавали пограничнику, который складывал их в стопку и куда-то уносил. Так на практике реализовался лозунг «Граница на замке».

Наконец очередь дошла до меня. Порывшись в чемодане и не обнаружив ничего предосудительного, таможенник потребовал:

— Откройте коробку.

— Там радиоприемник…

— Прошу открыть коробку, — строго повторил он.

— Это же фабричная упаковка, — пояснил я. Мне так не хотелось разрезать бечевку, отрывать клейкую ленту. Но я тогда еще не знал, как опасно перечить таможенному чиновнику. Тот уже резко, с раздражением, произнес:

— Вам сказано открыть коробку, что там у вас такое? Почему уклоняетесь?

Хотелось напомнить ему о пользе взаимной вежливости, но решил, что лучше не связываться, и стал развязывать коробку. Он

посмотрел на полированную верхнюю крышку приемника.

— Вынимайте!

Тут я понял свою ошибку. Теперь он меня помучает. Надо было проявить выдержку. Он приказал снять заднюю крышку радиолы, долго копался пальцами между катушками, лампами, конденсаторами, время от времени поглядывая на меня, словно играл в детскую игру: холодно, теплее, горячо… Вдруг увидит в моих глазах «жарко», нащупав тайник с крамолой. Но ничего не нашел. Выпрямился, выражая на лице брезгливость.

— Сколько везете часов? — вдруг спросил, прищурившись.

— Вот! — я потянул повыше рукав пиджака, показывая часы.

— А сколько в карманах?

Откуда он узнал — ясновидец, что ли? Или кто-то в Берлине все-таки настучал? Но мне ведь нечего опасаться. Двое женских часиков — такая безделка!

— Купил небольшие часики матери…

— А еще?

— Еще есть для приятельницы…

— Покажите!

Я положил на стол две небольшие коробочки.

Таможенник открыл одну, затем вторую.

— Нехорошо… Вы что же, пытались тайком провезти эту контрабанду? растягивая слова, произнес мой мучитель со злорадной улыбкой.

— При чем тут контрабанда, ведь я вам предъявил…

— Но только по моему требованию. И вообще больше одних часов ввозить в страну не разрешается. Придется составить акт.

Теперь я понимал, что спорить бессмысленно. Снял с руки свои часы и положил их на стол рядом с одной из коробочек. Вторую прикрыл крышкой и отодвинул в сторону — привезу матери.

— Надо было бы сообщить по месту вашей работы. Ну, ладно. Просто выпишу квитанцию о конфискации…

И на том спасибо, мысленно чертыхнулся я и принялся упаковывать приемник. От приподнятого настроения не осталось и следа.

В Москве на Белорусском вокзале была обычная толчея, безнадежно длиннющая очередь петляла у стоянки такси. Мне удалось уговорить водителя черного «ЗИСа» — официального лимузина, вроде, нынешней «Чайки». Их изготовлял московский завод имени Сталина — отсюда «ЗИС». Ехать было недалеко — всего до Смоленской площади. Не имея другого выбора, я решил на свой страх и риск остановиться в знакомом мне офицерском общежитии на углу Арбата.

Тетя Нюся встретила меня приветливо. В комнате, где я раньше жил, оказалась свободная койка. Ее я и занял, пообещав позднее оформить это проживание в Главном морском штабе. Обтерся холодной водой, взял из чемодана свежую рубашку и пакетик с чулками. Забежал с ними к тете Нюсе — она их приняла с ахами и охами, и отправился в наркомат — доложить о прибытии.

Встреча с Микояном

Народный комиссариат внешней торговли СССР находился тогда на углу улицы Куйбышева, напротив Политехнического музея. Позвонил из бюро пропусков в секретариат. Мне ответили, что через несколько минут спустится сотрудник и проводит меня. Значит, действительно вызов наркома. Но откуда мог узнать обо мне Анастас Иванович Микоян, человек, входящий в самую верхушку советского руководства, соратник самого Сталина, член всесильного политбюро? Не иначе как Тевосян благоприятно отозвался о моих переводческих способностях. Какой же теперь будет поворот судьбы?

— Валентин Михайлович? — прервал мои размышления хрипловатый голос. Передо мной стоял среднего роста человек в безукоризненной серой в полоску тройке, светло-голубой рубашке и бабочке вместо галстука. Чувствовалось, поездил по белу свету. — Пойдемте, нарком вас ждет…

Мы поднялись лифтом на четвертый этаж, прошли в секретариат, где меня представили пожилой, но очень элегантно одетой даме — личной секретарше наркома.

— Присядьте, Анастас Иванович скоро освободится, — сказала она, сделав жест в сторону кресла у окна.

Уже стемнело, площадь освещали яркие фонари, горела пестрая реклама на крыше Политехнического музея: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», «А я ем повидло и джем», «Нужен вам гостинец в дом? Покупай донской залом». Это все идея Микояна, курировавшего также и внутреннюю торговлю. Он приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Не подумайте, что то была показуха. Не только в Москве, но и в других крупных городах в витринах высились пирамиды крабных консервов, за прилавками стояли деревянные бочки с черной и красной икрой, на толстых деревянных досках — целые рыбины залома, лососины, семги. Разнообразные сыры, окорока, колбасы. Богатейшие винные отделы. Помимо обычных наборов — новинки: джин с улыбающимся голландским моряком на этикетке и советское виски. И никаких очередей! После некоторого ухудшения в месяцы войны с Финляндией снабжение в стране заметно улучшилось.

Из кабинета вышли трое, и сразу же за спиной секретарши раздался короткий звонок. Она исчезла за дверью и, вернувшись с кожаной папкой в руках, обратилась ко мне:

— Можете войти.

За первой дверью оказалась вторая. Открыв ее, я вошел в сравнительно небольшую комнату с темно-коричневыми деревянными панелями. Меня поразили скромные размеры кабинета. Только потом я узнал, что заседания коллегии наркомата и многолюдные совещания проводятся на пятом этаже в большом круглом зале.

Микоян сидел за столом у высокого окна. Бронзовый письменный прибор с распростертым орлом, лампа под зеленым абажуром и стопки бумаг почти полностью загораживали его миниатюрную фигуру. Он пристально смотрел на меня, суровый, даже, казалось, недоброжелательный. Мне подумалось, что он чем-то недоволен. Не начнет ли меня распекать?

— Явился по вашему приказанию, товарищ народный комиссар, — поспешил я отрапортовать.

Микоян улыбнулся, показывая под ухоженными усиками неровный ряд желтоватых от многолетнего курения зубов. И сразу суровость исчезла. Эта обворожительная улыбка нередко служила ему своеобразным убежищем при сложных переговорах с иностранцами. А сердитое выражение лицу придавали искривленный нос и глубокие морщины вокруг рта.

— Садитесь, — послышался глуховатый голос.

Я опустился в одно из кожаных кресел у стола.

— Когда вернулись из Германии? У вас есть где остановиться?

Я пояснил, что обосновался в общежитии, в котором жил до командировки в Германию. Микоян нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Скажите Федору, чтобы приготовил жилье товарищу Бережкову. — И добавил, обращаясь ко мне: — Мой помощник по хозяйственной части вас сегодня же устроит.

Я поблагодарил, пробормотав, что мог бы остаться в общежитии.

— Скромность — украшение большевиков, — изрек нарком. — Но излишнее усердие в этом деле ни к чему. Теперь расскажите, что там в Германии. Совсем, наверное, зазнались после победы над Францией?

Я рассказал о том, что видел во время «парада победы» в Берлине и на заседании рейхстага, где выступал Гитлер. Постарался передать царящую в Германии атмосферу массового психоза и экзальтации, проинформировал о работе нашей группы по приемке оборудования на заводе Круппа.

— Тевосян говорил, что вы с ним были в Голландии, а затем снова ездили в Роттердам и, кажется, в Брюссель. Как там

обстановка?

Внимательно выслушав мой краткий отчет, Микоян сказал, что в ближайшее время уцелевший рефрижератор будет доставлен из Роттердама в ленинградский порт.

— Тевосян остался вами доволен, — добавил нарком.

Наступила пауза. Микоян взял со стола недавно поступившие в продажу и сразу ставшие популярными сигареты «Тройка», открыл коробку и протянул мне.

Под серебряной фольгой виднелся нетронутый ряд с золотыми фильтрами. Курить в кабинете наркома — крайняя развязность, решил я. Возможно, он преднамеренно меня испытывает.

— Благодарю, только недавно бросил, — слукавил я.

— Очень благоразумно, — похвалил Микоян, взял из коробки сигарету и закурил. В воздухе разнесся медовый аромат.

Мне было как-то не по себе под изучающим взглядом наркома. Сколько же будет продолжаться эта пауза? И зачем он меня вызвал? Но вот он энергичным движением потушил недокуренную сигарету в тяжелой мраморной пепельнице. Видимо, принял решение.

— Как вы относитесь к тому, чтобы перейти на работу в Наркомвнешторг? спросил Микоян. — Предстоят важные переговоры с немцами, и мне нужен хороший переводчик, имеющий опыт работы в Германии., Тевосян считает, что вы справитесь.

— Для меня это большая честь, постараюсь оправдать доверие, — ответил я. Но как быть с моим начальством? Ведь я все еще прохожу службу в военно-морском флоте.

— Мне это известно. Мы договоримся с адмиралом Кузнецовым, чтобы вас временно откомандировали в распоряжение Наркомвнешторга. Кстати, вы еще не член партии. Советовал бы вам решить этот вопрос. Думаю, что, если подадите заявление в воинской части, где вы приписаны, будете приняты в кандидаты. Подумайте. А завтра с утра явитесь в мой секретариат, в группу по Германии. Там Точилин или Чистов все вам объяснят. До свидания…

В приемной меня поджидал помощник наркома по хозяйственной части — тот самый элегантно одетый человек.

— Пойдемте, я вам приготовил жилье, — пригласил он.

Ждавший у подъезда черный «бьюик» повез нас по улице Куйбышева в сторону Красной площади. Тогда по ней еще было двустороннее движение. У музея Ленина повернули направо и остановились перед гостиницей «Метрополь». Я никак не ожидал, что окажусь в таком роскошном отеле. На втором этаже мне

предоставили двухкомнатный номер с ванной, телефоном и просторным застекленным балконом. Потом я узнал, что в этом номере когда-то жил Бухарин, заполнивший балкон чучелами птиц и охотничьими трофеями.

— Мне неловко занимать столь большое помещение, нет ли комнаты поскромнее? — спросил я.

— Ничего неловкого тут нет, — возразил мой провожатый. — Мы имеем здесь несколько номеров. Их оплачивает наркомат. Спокойно живите, пока не получите квартиру.

— Могу ли я забрать сюда свои вещи, они на Арбате, у Смоленской площади?

— Разумеется. Я вернусь в наркомат пешком, а машина в вашем распоряжении. Это один из дежурных автомобилей секретариата наркома. Вы имеете право вызова по делам…

Все это было как во сне. И разговор с наркомом, и его предложение подать заявление о вступлении в партию, и этот роскошный «люкс», и автомашина, которую я могу вызывать по своему усмотрению. Конечно же, Микоян где надо обговорил вопрос о моем кандидатстве в члены ВКП(б). Видимо, знают об этом и в политуправлении военно-морского флота. Готов ли я к вступлению в партию? И справлюсь ли с работой у такого требовательного и строгого человека, как Анастас Иванович? По-видимому, вступление в партию — одно из условий приема в наркомат. Но как мне самому решиться на этот серьезный шаг? Не делать же его лишь для того, чтобы быть зачисленным в секретариат наркома! Собственно, я уже мог считать, что получил назначение. Но столь же ясно, что Микоян не сомневался: заявление о приеме в кандидаты партии я подам и буду принят. Но ведь надо быть принципиальным. Раньше я не думал об этом. В одну из очередных кампаний, проводившихся на Украине в 1934 году в связи с десятилетием со дня смерти Ленина, меня, не спросясь, включили в список «ленинского комсомольского призыва». Потом нашу группу забыли соответствующим образом оформить, да и мы не проявили заинтересованности, и я остался беспартийным. С другой стороны, я всегда старался добросовестно выполнять свои обязанности, верил, что партия ведет нашу страну по правильному пути, не сомневался в том, что Сталин ученик и законный преемник Ленина. Так почему же и мне не стать членом партии Ленина и не постараться на том посту, который мне предлагают, внести свой, пусть скромный, вклад в дело строительства социализма? Мог ли я тогда себе представить, что спустя 50 лет, после кровавых событий в Вильнюсе в январе 1991 года, я должен буду принять решение о выходе из КПСС!..

Так я рассуждал, сидя на балконе номера в «Метрополе», окруженный звуками ночной Москвы. Снизу доносился приглушенный говор публики, вышедшей после спектакля из Малого театра, позванивали трамваи. Слева к «Гранд-Отелю» подкатывали автомобили. Рестораны работали тогда до четырех утра. Кухня в «Гранд-Отеле» особенно славилась, обслуживание было отменным: еще не перевелись старорежимные официанты — полные достоинства и в то же время внимательные и предупредительные.

На следующее утро явился в наркомат. Представился Точилину, очень приятному, мягкому, обходительному человеку. Он руководил группой референтов наркома. Точилин показал мне выписку из приказа, подписанного Микояном: я стал референтом наркома внешней торговли по советско-германским экономическим отношениям.

Освобождение

Зима 1928/29 года была для нас особенно тяжелой. Предрассветные поездки в Лукьяновскую тюрьму в холодном дребезжащем трамвае, тревога за отца, образовавшаяся вокруг нашей семьи почти полная пустота, настороженное отношение в школе леденили душу и угнетали. Тем более что жизнь в городе по-прежнему выглядела так, будто ничего не произошло. А, собственно, почему должно было быть иначе? Это ведь на нас обрушилось горе.

Между тем нэп продолжал действовать, и условия жизни в Киеве внешне не изменились. На Крещатике, переименованном в улицу Воровского — советского дипломата, убитого в 1923 году в Швейцарии белоэмигрантом, за столиками кафе нарядная публика, вокруг кинотеатров толпы любителей голливудских фильмов, в цирке веселые представления. Все это не для нас. Мы действительно тогда страшно бедствовали. После ареста отца семья осталась без средств. Сбережений не было, как и не нашлось никого, кто согласился бы нам помочь. Мама прирабатывала, давая частные уроки английского и немецкого языков.

Вскоре сравнительно безмятежную жизнь киевлян потрясли события вокруг Киево-Печерской лавры. Газеты и радио сообщили, что какой-то инок, заманив в дальние пещеры девушку, изнасиловал, а затем разрубил ее на части топором. В печати появились страшные фотографии расчлененного женского тела, топора преступника и самого инока — длинноволосого, худого, с безумными глазами. Готовился шумный судебный процесс со множеством свидетелей и жертв «похотливых» монахов. Создавалась чудовищная картина злодеяний, якобы творившихся под сенью золотых куполов лаврской обители.

Возможно, теперь, в условиях гласности, удастся выяснить, что же тогда произошло. Действительно ли за стенами монастыря творились темные дела или же какой-то частный случай был использован для организации шумного процесса, предварившего новое наступление на церковь? Со стародавних времен Киево-Печерская лавра почиталась не только на Украине, но и во всей Российской империи как величайшая святыня. То, что, несмотря на интенсивную антирелигиозную пропаганду и многолетние гонения против священников, разрушение церквей и ликвидацию множества монастырей, лавра уцелела и продолжала пользоваться у населения большим авторитетом, требовало, по мнению властей, ее дискредитации. Преступление инока

оказалось как нельзя кстати. Он подвернулся желанным поводом для развертывания яростной кампании против лавры. Процесс над злоумышленником был открытым. На него, как на представление, водили делегации с предприятий, студентов, крестьян из соседних деревень. Были организованы «требования трудящихся» о немедленном закрытии «гнезда разврата и кровавых преступлений», об отправке монахов в трудовые лагеря для перевоспитания. По крайней мере часть населения удалось настроить против монастыря, и лавру преобразовали в этнографический музей.

Письма отца, очень редкие, мы ждали с нетерпением. Из них, конечно, было невозможно узнать, что с ним происходит. Но, получая их из Лукьяновской тюрьмы, мы хотя бы догадывались, что разбор «дела», по которому его «забрали», еще не закончен. В остальном же он старался подбодрить нас, уверяя, что скоро увидимся, советовал не падать духом, а мне — получше учиться в школе.

В начале марта пришла от него весточка, сильно нас взволновавшая. Отец сообщал, что следствие заканчивается и что ему в этой связи обещали свидание с семьей. Радость и боль сменялись в моей душе.

— Когда и где мы его увидим? — спрашивал я маму. — Я не смогу перенести, если после короткой встречи мы, быть может, потеряем его навсегда…

Зная свою беззащитность перед внутренними эмоциями и склонность к безудержным слезам, я даже боялся этого свидания. Хватит ли у меня сил держаться мужественно и не разрыдаться в присутствии отца, которому и без того нелегко?

Перед свиданием мама напичкала меня валерианкой и бромом в надежде, что я под воздействием лекарств стану менее чувствительным.

Встреча была назначена в управлении ГПУ на улице Розы Люксембург, которая шла параллельно нашей улице Карла Либкнехта. Здесь оба германских революционера-мученика были рядом, как и тогда у Ландверканала в Берлине, где в 1919 году нашли смерть. По иронии судьбы в подвалах дома на улице Розы Люксембург находили смерть и русские революционеры, и эмигрировавшие в СССР немецкие коммунисты вроде Пауля Радештока из нашей школы — невинные жертвы сталинских репрессий. Не такая ли участь ждет и моего отца, думал я, подходя к зловещему зданию, над фронтоном которого можно было бы высечь надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий…»

Постовой нашел в лежавшем на столике списке наши имена, предложил подождать и доложил кому-то по телефону. Через

несколько минут к нам вышел человек в штатском.

— Следуйте за мной, — сухо сказал он и стал подниматься по лестнице.

Пройдя по длинному коридору со множеством дверей, завернули за угол. Сопровождающий ввел нас в небольшую комнату с окном, зашторенным легкой тканью, пропускавшей свет снаружи. Посредине находился небольшой стол и по два стула с каждой стороны. Мы с мамой сели рядом. Сопровождающий вышел, и мы остались одни. Я хотел что-то сказать, но мама предупреждающе приложила палец к губам. Тут повсюду уши, сообразил я.

Ждали довольно долго, сдерживая волнение. Наконец дверь открылась, и вошел отец. Я до крови впился зубами в губу и ногтями в ладони, причиняя себе физическую боль, чтобы не выдать душевную.

Отец очень исхудал и осунулся. Волосы еще больше поседели, только усы, как прежде, черные. Мешки под глазами сильно обвисли. Цвет лица серый от долгого пребывания в камере. Все же он старался казаться бодрым. В драматические моменты он всегда стремился вселить в нас мужество. Но мне от его вида стало еще труднее держать себя в руках.

Отца сопровождал маленький человечек в военной форме и портупее, в петлицах по две шпалы, что означало довольно высокий ранг. Волосы у него были рыжие, вьющиеся и, похоже, давно не чесанные.

— Следователь Фукс, Абрам Иосифович, — представился он.

Он предложил отцу сесть за стол напротив мамы и сам расположился рядом. Отец протянул ладони над столом и взял мамины руки в свои. Потом так же обхватил мои кисти и крепко их сжал.

— Вот, наконец-то, мы и увиделись, — начал он, стараясь изобразить на лице беззаботную улыбку. — Вы видите, что я в полном порядке, но, конечно, очень по вас соскучился. Рассказывайте, как вы живете.

— Мишенька, я уже отчаялась и не могла дождаться этой встречи, воскликнула мама, позволив эмоциям прорваться. Но быстро преодолела волнение и более спокойным тоном стала рассказывать о нашем житье-бытье, не в меру его приукрашивая.

Отец принялся расспрашивать меня о школе, об отметках и похвалил за то, что я довольно успешно завершаю шестой класс.

— Теперь, — сказал он, — ты должен проявить себя еще лучше в седьмом, твоем последнем классе, и закончить школу одним из первых. Если я здесь задержусь, тебе придется стать кормильцем семьи…

Следователь Фукс как-то странно хмыкнул, а меня эти слова укололи до боли. Неужели отец и через год не вернется к нам? Неужели именно об этом он нам дает понять?

Мама восприняла папины слова так же, как и я. Она стала нервно уверять, что у нас все в порядке, чтобы он о нас не беспокоился. Потом вдруг сказала:

— Мы уверены, что наши советские органы правосудия во всем разберутся. Они не сделают зла невиновным. Вот после долгой разлуки мы встретились. А я уже и не надеялась на это. Все выяснится, и ты вернешься к нам. Я в этом уверена…

Действительно ли она верила в это? Или просто хотела подбодрить отца, а главное, польстить следователю Фуксу? Вряд ли ее уловка могла иметь успех. Но через несколько минут Фукс заявил, что оставляет нас одних для прощания и вышел из комнаты. Отец подхватил мамину мысль:

— Да, да, конечно, у нас невиновных не осуждают. Я тоже верю, что меня отпустят…

Говоря это, он снова сжал мамины руки, и я заметил, как у него между пальцами проскользнула в мамину ладонь туго скрученная в трубочку бумажка.

— Береги себя, Мишенька, — громко, как бы имея в виду подслушивающих нас за дверью, произнесла мама. — О нас не волнуйся. Все устроится, и мы вновь соединимся…

Мы еще немного поговорили о всяких малозначащих мелочах.

Вошел Фукс и заявил, что свидание окончено. Мы обнялись, и я в волнении даже не заметил, как ушел отец. Просто мы вдруг оказались одни. Я не мог более сдерживать свои чувства и громко разрыдался.

Появился все тот же человек в штатском и проводил нас к выходу. Дежурный солдат сделал отметку в списке, и мы очутились на улице.

Дома мама развернула записку. Там мелким, очень красивым папиным почерком высококвалифицированного чертежника были выведены несколько строчек: «Никаких ложных признаний у меня не вырвали.

Все обвинения рассыпались. «Дело» распалось.

Теперь либо все равно сошлют… либо выпустят. Целую».

Мы не знали, радоваться или печалиться. Но чувствовали, что так или иначе мучащая нас неизвестность скоро окончится.

Прошел еще месяц — с поездками в Лукьяновскую тюрьму, со стоянием в очереди у окошечка для передачи, в ожидании рокового известия…

Нам теперь редко звонили по телефону. Порой аппарат

молчал неделями. Но вот в середине апреля раздался звонок. Я взял трубку. Незнакомый голос осведомился, кто говорит. Я назвал себя.

— Передай матери, — послышалось в трубке, — что завтра в одиннадцать утра ей следует быть на улице Розы Люксембург в управлении ГПУ. Понятно?

— Понятно, — ответил я, охваченный волнением.

Придя вечером домой и узнав о звонке, мама засуетилась. Нарезала ломти хлеба и принялась сушить их в духовке. Стала собирать теплые вещи: свитер, несколько пар шерстяных носков, вязаный толстый шарф, валенки, меховую шапку. Все это делала молча, сосредоточенно. Я забеспокоился:

— Зачем ты это? А может, папу выпустят?

— Не говори так, — резко оборвала она меня. — Лучше ждать худшего, иначе не вынесу…

Утром встали рано и с нетерпением ждали, когда же стрелки часов покажут половину одиннадцатого. Чемоданчик с вещами, сухарями и кое-какими продуктами давно стоял собранный. Мама подхватила его, и мы направились к зданию ГПУ. Вошли внутрь. Нас, как и в прошлый раз, проводили в ту же комнату на втором этаже. Ожидать пришлось недолго. Отца, как и тогда, сопровождал следователь Фукс. Мы с мамой стояли в нерешительности. Отец, слегка улыбаясь, молчал. Наконец Фукс обратился к маме:

— Вы напрасно принесли чемодан. Придется его взять обратно…

Сердце у меня упало. Неужели даже теплых вещей отцу не позволят взять с собой в ссылку? Или же ему грозит нечто более страшное — отправят туда, где человеку уже ничего не понадобится…

Между тем Фукс, выдержав паузу, продолжал:

— Мы тщательно разобрались в обвинениях, предъявленных Михаилу Павловичу. Его оклеветали. Никаких противозаконных действий он не совершал. Мы приносим ему извинения и поздравляем его с возвращением домой и с восстановлением на работе. Это было недоразумение. Считайте, что ничего не произошло. И ты тоже, — обратился Фукс ко мне, — знай, что твой отец не был даже под следствием и не было никакого ареста. Повторяю, его просто пригласили сюда для выяснения возникшего недоразумения…

Я остолбенел от неожиданности. Мама тоже никак не могла поверить в то, что мы услышали. Значит, отец свободен! И не только свободен, но вроде бы с ним ничего и не произошло. И даже на работе он восстановлен! Мама обняла отца, расцеловала

его. Потом подошла к Фуксу и, пригнувшись, чмокнула его в щеку. Я, подпрыгнув, повис у отца на шее. Сердце билось молотом: ведь пришло такое счастье и так неожиданно. А мы готовились к самому худшему…

Отец довольно холодно попрощался с Фуксом. Меня это даже покоробило. Все это время Фукс с таким участием нам улыбался. Он, казалось мне, тоже радуется, что наше тяжелейшее испытание окончилось. В конце концов следователь ГПУ тоже человек. Я готов был простить его, даже если он порой плохо обращался с отцом.

Только потом мы узнали, что, добиваясь «признаний», отца жестоко избивали, заставляли сутками стоять в узком карцере, лишали сна, сажали в одну камеру с уголовниками, подвергали и более изощренным пыткам. Но он обладал несокрушимой волей и атлетическим телосложением. Это помогло ему вынести все издевательства. Он много раз терял сознание, но не подписал ни одной бумажки, которые ему подсовывал следователь.

Очень нехотя и не за один раз он рассказал нам о пережитом в тюрьме. Отец заставил нас с мамой поклясться, что мы никогда никому не будем говорить об этом. Дело не только в том, что с него взяли расписку о «неразглашении». Отец понимал, что знание его тайны ставит и нас под угрозу.

Меня потрясла его исповедь. Трудно было во все это поверить. Я находил утешение и объяснение происшедшего в том, что только особенно извращенные и злобные следователи позволяют себе так обращаться с людьми.

Казалось чудом, что отца выпустили, причем без всяких отягощающих его дальнейшую жизнь последствий. Такое случалось крайне редко. Этот невероятный случай имел для меня определенные последствия. Он позволил уверовать, что если человек действительно невиновен, то его либо не тронут, либо, даже арестовав, в конце концов обязательно выпустят. Быть может, это и позволило мне потом, спустя многие годы, без страха входить в кабинет Сталина, сидеть рядом с ним, не ощущая опасности, которая грозила людям, общавшимся с этим кровавым чудовищем…

Референт наркома

В наши дни представляется прямо-таки авантюристичным назначение юного инженера-технолога, проработавшего лишь несколько месяцев на заводе Круппа в Германии и обладавшего знаниями в ограниченной области военно-морской техники, на ответственный пост референта наркома внешней торговли. Ведь здесь требовались обширные знания в области коммерции, истории советско-германских экономических отношений, знакомство с прецедентами, бесчисленными юридическими правовыми нормами, знание действующих договоров, конъюнктуры и специфики международной торговли.

Ни о чем этом я не имел представления, когда в августе 1940 года сел за стол в секретариате народного комиссара. Только юношеская самонадеянность объясняет мою легкомысленную готовность принять предложение Микояна. Но как мог этот опытный деятель избрать такого юнца в свои помощники? Видимо, ему был крайне необходим переводчик, обладавший хотя бы скудным опытом работы в Германии. Этому требованию я более или менее отвечал. Главное же было в том, что Народный комиссариат внешней торговли, как и другие советские учреждения, подвергся сталинской «чистке» и был фактически опустошен. Срочно понадобились новые работники, и в этих условиях требования оказались невысокие.

Справедливости ради надо сказать, что Микояну удалось сохранить некоторых старых специалистов. Хорошо помню, как нарком на заседаниях коллегии, после горячего обсуждения какого-либо вопроса, в случае расхождения во мнениях с большим уважением обращался к сидевшим поодаль экспертам — Келину и Фрею:

— А теперь давайте спросим наших мудрецов, что они об этом думают…

И он внимательно выслушивал их пространные соображения по обсуждаемому вопросу, их анализ положительных и отрицательных сторон ранее высказанных предложений. Как правило, оба эксперта давали идентичные рекомендации. Но бывало и так, что Келин и Фрей высказывали противоположные взгляды. Это раздражало Микояна. Он требовал от них еще раз взвесить свои предложения, в то время как коллегия переходила к другим пунктам повестки дня. Эксперты шептались в своем углу, а то и вовсе покидали зал заседания. Если и по их возвращении не было единодушия, нарком обращался к членам коллегии, которые после некоторого обсуждения одобряли в конце концов

один из вариантов.

Мне напоминали оба эти эксперта библейских пророков или оракулов древности: грузный, неряшливо одетый, с седой шевелюрой Фрей и Келин, высокий, аскетического сложения, лысоватый, в безукоризненно выглаженном костюме, с накрахмаленным воротничком и галстуком-бабочкой.

Я сразу же понял, какими скудными знаниями обладал. Пришлось изучать толстенные досье с коммерческой перепиской последних лет, протоколы торговых переговоров, телеграммы советских торговых представительств за рубежом, а также выдержки из решений ЦК партии и Совета Народных Комиссаров. Познакомился я также с соглашениями и договоренностями между СССР и Германией со времен Веймарской республики. И все это надо было успеть проштудировать наряду с моей повседйевной работой, ежедневными переговорами с немцами, в которых я принимал участие как переводчик. В мои обязанности входило также составление записи бесед Микояна, которые пересылались членам политбюро, а также телеграмм советскому торговому представительству в Берлине.

В сентябре и октябре 1940 года с Германией велись интенсивные торговые переговоры, в которых помимо посланника Шнурре, уже участвовавшего с германской стороны в подготовке торговых соглашений в августе 1939-го и в феврале 1940 года, принимал участие также и посол Риттер. Это был плотный мужчина с бочкообразной грудью, широкоплечий и скорее походивший на борца, чем на дипломата. И как истинный боец он был честолюбив, напорист и вынослив. У меня сложилось впечатление, что Микоян, который также обладал незаурядными бойцовскими качествами, высоко ставил Риттера. Немцы требовали увеличения советских поставок. Их особенно интересовали масличные культуры из Бессарабии и стратегическое сырье. В то же время германские поставки закупленного нами оборудования задерживались. Как теперь известно, именно в то время Гитлер начал сомневаться в целесообразности высадки войск на Британских островах.

7 сентября «люфтваффе» совершила крупный налет на английские города. Были серьезно повреждены лондонские доки. Некоторые районы столицы и других городов были превращены в развалины. Все это так воодушевило фюрера, что он решил передвинуть высадку дальше в надежде, что сможет путем воздушных бомбежек поставить Англию на колени. Немаловажную роль сыграл тут и доклад гроссадмирала Редера. Учитывая концентрацию британских военных судов в Ла-Манше и ухудшение погодных условий, он предостерегал Гитлера от

возможных негативных последствий попытки совершить вторжение. В итоге назначенное на 14 сентября «окончательное решение» фюрера относительно высадки не было осуществлено.

19 сентября последовало указание Гитлера отозвать десантные средства, сконцентрированные в Северной Франции для вторжения и еще не пострадавшие от английских бомбежек. Когда в октябре британская авиация причинила большие потери геринговской «люфтваффе», фюреру пришлось перенести операцию «Морской лев» на начало лета 1941 года. В соответствующей директиве указывалось, что в случае, если вновь возникнет вопрос о высадке на Британских островах, к тому времени будут изданы новые инструкции… Это по существу означало отказ от планов вторжения.

Каковы же были дальнейшие планы Берлина? Гитлер вновь вернулся к никогда не покидавшей его идее «уничтожения большевизма». Еще 31 июля он объявил на встрече с генералами вермахта в Бергхофе:

— Все надежды Англии — на Россию и Америку. Если надежда на Россию отпадет, то отпадет и Америка, поскольку после устранения России произойдет огромная переоценка Японии в Восточной Азии. Как только Россия будет разбита, исчезнет последняя надежда Англии. В Европе и на Балканах господствовать тогда станет Германия. Вывод: в ходе этого конфликта Россия должна быть уничтожена.

В соответствии с этими целями германский генеральный штаб распорядился начать подготовку размещения войск в восточных областях, и 26 августа по приказу Гитлера к советской границе были переброшены одна пехотная и две танковые дивизии. В начале сентября, под предлогом транзита в Норвегию, германские войска были размещены в Финляндии. Началась концентрация вермахта вдоль границ Советского Союза.

Интересная деталь: 14 августа 1940 г. Гитлер затребовал список советских поставок «до весны 1941 года». Это был ориентировочный срок нападения на СССР. Об этом задании фюрера, несомненно, знали Риттер и Шнурре, когда они так настойчиво требовали увеличения советских поставок в Германию. С этим связана и задержка, а вскоре и полная приостановка германских поставок в СССР. В какой мере в то время Микоян был информирован о намерениях Берлина, мне судить трудно. Во всяком случае, как член политбюро он имел доступ к донесениям советской разведки в Германии, которая, как мы сейчас знаем, была хорошо информирована. Как бы там ни было, он твердо стоял на своем и требовал в ответ на малейшую уступку с нашей стороны выполнения немецких обязательств.

Бывало и так, что Риттер, не добившись своего в Наркомате внешней торговли, обращался совместно с послом Шуленбургом непосредственно к Сталину. Нередко случалось, что Сталин великодушно шел навстречу германским пожеланиям. Этим жестом он подтверждал, что только сам «хозяин» все тут решает. Заодно он сигнализировал Гитлеру, что тот может на него, Сталина, положиться.

В подобных случаях я нередко замечал, что Микоян мрачнел и во время ужина с немцами по случаю очередной «договоренности» позволял себе лишнюю рюмку коньяку.

В конце октября посол Риттер покидал Москву. Хотя он и не полностью выполнил задачу, поставленную Берлином, у него все же имелись основания испытывать удовлетворение. Похоже, что Сталин поверил объяснению причин задержки немецких поставок и тому, что после завершения подготовки к вторжению в Англию все, что недопоставлено, будет с лихвой возмещено. Согласно обещанию «хозяина», СССР выполнит свои обязательства и в благожелательном духе рассмотрит дополнительные пожелания Германии. Итак, ему, Риттеру, удалось обойти этого упрямого и хитрого армянина, думал он. Правда, пока он имеет только обещания, но ведь слово Сталина — закон, и Микоян вряд ли осмелится перечить «хозяину».

И Риттер, и Шнурре были в приподнятом, даже игривом настроении на прощальном приеме, устроенном накануне отъезда германской делегации Микояном в Доме приемов Наркоминдела на Спиридоновке.

Так я оказался в этом красивом особняке, попасть внутрь которого давно мечтал.

Приехав как-то в начале 30-х годов в Москву на каникулы, я остановился у своего бывшего соученика, который, переехав в столицу, получил комнату напротив Дома приемов. Направляясь вечерами на каток к Патриаршим прудам, мы не раз выходили из дому в момент, когда на прием в особняк съезжались гости: дипломаты на сверкающих машинах с флажками, наркомы у «бьюиках» с затемненными стеклами, высшие командиры Красной Армии — мы узнавали маршалов Тухачевского, Блюхера, Егорова. Это был манящий и недоступный, сказочный мир умудренных жизнью государственных мужей, отмеченных высочайшими наградами военачальников, объехавших весь свет дипломатов. Ранними зимними вечерами, когда зажигались хрустальные люстры, но еще не были опущены кремовые шторы-маркизы, удавалось на несколько мгновений заглянуть внутрь этого таинственного царства вершителей наших судеб. Кто мог в те дни предположить, что прославленные маршалы, так же как и многие

другие участники этих приемов, вскоре станут жертвами кровавых репрессий и что гостеприимный хозяин особняка Литвинов найдет смерть в одной из подозрительных автомобильных катастроф, столь частых в правление Сталина.

Но пока все там казалось стабильным и нерушимым.

И вот я вхожу туда вслед за наркомом Микояном, поднимаюсь по мраморной широкой лестнице с поразительно красивыми перилами. И по архитектуре, и по внутреннему убранству дом этот — подлинное произведение искусства. До революции он принадлежал богатому текстильному фабриканту Савве Морозову ценителю искусств, известному в свое время меценату. Лучшие художники, живописцы, скульпторы начала XX века украшали особняк Морозова. Витражи и лестница в вестибюле, поразившая меня своим изяществом, созданы Врубелем. Просторные парадные залы — каждая в своем стиле — украшены произведениями лучших голландских, испанских, русских мастеров. Повсюду — «горки» с тончайшим китайским фарфором, статуэтками, уникальнейшей серебряной посудой.

В Зеленой гостиной, расположенной справа от вестибюля, уже находилась группа гостей. Среди них несколько работников Наркомвнешторга. Мое внимание привлек стоявший отдельно от других низенький, плотно сколоченный человек с круглой лысеющей головой и выпученными, белесыми, рачьими глазами. Одет он был в отлично сшитый черный костюм, белоснежную рубашку и темный, в косую полоску, галстук. Держал себя очень самоуверенно, почти развязно, и даже когда в залу вошел Микоян, в отличие от других, сразу же засуетившихся, неспешной, вялой походкой подошел к наркому, непринужденно поздоровался с ним за руку и стал о чем-то шутить, как со старым знакомым. Это выглядело не совсем обычно, и когда позднее мы стояли с Точилиным в сторонке, я поинтересовался, кто же это такой.

— Деканозов, человек Берии, недавно назначен заместителем наркома иностранных дел, — ответил он шепотом.

Я не подозревал тогда, что вскоре мне доведется довольно близко с ним познакомиться.

Появилась немецкая делегация. Официанты принялись разносить напитки. Микоян и Риттер поздравляли друг друга с успешным завершением переговоров, хотя у каждого для этого были свои мотивы. Риттера радовало обещание Сталина, а Микоян был доволен хотя бы тем, что дальше обязательства рассмотреть пожелания германской стороны мы пока не пошли.

Метрдотель пригласил всех перейти в столовую. Снова прошли через вестибюль и оказались в просторной комнате в

светло-серых тонах с огромным камином. Вокруг стола выстроились резные стулья с высокими спинками. Все расселись согласно карточкам, лежавшим у каждого прибора. Я полагал, что на таком торжественном приеме мне, исполнявшему в данном случае лишь роль переводчика, поставят стул как бы во втором ряду, между хозяином и главным гостем. Но мой прибор, такой же, как у всех, оказался слева от Микояна.

На следующий день в краткой хронике ТАСС указывалось, что ужин, который дал нарком внешней торговли СССР А. И. Микоян послу Риттеру, прошел в непринужденной, дружественной обстановке.

Мне нравилась работа в секретариате наркома, многие премудрости удалось освоить, а там, где было что-то неясно, всегда приходил на помощь Точилин и второй, более опытный, чем я, референт по Германии Чистов. Но мне недолго оставалось выполнять эту функцию.

* * *

Летних каникул 1929 года я ждал с особым нетерпением. Мы переходили в седьмой, последний класс школы и чувствовали себя взрослыми, хотя никому из нас не перевалило за 14 лет. Но тогда выпускники семилетки обычно сразу поступали на работу. Те, кто хотел продолжать учебу, занимались вечерами на рабфаковских курсах, готовясь к экзаменам в техникум или институт, куда принимали соответственно с шестнадцати и семнадцати лет. У меня оставался еще целый год до принятия решения. Теперь же манило обещанное отцом путешествие на теплоходе в черноморские субтропики.

Из Анапы, где я провел первые недели каникул с Юшковыми, я собираюсь на небольшом суденышке отправиться в Новороссийск, куда прибывает теплоход «Грузия», на котором из Одессы плывут мои родители. Подхватив фанерный баульчик, поднимаюсь на палубу и устраиваюсь у борта.

— Отдать концы, — выкрикивает капитан с мостика.

Каждый раз испытываешь острое чувство утраты, когда так внезапно прерывается один отрезок жизни и открывается дверь в другой. Особенно когда уходят радостные, беззаботные дни. И всякий раз, переступая порог даже в обещающее быть лучшим, но все еще неизведанное, люди, приученные долгим опытом, что после каждого поворота им становилось не лучше, а хуже, ощущают тревогу и ностальгию по уходящему прошлому, каким бы тяжелым оно ни было. Именно такие чувства вызывают у

большинства нашего населения проекты реформ конца 80 — начала 90-х годов…

На подступах к Новороссийску морской и прибрежный пейзаж заметно меняется. Сопровождавшие нас от самой Анапы дельфины отстают и устремляются к танкерам и сухогрузам, бросившим якорь у входа в гавань.

Выхожу на причал и попадаю в объятия отца. Разглядывая меня, он говорит:

— Молодец, загорел, повзрослел, но худой, как голодающий индус…

Эта кличка, памятная с младенческих лет, присвоена мне из-за невероятной худобы, присущей большинству детей эпохи «военного коммунизма». Многие, впрочем, потом пополнели. Я лее так и остался «кащеем». Это вторая моя кличка.

— Ничего, — улыбается отец, беря меня за руку. — Теперь мы тебя подкормим…

Он все еще чувствует вину за то, как мы бедствовали и голодали во время его ареста.

Подходим к трапу, круто поднимающемуся вверх на прогулочную палубу. Здесь нас ждет мама. Кажущаяся совсем молодой, посвежевшая и радостная, в легком белом платье, отделанном кружевами, и в кремовой широкополой шляпе-соломке с вуалью, она, пригибаясь, целует меня в голову. Знакомый аромат духов «Лориган» обволакивает, унося в далекое детство…

Ночной вызов в Кремль

Вскоре после ноябрьских праздников поздно ночью (а мы работали тогда до пяти-шести утра) Анастас Иванович пригласил меня к себе в кабинет. Я полагал, что речь пойдет о каком-то очередном задании. Но меня ждала новая неожиданность.

— Вам следует немедленно явиться в секретариат председателя Совнаркома. Моя машина стоит у подъезда. Воспользуйтесь ею, чтобы не тратить время на получение пропуска. Через Спасские ворота Кремля вас доставят к зданию Совнаркома. Там вас ждут. Отправляйтесь! — резко сказал он.

Мне показалось, что он чем-то недоволен и как-то нехотя отправляет меня. Он, конечно, уже знал то, чего не знал я: работать с ним мне больше не придется.

Выйдя из кабинета, я забежал в свою комнату, запер сейф на ключ и спустился к подъезду. Водитель все знал и, не дожидаясь моих пояснений, помчал по улице Куйбышева, а затем через пустынную Красную площадь прямо к Спасским воротам. Дежурный у входа в здание Совнаркома также был предупрежден и, бегло взглянув на мое удостоверение, напутствовал: второй этаж направо, в конце коридора. Вскоре я оказался перед дверью с табличкой, на которой золотом сверкала надпись: «Приемная Председателя Совета Народных Комиссаров СССР».

Для моего поколения этот пост тогда означал очень многое. В нем синтезировались и символы высшей власти, и революционная романтика, и героика гражданской войны, и строительство новой жизни, к которой уже и мы были теперь причастны. Но главное состояло в том, что пост председателя Совнаркома теснейшим образом ассоциировался с Лениным, и потому Молотов, занимавший теперь этот пост, казался его прямым преемником.

Встретил меня главный помощник Молотова по Народному комиссариату иностранных дел Козырев. Он любезно предложил посидеть и скрылся за дверью, ведущей в соседнее помещение. Минут через пять он вернулся и сказал:

— Товарищ Молотов вас ждет…

Нетрудно представить, с каким трепетом открывал я дверь. Но Молотова в этом помещении не оказалось: то была комната охраны, что несколько сбило нервозность. Следующую дверь я открывал уже с меньшим волнением. Однако и тут, в большой зале, вдоль стены которой стояли длинный стол и ряды стульев, никого не было. В конце залы была приоткрыта дверь, и я направился к ней. Войдя в кабинет, я увидел за письменным

столом склонившегося над бумагами Молотова, очень знакомого по портретам: огромный сократовский лоб, поблескивающие стекла пенсне, усики над заячьей губой. Почему-то мне казалось, что именно так должен выглядеть ученый, даже мудрец. Управлять таким гигантским государством — а мы тогда верили, что его направляют по верному пути, руководствуясь марксистско-ленинским учением, — вести внутреннюю и внешнюю политику во враждебном капиталистическом окружении мог только один из лучших учеников Ленина, верный, непоколебимый соратник Сталина — корифея науки, всевидящего и всезнающего «вождя народов». Во все это мы уверовали, подверженные интенсивной пропагандистской обработке. И когда, незадолго до вызова к Молотову, меня принимали кандидатом в члены ВКП(б), я мог, не кривя душой, заявить, что рассматриваю как великую честь членство в партии Ленина — Сталина и хочу быть в первых рядах строителей коммунизма.

Наконец Молотов поднял голову, посмотрел на меня, прищурившись, и предложил сесть в кресло, стоявшее рядом со столом.

Последовали расспросы — где и когда родился, что окончил, где изучал иностранные языки, чем занимаются родители, каковы впечатления о Германии. А потом вдруг:

— А где и кем было сказано: «…наша обязанность, как коммунистов, всеми формами овладеть, научиться с максимальной быстротой дополнять одну форму другой, заменять одну другой, приспособлять свою тактику ко всякой такой смене, вызванной не нашим классом или не нашими усилиями»?

От неожиданности я поначалу растерялся, тем более что понимал: от правильного ответа зависит моя судьба. Молотов испытующе смотрел на меня, а мой мозг стремительно прокручивал вее, что я в последнее время читал из классиков. Цитата знакомая, она попадалась мне на глаза совсем недавно… Наконец вспомнил:

— Ленин. «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»…

— Правильно, — одобрительно кивнул Молотов.

Мне повезло. Выбери Молотов другую цитату, не знакомую мне, и я бы провалился. Почему же он остановился именно на этой? Возможно, тут имелась связь с недавним резким поворотом в отношениях с Германией? Ленинское высказывание было призвано оправдать эту смену тактики, навязанную нашей стране. А для меня это был просто счастливый случай.

Молотов, удовлетворенный моей «теоретической подкованностью», решил, наконец, объяснить, зачем я ему

понадобился.

— Мне говорил о вас Микоян. Он считает, что вы умело выполняете функции переводчика. Завтра наша правительственная делегация, которую мне поручено возглавить, выезжает в Берлин для важных переговоров с германским правительством. У вас есть некоторый опыт работы в Германии и общения с немцами. Согласны?

Не придумав ничего лучшего, я встал в стойку смирно и отчетливо произнес:

— Служу Советскому Союзу…

Молотов поднялся с кресла, протянул руку, слегка улыбнулся:

— Можете идти…

Так прошла моя первая встреча с Молотовым, в то время, бесспорно, вторым человеком в стране после Сталина.

На следующее утро я получил дипломатический загранпаспорт, а вечером специальный поезд с советской правительственной делегацией отправился от Белорусского вокзала Москвы в Берлин.

На переговорах в имперской канцелярии с германской стороны участвовали Гитлер и Риббентроп, а также два переводчика — Шмидт и Хильгер. С советской стороны — Молотов и Деканозов и тоже два переводчика — Павлов и автор этих строк. В первый день переговоров, после второй беседы с Гитлером, в имперской канцелярии был устроен прием. Молотов взял с собой Павлова, а мне поручил подготовить проект телеграммы в Москву. В то время не было магнитофонов, стенографистов на переговоры вообще не приглашали, и переводчику надо было по ходу беседы делать в свой блокнот пометки.

С расшифровки этих пометок я и начал работу, расположившись в кабинете, примыкавшем к спальне Молотова во дворце Бельвю, предназначенном для высокопоставленных гостей германского правительства. Провозившись довольно долго с этим делом, я вызвал машинистку из наркомовского секретариата, который в несколько сокращенном составе прибыл с нами в Берлин. Едва машинистка вставила в пишущую машинку лист бумаги, как дверь распахнулась и на пороге появился Молотов. Взглянув на нас, он вдруг рассвирепел:

— Вы что, н-н-ничего не соображаете? Сколько страниц в-в-вы уже продиктовали? — Он особенно сильно заикался, когда нервничал.

Еще не поняв причины его гнева, я поспешил ответить:

— Только собираюсь диктовать.

— Прекратите немедленно, — выкрикнул нарком. Потом подошел поближе, выдернул страницу, на которой не было ни одной строки, посмотрел на стопку лежавшей рядом чистой бумаги и продолжал уже более спокойно:

— Ваше счастье. Представляете, сколько ушей хотело бы услышать, о чем мы с Гитлером говорили с глазу на глаз?

Он обвел взглядом стены, потолок, задержался на огромной китайской вазе со свежесрезанными благоухающими розами. И я все понял. Тут в любом месте могли быть микрофоны с проводами, ведущими к английским, американским агентам или к тем немцам, которым также было бы интересно узнать, о чем Гитлер говорил с Молотовым. На спине у меня выступил холодный пот.

Мне снова повезло. Но я понял: нельзя полагаться только на удачу, надо самому иметь голову на плечах. Молотов, заметив мою растерянность, перешел на спокойный деловой тон:

— Берите ваши записи, идемте со мной…

Машинистка, сидевшая все это время как окаменевшая, стремительно шмыгнула из кабинета, а мы перешли в спальню. Сели рядом у небольшого столика.

— Я начну составлять телеграмму и передавать вам листки для сверки с вашим текстом. Если будут замечания, прямо вносите в листки или пишите мне записку. Работать будем молча. Понятно?

— Ясно, Вячеслав Михайлович, прошу прощения…

— Не теряйте времени…

Зная теперь о Молотове многое, чего мы раньше не знали, я недоумеваю, почему он оставил этот инцидент без последствий. Ведь при тогдашней всеобщей подозрительности он мог предположить, что я специально хотел громкой диктовкой передать кому-то столь секретную информацию. Но он, видимо, отнес это на счет моей неопытности.

На обратном пути в Москву Молотов пригласил меня в свой вагон-салон. С ним был Деканозов.

— Мы тут посоветовались, — начал Молотов, — и думаем, что после того, как вы присутствовали на важных переговорах с руководителями германского правительства, вам нет смысла возвращаться в Наркомвнешторг. Как вы смотрите на то, чтобы перейти на работу в Наркоминдел?

— Для меня это большая честь. Но справлюсь ли я, не имея специального образования?

— Это неважно, нам всем приходится заниматься разными делами. Я поговорю с Микояном по возвращении в Москву. Думаю, он не станет возражать. С немцами предстоят большие

дела. Возможно, вы понадобитесь и товарищу Сталину как переводчик. Я возьму вас к себе в секретариат, референтом по Германии…

Так началась моя дипломатическая служба.

В тот период — в 1939 и 1940 годах — в Наркоминдел пришло много новых работников. Дипломаты молотовского набора, ставшие известными в послевоенное время, такие как Громыко, Соболев, Зарубин, Гусев, Виноградов, Семенов, Малик, Новиков, Киселев, Чернышев, Смирнов и другие, — люди в основном с техническим, экономическим, реже с гуманитарным образованием, даже не мечтавшие о дипломатической карьере. Они пришли по райкомовским путевкам или, подобно мне, по случайному стечению обстоятельств и потому порой недоумевали, почему именно их судьба сложилась таким образом. В своих мемуарах Андрей Андреевич Громыко задается вопросом, каким образом он, будучи экономистом, попал в Наркоминдел, и находит возможное объяснение в том, что изредка выступал с лекциями на международные темы. Но дело совсем в другом: в Наркоминделе в конце 30-х годов была проведена не менее беспощадная чистка, чем в других советских учреждениях. Занималась этим сталинским поручением специальная комиссия в составе Молотова, Маленкова, Берии и Деканозова. Эта же четверка отбирала и утверждала новоиспеченных дипломатов, включая Громыко, хотя он в своих мемуарах вспомнил только Молотова и Маленкова.

Когда в 1940 году я пришел в Наркоминдел, там можно было пересчитать по пальцам тех, кто работал с Чичериным и Литвиновым. Все мы заняли еще теплые места недавно репрессированных дипломатов «ленинской школы». Меня приняли в Наркоминдел только двое из членов комиссии — Молотов и Деканозов. Видимо, Маленков этому не придал значения. Но Берия запомнил. И не потому ли у меня позднее возникли проблемы, связанные с ним?

В секретариате Молотова пришлось проработать недолго. В конце декабря меня назначили первым секретарем полпредства СССР в Германии, где я заменил Павлова, отозванного в Москву, в центральный аппарат Наркоминдела.

После начала Великой Отечественной войны я снова вернулся в Наркоминдел и через некоторое время был назначен помощником Молотова по советско-американским отношениям. На сей раз пригодился мой английский. Тогда-то я понадобился как переводчик и Сталину, но не на переговорах с немцами, как предполагал Молотов, а при встречах с американцами и англичанами.

Глава четвертая

Голод на Украине

Такое сочетание слов — голод на Украине — раньше казалось немыслимым. Богатейший край, располагающий плодородными землями, несметными природными богатствами, трудолюбивым народом, Украина, которая даже в годы гражданской войны и «военного коммунизма» хотя и скудно, но все же оказалась способной прокормить себя, страна, где с началом нэпа потребовался всего один урожай, чтобы накормить людей, и вдруг — голод! Да еще в мирное время!

Осенью 1929 года, когда мы вернулись в Киев из поездки на юг, никто не мог и подумать, что такое может случиться. Вокруг по-прежнему царило изобилие. На каждом углу — лотки с фруктами и овощами, магазины — частные и государственные — полны продуктов и товаров. На Крещатике прогуливаются разодетые пары, кинотеатры, рестораны, кафе, бильярдные по вечерам заполняет развлекающаяся публика. Правда, и здесь время от времени на улицах появляются «мешочники» беглецы из деревень, где достигнуты особые «успехи» в коллективизации. Но их считают раскулаченными деревенскими богатеями, наказанными за противодействие властям. А появившаяся в газетах статья Сталина «Головокружение от успехов» создает впечатление, что эксцессы на селе, о которых ходят слухи, дело рук не в меру ретивых функционеров. Теперь, после того как их одернул сам Генеральный секретарь, они поумерят свой пыл и все образуется. Город жил своей жизнью, не подозревая, что скоро на него, как и на всю страну, обрушится страшная беда…

Наш седьмой класс пополнился несколькими новыми учениками. Их семьи переехали в Советский Союз из Германии, где нарастала угроза захвата власти нацистами. В декабре в Харькове созывается общеукраинский пионерский слет, участвовать в котором пригласили и нашу школу. Геноссе Пауль, наш пионервожатый, решил выдать свою группу за германских пионеров. Впрочем, возможно, он действовал по подсказке киевского комитета комсомола. Тогда подобные мистификации широко практиковались. Например, на каждой крупной конференции неизменно выступали «посланцы Кантонской коммуны». Их представляли как только что прибывших из Китая, хотя они давно жили в России. Кантонская коммуна была тогда у всех на устах, и каждый хотел иметь китайца в президиуме. Что касается нас, то в какой-то мере идея Пауля соответствовала действительности. Новички и в самом деле были германскими пионерами. Они совсем недавно приехали к нам и даже привезли

свое знамя. Да и сам Пауль был настоящим саксонцем. Ну а мы, хоть и не немцы, вполне могли за них сойти. Пауль строго наказал нам во время поездки делать вид, будто мы не понимаем по-русски, и объясняться только на немецком.

О том, что в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, направляется делегация германских пионеров, заранее оповестили по всему маршруту. Мы ехали поездом, занимая отдельный вагон. На станциях по пути следования нас встречали местные пионеры и комсомольцы с оркестрами, знаменами, цветами. На перроне проводились летучие митинги с нашими короткими речами на немецком языке. Потом, как принято говорить в таких случаях, «завязывались дружеские беседы», которые сводились к тому, что мы на все вопросы потрясали сжатым кулаком и выкрикивали: «Рот фронт, товарищ!»

Сперва я чувствовал себя неловко, разыгрывая эту комедию. Но постепенно вошел во вкус и даже на многолюдном митинге в Харькове произнес пламенную антинацистскую речь, сорвав бурные аплодисменты.

Нас по двое разместили на квартирах харьковских пионеров, и вечером, когда вся семья собиралась вокруг самовара, наступало самое трудное испытание. Приходили соседские дети посмотреть на «зарубежных пионеров». Не зная немецкого, они сопровождали беседу жестикуляцией, стараясь объяснить, о чем идет речь. Мы же, отлично их понимая, должны были делать вид, будто до нас ничего не дошло. Мы с трудом сдерживали готовые вырваться русские слова. Хорошо, что у нас с моим другом Зюнькой оказалась отдельная спальня. Мы очень боялись заговорить во сне. Для нас это была игра, и мы, оставаясь одни, потешались над тем, как дурачили всех вокруг.

Но позднее, поразмыслив, я пришел к выводу, что геноссе Пауль и другие наши наставники сыграли с нами скверную шутку: по сути, они учили нас врать, притворяться, лицемерить. Ничего забавного в этом не было. Но, возможно, такой своеобразный опыт подготовил нас к ожидавшему всю страну будущему, когда пришлось говорить одно, а думать другое.

Отец часто ездил в командировки в Харьков и привозил оттуда гостинцы, красиво оформленные книги, что-нибудь из одежды. В свободное утро перед отъездом я тоже решил купить для дома какой-либо сувенир. Зашел в один магазин, другой, третий. Повсюду полки были пусты. Я не мог понять, что происходит. В Киеве всего было полным-полно. А тут, в столице, хоть шаром покати. Решил пообедать в ресторане — там тоже, кроме яичницы, все строчки в меню оказались вычеркнутыми.

Ночным поездом мы вернулись в Киев. Дома я рассказал о

том, что происходит в Харькове, и получил от мамы ответ:

— Пока ты ездил, у нас тоже все исчезло. Куда подевалось, ума не приложу…

Мы еще не знали, что происходит «великий перелом» и началась эпоха сплошной коллективизации. Как ножом отрезало короткую нэповскую передышку. Курс на «ликвидацию кулака как класса», а фактически на уничтожение всех индивидуальных хозяйств взбудоражил население. Начались панические закупки всего, что попадало под руку. Власти со своей стороны блокировали снабжение. В итоге за несколько дней рынок оказался опустошенным. Дело усугубилось тем, что началось массовое закрытие частных предприятий, ликвидировались кустарные мастерские, булочные, кафе.

Чтобы «стабилизировать» положение, Сталин принялся закручивать гайки. Вводилась паспортная система, продукты стали выдавать только по карточкам, одежда — по специальным талонам. Отец как технический директор завода получил «рабочую» карточку, мы с мамой — «иждивенческие». Но то, что выдавалось, означало жизнь впроголодь. Вскоре открылись «торгсины» — торговля с иностранцами. На деле то была попытка выкачать у населения сохранившиеся драгоценности. У людей не было выбора — либо голодать, либо отдать государству в обмен на масло, сгущенное молоко, белый хлеб все, что уцелело в годы гражданской войны или было приобретено в период нэпа. Мама отнесла в «Торгсин» последнюю память о своих бабушке и дедушке, а заодно и несколько царских золотых десяток, которые отец купил за червонцы для зубных коронок. Снова, как в гражданскую войну, наступал голод.

Пишу это и думаю: прошло шестьдесят лет после провозглашения великого плана построения социализма и коммунизма. И что же? Никак не ожидал, что снова увижу свою страну посаженной на карточки. На восьмом десятке советской власти «наши люди часами стояли в очередях, чтобы купить скудные низкокачественные продукты и самые элементарные товары. Огромная административная машина годами не могла решить проблему мыла. А ведь когда такая же проблема возникла при «военном коммунизме», мой отец за неделю научился сам его варить и решил эту проблему в масштабе деревни, где мы нашли убежище. Москва держалась дольше всех, но весной 1990 года и ей, после шести лет перестройки, пришлось, по существу, ввести карточную систему. Вот плачевный итог более чем семидесятилетнего изнурительного труда, неимоверных страданий и многомиллионных жертв народов нашей страны!..

В конце мая наш класс сдал выпускные экзамены, а в

сентябре 1930 года я должен был начинать работу на заводе «Большевик». Мои детские увлечения в цехах этого завода дали мне некоторые производственные навыки. Меня зачислили младшим электромонтером с окладом 40 рублей в месяц и с «рабочей» хлебной карточкой.

На «Большевике» отнеслись ко мне приветливо. Многие знали моего отца, а кое-кто помнил и мальчика, его сына, проводившего целые дни в модельном и литейном цехах. Завод реконструировался. Трансмиссии, приводные ремни и шкивы заменялись электромоторами. Новые американские станки с надписью «Цинциннати» имели встроенные двигатели. Но на предприятии своими силами модернизировались и старые агрегаты. Был создан специальный цех, где изготовлялись генераторы и моторы. Катушки мотали в основном женщины, мужчины собирали и устанавливали двигатели, а мне поручили изготовлять щетки для коллекторов. Из большого куска спрессованного графита надо было выпилить ножовкой кубики по заданному размеру. Потом, путем гальванизации, нарастить на одном конце медный слой и прикрепить клеммы для проводов. Работа мне нравилась, но к концу смены меня покрывала графитовая пыль, делая похожим на негра. Как я ни старался отмыться, графит въедался в брови и ресницы. Дома меня прозвали трубочистом.

Чтобы попасть к семи на работу, приходилось вставать в четыре утра. С началом пятилетки транспорт, как, впрочем, и все городское хозяйство, разладился. Трамваи ходили нерегулярно, и в вагон не всегда удавалось протиснуться. Люди висели на ступеньках, на заднем буфере. Словом, на трамвай было мало надежды. Большей частью я шел пешком, а расстояние от нашего дома километров семь.

Летом, когда рано светало, было полегче. Но зимой, в темноте, тащиться по заснеженным улицам ох как не хотелось! Особенно тяжело вспоминать зиму 1931/32 года. Костлявая рука голода душила уже и горожан. В Киев стекались все новые толпы беженцев. Их время от времени куда-то вывозили, но скоро снова появлялись группки изможденных крестьян — мужчины, женщины, дети, старики. Обмотанные рваным тряпьем, уже исходившие Украину вдоль и поперек, они искали последнего прибежища в некогда богатом и хлебосольном городе. Теперь им тут никто не мог помочь. Чтобы скоротать путь, я спускался от оживленной когда-то, но теперь мрачной Лютеранской улицы, переименованной в улицу Энгельса, по крутой тропинке прямо к Бессарабскому рынку. Он был заколочен, поскольку никаких продуктов никто не привозил. Но вокруг рынка всегда ютились

скитальцы. Никогда не забуду, как мне приходилось переступать через замерзшие и припорошенные снегом трупы этих несчастных. К утру их убирала милиция. Но в ранние часы, когда я шел на завод, эти скорбные холмики из закоченевших человеческих тел и тряпья вселяли ужас…

Продолжая работать на «Большевике», поступил на вечерние курсы иностранных языков, в английскую и немецкую группы. Знания я уже имел достаточно хорошие, но хотел усовершенствовать их, а главное, получить диплом, дававший право работать переводчиком. Курсы были трехгодичные. Я же сдал выпускные экзамены, не прозанимавшись и двух лет. Спешил потому, что готовился к поступлению в Киевский политехнический институт. Мечтал подобно отцу стать инженером. Пришлось, однако, пойти на вечернее отделение. Нельзя было бросать завод из-за «рабочей» хлебной карточки и трудного положения семьи. Ведь моя зарплата составляла к тому времени уже 100 рублей. Это кое-что значило.

И все же жить было очень тяжело. В «Торгсин» нести было нечего. Любые деньги не спасали. Продукты попросту отсутствовали. Отец и мать страшно исхудали, а я вообще превратился в скелет. Уже был на втором курсе института, когда случайно встретил своего школьного товарища. Он сказал, что недавно открывшееся в Киеве отделение «Интуриста» приглашает на курсы гидов-переводчиков юношей и девушек, знающих иностранные языки. Условия заманчивые: 150 рублей оклад, но главное — бесплатное питание вместе с туристскими группами, да еще и приличный паек. Я сразу же ухватился за это приглашение. Только начинался 1934 год, третий год страшного голода на Украине. Ничего хорошего жизнь не сулила. Конечно, невозможно было совместить работу на заводе, учебу в институте и интуристовские курсы. Поразмыслив и посоветовавшись дома, пошел на риск: подал заявление об уходе с работы.

Впрочем, риск был не такой уж большой. Имея диплом переводчика и владея двумя иностранными языками, я не сомневался, что буду зачислен. Это и произошло после краткого собеседования в приемной комиссии. Занятия были рассчитаны на три месяца. Нам преподавали историю Киева, знакомили с достопримечательностями города и окрестностей, с основами советского трудового законодательства и юридической системы, теории марксизма-ленинизма, разумеется. Профессиональные экскурсоводы делились практическим опытом. Курсы много дали мне в смысле общего развития и знакомства с древними памятниками архитектуры, живописи и культуры Киевской Руси. Вместе с тем они, как и двухгодичная работа в «Интуристе»,

помогли в какой-то мере избавиться от природной застенчивости и скованности. Имели значение и специальные политические инструктажи, рекомендовавшие приемы, какими можно создать у заморских гостей благоприятное представление о «советском образе жизни». Скажу откровенно: кое-что из этого мне в дальнейшем пригодилось в дискуссиях, в том числе и «научных», когда все мы специализировались на том, чтобы выдавать черное за белое…

К весне, когда ожидались первые интуристы, мы встретили их во всеоружии.

В 1934 году, впервые после Октябрьской революции, Советский Союз широко открыл свои границы для иностранных туристов. Жизнь, особенно на Украине, все еще оставалась очень тяжелой. Тем с большей тщательностью готовились власти к приему иностранцев. Надо признать: была действительно проделана огромная работа. Обучение гидов являлось лишь ее небольшой, хотя и важной частью. Проводился капитальный ремонт лучших гостиниц и ресторанов, уцелевших с царских времен. Запасали высококачественное столовое и постельное белье, посуду, переоборудовали кухни, завозили холодильные установки. В США и Италии закупили легковые автомобили и открытые автобусы с брезентовым верхом на случай дождя. Заполняли импортными товарами красиво оформленные гостиничные киоски. Не забыли и о том, чтобы пригласить на работу продавцами наиболее привлекательных девушек. Отделы обслуживания при гостиницах оборудовали специально закупленной за рубежом конторской мебелью и украшали картинами, красочными панно и рекламными плакатами. В холлах лежали дорогие ковры и была расставлена старинная мебель.

И все это делалось в голодный год! Типичные сталинско-потемкинские деревни. Сталин любил и умел пускать иностранцам пыль в глаза. Недаром ему удалось обворожить, казалось бы, проницательных, критически мыслящих всемирно известных писателей и мыслителей. Барбюс, например, прославился крылатой фразой: «Сталин — это Ленин сегодня». Умел «вождь народов» и накапливать достаточно средств, чтобы обхаживать тех, кого хотел привлечь на свою сторону. Вообще тогда преобладало мнение, что Сталин — рачительный хозяин, не допускающий расточительства, требующий от всех строгой финансовой дисциплины. Надеясь на лучшее будущее, люди верили, что он приумножает богатства страны для блага народа. Однако у Сталина было своеобразное представление о «богатстве страны». В его понимании оно не имело никакого отношения к

тому, как жил народ. Люди могли быть нищими, лишь бы государство становилось богатым! Вот и интуристы, под бдительным присмотром гидов, видели только «процветающее государство», которое им и старались продемонстрировать. В итоге они уезжали из страны, не получив ни малейшего представления о действительных условиях жизни в Советском Союзе…

В Киеве «Интурист» располагал, роскошным отелем «Континенталь» на Николаевской улице, у самого Крещатика (во время войны гостиница сгорела, и на ее месте возведено здание консерватории). Были приглашены квалифицированные старорежимные повара, официанты, швейцары, которым сшили специальную форму с золотистыми галунами и лампасами. В костюмы спортивного покроя одели и шоферов сверкающих «линкольнов» и «фиатов». На Днепре интуристов ждала белоснежная моторная яхта с баром, заполненным всевозможными напитками. В довершение ко всему поездка в то время в Советский Союз обходилась очень дешево. За 100 долларов на протяжении недели можно было побывать в Киеве, Москве, Ленинграде, имея полный пансион и обслуживание. Правда, и доллар был тогда «тяжелее». Но все же многие туристы уезжали в полной уверенности, что СССР — самая дешевая страна в мире. Именно тогда и у наших внешнеторговых чиновников сформировалось представление, что рубль ничего не стоит и что ради валюты «выгодно» транжирить природные и человеческие ресурсы.

Показательный колхоз

Вспоминая о том периоде, не могу не поражаться, с каким цинизмом разоренное сельское хозяйство преподносилось интуристам как процветающее. Расскажу о первом моем знакомстве с «образцово-показательным» колхозом.

В Киев приехала богатая американская пара. Они оплатили тур по первой категории, и им полагались отдельная машина и гид. Такие состоятельные туристы нам особенно нравились. Хлопот было гораздо меньше, чем с большой группой, к тому же переводчик получал такое же, как и у его подопечных, питание, а при поездке по стране — место в спальном «международном» вагоне и номер в лучших гостиницах. Меня только что приняли в «Интурист», и я стажировался у имевшей уже некоторый опыт переводчицы — Клары. Нам с ней и поручили обслуживать американскую пару.

Клара мне нравилась. Невысокого роста, но очень изящная, она напоминала фарфоровую статуэтку. Она выглядела совсем девочкой, хотя была старше меня года на три, и, выполняя роль наставницы, поначалу держалась строго.

Уже в первый день американцы выразили пожелание посетить колхоз. Клара поручила мне сообщить об этом заведующему отделом обслуживания Файнбергу, который выяснил, в какое именно хозяйство мы можем поехать. В списке у него имелось всего три колхоза, в которые возили иностранцев. Но всякий раз следовало заранее предупреждать председателя правления по телефону, что из-за плохой связи иногда требовало полного дня. К вечеру все удалось уладить. Предупредил я о предстоящей экскурсии и моего приятеля — Степана, водителя «линкольна», закрепленного за нашей парой.

Занимаясь на курсах гидов-переводчиков, я некоторое время подрабатывал в интуристовском гараже, куда поступил подсобным рабочим. Мыл машины, заливал масло и воду в радиатор, следил за тем, чтобы перед выездом на линию в баках было достаточно бензина. Тогда в Киеве бензоколонок не существовало. Вместе со Степаном — он был самый молодой из шоферов — мы раз в неделю брали грузовик и отправлялись на нефтебазу, расположенную близ товарной станции города. Заливали несколько бочек бензином, закатывали их в кузов и возвращались в гараж, где этот запас горючего хранился на отгороженной площадке. Бочки ставили на возвышения так, чтобы, подъехав к ним, можно было перелить бензин в бак машины. Для этого следовало отвинтить пробку бочки, вставить в

нее шланг и с другого конца высосать ртом воздух. Дальше все шло автоматически по принципу сообщающихся сосудов. Но порой засасывался в рот бензин, и приходилось долго отплевываться.

Мы подружились со Степаном. Ему было лет двадцать пять, но он относился ко мне, как к сверстнику. Научил водить машину и, когда мы оставались одни, давал баранку «линкольна». В свободные вечера мы нередко, пригласив девочек, отправлялись прокатиться за город.

Утром с туристской парой поехали осматривать Лаврский заповедник, а после обеда отправились в колхоз. Заокеанские гости оказались людьми сведущими в сельском хозяйстве. Будучи членом правления одного из американских банков, Билл (он сразу же предложил, чтобы мы обращались к нему и его жене — Сузи — по имени) владел крупной молочной фермой под Нью-Йорком. Он начитался сообщений об ужасах коллективизации и рассчитывал найти наглядное подтверждение преимуществ индивидуальных фермерских хозяйств.

Но не тут-то было. Ведь колхоз, в который мы его везли, не зря являлся «образцово-показательным». Осмотрев центральную усадьбу, побеседовав с председателем в его просторном кабинете и зайдя в два дома колхозников, вполне по тем временам благоустроенных, отправились на скотоводческую ферму, расположенную в нескольких километрах. «Линкольн» не без сложностей, поскольку Степану приходилось все время притормаживать, доставил нас по ухабистой узкой дороге к месту назначения. Здесь тоже был полный порядок. В выметенных к приезду гостей коровниках в ряд стояли племенные бычки, то и дело опускавшие головы в наполненные кормушки. Выглядели они вполне упитанными. Потом осмотрели свиноферму. Неповоротливых свиноматок окружали шаловливые поросята.

Билл, явно пораженный всем увиденным, задавал много профессиональных вопросов, интересовался породами скота, надоями молока, потенцией племенных бычков. Для меня все это было неплохой практикой. И хотя я знал, как обстоят дела в обычных, а не показных хозяйствах, все же состояние этой фермы как будто говорило о том, что вот ведь можно в колхозе так поставить дело, чтобы он стал рентабельным.

Пресса ежедневно сообщала о «сказочных мичуринских яблоках», о выведенной советскими селекционерами «чудо-пшенице», о фантастических надоях молока от «коров-рекордсменок». И мы верили, что пройдет пятилетка, вторая — и наша страна превратится в богатейшую в мире державу, а ее граждане станут счастливейшим народом. Пока же лучше

показать интуристам не плачевное настоящее, а лучезарное будущее. И я не испытывал угрызений совести за обман этой симпатичной пары. У нас и теперь так принято. Хозяйка, чертыхаясь, часами выстаивая в очереди, достает самое необходимое. Но то, что получше, особенно если попадется икра или крабы, держит про запас, не позволяя домашним прикасаться. А когда случится принять иностранного гостя, все это выкладывает на стол. И гость, лакомясь деликатесами, думает: а все-таки русские живут не так уж плохо и сообщения о трудностях явно преувеличены!

На Билла увиденное тоже произвело впечатление. Прощаясь с заведующим животноводческой фермы, он взволнованно произнес:

— Никак не рассчитывал увидеть у вас такое! То, что мы читаем в наших газетах, вранье. Теперь я верю, что коллективный труд не хуже, а может быть, и лучше индивидуального. Нам у вас будет чему поучиться. Желаю вам успехов!

Потом, немного помолчав, спросил:

— Но скажите, ваша ферма — это не исключение? В других колхозах тоже так разумно ведутся дела? — Видимо, у Билла закралось подозрение, не дурачат ли его.

— Конечно, конечно, — заверил американца заведующий, хотя отлично знал, что в большинстве других хозяйств коров, неспособных из-за нехватки кормов и истощения стоять на ногах, подвязывают веревками.

— Это поразительное достижение, — успокоился доверчивый Билл.

Осмотр колхоза затянулся, а тем временем резко похолодало. Была ранняя весна, и погода стояла переменчивая. Поднялся ветер, пошел мелкий дождик. Клара торопила американцев, но они никак не хотели уезжать. Наконец тронулись в путь и вскоре убедились, что земляная дорога, развороченная тракторами, стала непроезжей. В колдобинах образовались лужи, тяжелую машину водило из стороны в сторону. Степан решил съехать с дороги и через поле, напрямик, добраться до шоссе. Он совершил непростительную ошибку. Преодолев километра два, машина завязла в мягком сыром грунте. Попытки сдвинуть «линкольн» с места привели лишь к тому, что колеса все глубже уходили в черную жижу.

Билл вышел из машины и, оценив ситуацию, спокойно сказал:

— Безнадежно. Мы застряли надолго. Единственная надежда на русский мороз, — и рассмеялся своей шутке, обнажив ровный ряд зубов.

Ничего смешного в этом, конечно, не было. Морозы придут

только осенью, и рассчитывать на них нам не приходилось. Мы трое — Степан, Клара и я — серьезно встревожились. Но американцы были совершенно спокойны.

— Выход в том, — принялся рассуждать Билл, — чтобы строить надежные дороги с твердым покрытием. Так мы делаем в Америке. Пожалуй, это единственное, чего вам недостает…

Нам, конечно, недоставало, да и сейчас недостает, не только надежных дорог, но и многого другого. Но Билл, очарованный животноводческой фермой, этого не подозревал.

Мы стали совещаться. Вокруг не было ни камней, ни хвороста, чтобы подложить под колеса. Начало темнеть. Резкий северный ветер усилился. Пожалуй, разумнее всего было бы заночевать в машине. Но ведь в Киеве поднимется страшный переполох. Пропала американская пара! Их надо обязательно доставить в гостиницу. Женщины к тому же легко одеты. Им необходимо хотя бы добраться до жилья, а если попадется попутная машина, то на ней и уехать в город.

В конце концов решили, что Клара пойдет с американцами, а мы со Степаном проведем ночь в машине, уповая на то, что утро вечера мудренее.

Три фигуры все дальше уходили в сторону горизонта и вскоре растворились в темноте. Мы со Степаном еще раз обошли «линкольн», ставший таким беспомощным среди размокшего поля. Степан завел двигатель и попытался сдвинуть машину с места. Напрасный труд! Лучше не тратить зря бензин и примириться с тем, что придется потерпеть до рассвета. Забрались в кабину, закурили. Время тянулось медленно. Тревожила мысль, благополучно ли добралась Клара с американцами до шоссе, попалась ли попутная машина.

Только я задремал, как раздался стук в окно. Опустил стекло и увидел Билла. Неужели какая-то неприятность?

— Что случилось? Билл рассмеялся:

— Не волнуйтесь, все о кей! Я посадил их в машину, шедшую в Киек А сам решил вернуться к вам. Посмотреть, как вы отсюда выберетесь.

Мне стоило труда сдержать раздражение от легкомыслия американца:

— Вам не следовало этого делать. Лучше бы поехали в город. И как вообще вы могли оставить женщин одних?

— А что тут такого? У нас в Америке женщины самостоятельные и могут постоять за себя. Разве у вас не так? Там хорошие ребята. Они обещали довезти Сузи и Клару до гостиницы…

— Конечно, у нас тоже женщины самостоятельные. Но всякое

бывает. Что ж с вами теперь делать? Залезайте в машину…

Беспокойство меня не покидало. Еще свежа была память о скрывавшихся в лесах «раскулаченных». Голодные и отчаявшиеся, они, случалось, по ночам нападали на одиноких путников, а то и останавливали автомашины, отбирали деньги и продукты. Бывали и случаи с трагическим исходом. Теперь стало поспокойнее. Почти всех «лесных братьев» выловили. Но, может, кто и остался? Да и местные жители могут по ночам пошаливать. Даже в Киеве случаются ограбления. Как-то, правда, это произошло уже пару лет назад, на нас с матерью и отцом было совершено нападение. Причем в самом центре города. На углу Владимирской и Фундуклеевской улиц долгое время оставались развалины занимавшего целый квартал здания, сгоревшего в годы гражданской войны (его потом восстановили, и там разместилась украинская Академия наук).

Поздним осенним вечером мы с родителями, возвращаясь из гостей, спускались к Крещатику мимо этих развалин. Вокруг — ни души. Вдруг из-за кучи щебня выскочили двое с пистолетами.

— Руки вверх, — раздался хриплый возглас.

Мы застыли, подчиняясь приказу. Один из грабителей остановился в нескольких шагах, направляя на нас наган. Другой приблизился к маме.

— Руки! — скомандовал он.

Она протянула обе руки с кольцами на пальцах. Одно обручальное, другое с большим рубином и еще одно с золотым лепестком, усыпанным мелкими бриллиантиками.

— Снимите…

Налетчик указал дулом на золотую цепочку, затем на серьги. Мама послушно сняла их и положила грабителю на ладонь. Отправив драгоценности в карман, грабитель повернулся к отцу, все еще державшему руки вверх. Это и спасло его старинный сафьяновый бумажник с документами и деньгами. Расстегнутый пиджак под плащом как бы подался назад, и когда бандит ощупывал грудь, то ничего не обнаружил. В кармане плаща лежало несколько купюр, что его и удовлетворило. Пятясь и по-прежнему направляя на нас пистолеты, они стали отходить к развалинам. Внезапно мама, к которой вернулось ее прирожденное самообладание, выкрикнула:

— Гражданин, прошу вас, верните только два кольца. Обручальное и то, что с рубином. Это память о бабушке. Оно мне очень дорого…

И пошла к ним прямо на дула наганов. Не успели мы с отцом окликнуть ее, как случилось невероятное. Тот, что брал драгоценности, опустил пистолет. Сунул руку в карман и,

вытащив пригоршню колец, цепочек, браслетов, протянул открытую ладонь.

— За смелость возьмите, мадам. Какие ваши?.. Мама подошла к нему вплотную и двумя пальцами выудила из кучи золотых вещей свои кольца.

— Спасибо, — спокойно сказала она и вернулась к нам.

Я не верил глазам своим. Бандит — и вдруг проявил благородство…

— Теперь не двигайтесь с места десять минут, — прозвучал тот же хриплый голос, и грабители скрылись в развалинах.

Отец укорял маму за безумный поступок, но она, поглаживая кольца, возвращенные таким чудесным образом, его не слышала.

Этот эпизод я вспоминал всякий раз, когда со мной происходили подобные истории. А было их немало. Попадал я и под дула бандитских пистолетов. Последний случай произошел совсем недавно, в начале 80-х, причем не где-либо в темном переулке или в старых развалинах, а в самом центре Вашингтона, напротив Белого дома, в фешенебельном отеле «Хэй Адаме» на 16-й улице.

Я работал тогда в советском посольстве в Соединенных Штатах, представляя Институт США и Канады Академии наук СССР. Директор нашего института академик Арбатов, приезжая в Вашингтон, обычно останавливался в «Хэй Адамсе». Как-то мы с ним провели вечер за городом в доме конгрессмена Соларза. Вернулись около полуночи. Обычно я доставлял гостя, которого опекал, к подъезду отеля и, распрощавшись, отправлялся домой. Но на сей раз Арбатов пригласил зайти к нему в номер:

— Что-то не хочется спать. У меня сохранилась бутылка армянского. Посидим, поговорим, если не очень устал…

Я охотно согласился.

Спустя час мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я вышел в пустынный коридор, нажал кнопку лифта. Когда кабина остановилась и дверь открылась, передо мной предстала странная сцена. Четверо чернокожих юношей в весьма потертой одежде, никак не вязавшейся с богатым убранством холла, застыли в разных его концах. Ночной портье неестественно пригнулся у стойки. Сперва я подумал, что произошла какая-то авария и вызвана ремонтная бригада. Но почему они в таком напряжении и как-то странно на меня смотрят?

— Хэлло, ребята, что здесь происходит? — обратился я ко всем сразу, направляясь к выходу.

Никто не ответил, но один из негров подскочил ко мне. Тут я увидел зажатый в его ладони пистолет. Совсем маленький. Дуло едва заметно. В сознании промелькнуло: пресса недавно

сообщала о таких «игрушках»: под видом детских конструкторов их в разобранном виде какие-то дельцы завозят из Германии, а в США собирают и продают по дешевке. Оружие — смертельное. Им и пользуются в американских трущобах: стоит гроши и легко спрятать…

Черный парень, держа пистолет в левой руке, правой стал обшаривать меня. Хотел удостовериться, нет ли оружия. Известно, что многие американцы с ним не расстаются. У меня, разумеется, его не оказалось. Но в заднем кармане брюк находился бумажник. Грабитель вытащил его и стал медленно отходить, направляя на меня дуло.

— Бери деньги, — предложил я, — но бумажник отдай. Там документы…

Не хотелось лишаться шоферских прав, кредитной карточки на бензин, госдеповского дипломатического удостоверения. Без них, как без рук. А сколько завтра времени уйдет на получение дубликатов!..

Мысль о том, что для меня «завтра» может не быть, как-то не пришла мне в голову. Я громко требовал возвращения документов. Но негр как бы* ничего не слышал. Все другие тоже стояли молча. Не находятся ли они под воздействием наркотиков, подумалось мне. У них какая-то замедленная реакция. Не заботясь о возможных последствиях, я приблизился к грабителю и выхватил бумажник. Он опешил — не ждал от меня такого безрассудства. Но в следующее мгновение размахнулся и ударил меня рукояткой пистолета по голове. Я все же успел раскрыть бумажник и показать зеленые банкноты — там было немногим более двухсот долларов.

— Бери деньги, — протянул я раскрытый бумажник. Он схватил всю пачку, а я, довольный столь успешно проделанной операцией, вернул бумажник в карман. Негр скомандовал:

— Ложись на пол лицом вниз!

Отойдя в сторону, я увидел, что между диваном и креслом лежат, лицом к ковру, двое в форме швейцаров отеля. Мне показалось недостойной такая поза. Я просто опустился на колени, положив голову на подлокотник кресла. И только тут почувствовал, что по щеке струится кровь. Видимо, оказался рассеченным какой-то сосуд. Кровотечение усиливалось. На рубашке и на кресле появились красные потеки.

Поглядывая искоса в сторону стойки, увидел, что двое грабителей пытаются взломать сейф. Кровь залила глаз, и я хотел протереть его носовым платком. Стоявший рядом парень сразу же нервно прореагировал, подошел ближе и заметил у меня на руке часы. Держа пистолет у моего виска, принялся открывать

металлический браслет. К счастью, защелка очень тугая, и ему никак не удавалось снять часы. В этот момент со скрежетом сорвалась с петель дверца сейфа. Негр, отскочив от меня, подбежал к стойке. Воспользовавшись этим, я быстро снял часы и спрятал в карман. Мне они дороги как память, терять их не хотелось. Но тут был и риск. Вернувшись, черный парень нашел меня в той же позе, но уже без часов. Зло поморщился. Я ждал нового удара. Но он, хлопнув себя по карману куртки, где что-то звякнуло, отошел в сторонку. Видимо, решил, что сам успел их снять и бросить в карман.

Что же дальше, размышлял я. Известны случаи, когда грабители, перед тем как скрыться, пристреливали потенциальных свидетелей. Потому и заставляли ложиться лицом вниз. Так проще пустить пулю в затылок. Если они такое проделают с нами, то о будущем беспокоиться бессмысленно. А если нет? Тут я стал прикидывать, как могут развернуться события. Несомненно, газеты распишут нападение на «Хэй Адаме». Во всех подробностях расскажут и проиллюстрируют фотоснимками. Воображение уже рисовало мое окровавленное лицо на газетной полосе и подпись: «Ранен советский дипломат». Этого только не хватало. И так отношения с США у нас достаточно скверные, а тут нападение на дипломата. Может, еще приплетут и версию о «неудавшемся покушении» на академика Арбатова, члена ЦК КПСС, депутата, деятеля, близкого к… и так далее. Чего доброго, получится нечто вроде выстрела в Сараево…

У меня не было ни малейшего сомнения, что произошло случайное совпадение. Грабили кассу отеля, а я, как на зло, вышел из лифта именно в этот момент. Раздался выкрик:

— Не двигайтесь пятнадцать минут. Если кто шевельнется — пристрелим. Мы будем наблюдать…

Захватив содержимое сейфа, один за другим, спиной к двери, держа наготове пистолеты, четверка покинула гостиницу. Все вздохнули с облегчением. Нам крупно повезло. Грабители решили не делать излишнего шума. Все-таки поблизости Белый дом. Прошло пять, десять минут. Все тихо. Я поинтересовался:

— Не пора ли вызвать полицию?

— Что вы! — послышался шепот. — Не шевелитесь. Еще не время…

Немного переждав, мы поднялись на ноги. Портье набрал номер. Буквально через пару минут послышался сигнал полицейской сирены, визг тормозов. За окном засверкали вспышки фотоаппарата. Криминальный репортер спешил запечатлеть вход в отель. У меня оставались считанные секунды. Пока ночной портье и швейцары теснились у двери, я незаметно

подошел к лифту, нажал кнопку. Дверь открылась и сразу же бесшумно закрылась за моей спиной. Через мгновение я вышел на пятом этаже. Подойдя к номеру Арбатова, позвонил.

— Кто там?

— Это я, Юра, открой, пожалуйста, тут одно дело… з Дверь немного приоткрылась. Ее удерживали две цепочки. Арбатов смотрел на меня и не узнавал. Немудрено: лицо в запекшейся крови, рубашка и светлый пиджак — в бурых пятнах.

— Это действительно я…

— Какой ужас! Что случилось?

— Сейчас все расскажу…

В двух словах я изложил происшедшее, сказал, что решил избежать встречи с полицией в таком виде. Потом пошел в ванную, умылся, простирнул рубашку, смыл потеки с пиджака. Все это мы развесили сушиться на торшерах. Арбатов никак не мог примириться с тем, что такое возможно в самом центре американской столицы. Минут через сорок я выглянул в окно, увидел, что полицейские покидают отель. Только на противоположной стороне улицы осталась патрульная машина. Рана больше не кровоточила. Высохла и одежда. Мы договорились о программе следующего дня и распрощались. Спустившись в холл, я как ни в чем не бывало вышел на улицу. Портье, беседовавший с репортером, не обратил на меня внимания. Моя машина стояла рядом, и через двадцать минут я был дома.

Хотя я и привел себя в порядок, Лера, моя жена, сразу поняла: что-то стряслось. Пришлось рассказать. Привыкшая к тому, что со мной периодически происходят всякие передряги, она успокоилась, промыла ранку, наложила пластырь.

Утром, в 8 часов, я уже подъехал к отелю, и мы с Арбатовым отправились на рабочий завтрак в Капитолий. По телевидению и в «Вашингтон пост» скупо сообщили об ограблении отеля «Хэй Адаме» и о том, что «никто не пострадал»…

Но вернемся в далекий 1934 год.

Мы решили не объяснять Биллу причину нашей тревоги за женщин, легкомысленно отправленных им в чужой машине. Уже ничего нельзя было изменить. Стали устраиваться на ночь. Опустили шторки, прикрыли ковриками переднее и заднее стекла. Мы с Биллом расположились на заднем сиденье, Степан — впереди. Сколько мне удалось поспать — не знаю. Чуть приоткрыл шторку, вокруг полная темнота. Дождь прекратился, немного подморозило. Я тронул за плечо Степана:

— Надо, пожалуй, включить двигатель и печку… Не успел он это сделать, как послышались голоса. Я перегнулся к Степану:

— Сюда идут. Давай тихо сидеть. Пусть подумают, что никого нет.

Шевельнулся Билл. Я предостерег его:

— Прошу вас, молчите…

Он понимающе пожал мне руку. Мы легли на сиденья. Голоса приблизились. Разговаривали двое. Вдруг все стихло, а затем послышалось:

— Посмотри-ка, что тут!

— Откуда оно здесь взялось?

— Видать, загрузло…

По обе стороны, совсем рядом, осторожные шаги. Слышалось их тяжелое дыхание. Мы затаились, стараясь не шелохнуться. Вдруг — удар. Стукнули ломом, а может, обрезом? Тогда дело худо. Стали дергать за ручку передней дверцы. И тут Степан понял, что дальше таиться нельзя.

— Отойди, стрелять буду! — заорал он во все горло.

Этого они не ожидали и пустились наутек.

Быть может, к нам подошли не злоумышленники. Но лучше было перестраховаться. Конечно, у Степана не было пистолета, но психологически он рассчитал правильно. Мы больше не спали. Биллу я объяснил, что это могли быть пьяные хулиганы.

— У нас в Америке таких сколько угодно. Надо от них держаться подальше, добродушно согласился Билл.

Дождавшись рассвета, вышли из машины. Удар пришелся по заднему бамперу, но повреждение оказалось незначительным: лишь немного промялся металл. Заперев «линкольн», отправились на поиски ближайшего жилья. Вдоль широкого шляха, обсаженного вербами, тянулась деревня. Первые две хаты с заколоченными окнами, в них не было признаков жизни. Видимо, их бросили «раскулаченные». В третьей из трубы шел дым. Постучали. Дверь открыла пожилая женщина в черном чепце и накинутом на плечи дырявом платке. Мы поздоровались. Я извинился, что потревожил так рано, и попросил разрешения войти.

— Заходьте, — сказала она после некоторой паузы. В горнице за столом сидели двое, видимо, ее муж и сын. На тарелке лежала краюха черного хлеба. В русской печи виднелся чугунок с картошкой. Я объяснил, откуда мы тут взялись, и добавил, что с нами американский турист.

— Сидайте до столу, — по-украински сказал тот, что постарше, ничуть не удивившись.

Мы основательно проголодались и не заставили себя упрашивать. Хозяйка поставила на край стола чугунок, разложила по тарелкам вареную картошку, полила подсолнечным маслом.

Разлила чай из морковки по алюминиевым кружкам. Я подумал, что для приехавшего по первой интуристовской категории Билла этот завтрак несколько скудноват. И вообще после знакомства с такой незапланированной заранее трапезой у него останется не очень-то хорошее впечатление о питании колхозников. Попадет же мне за это от Файнберга! Уже за то, что мы допустили такую ночевку американца, нам несдобровать! Но Билл не только не жаловался, но даже похвалил «вкусную и питательную» пищу.

Из разговора с хозяином выяснилось, что мы попали не в тот колхоз, который посетили вчера. Этот был вовсе не «показательный». Еще один мой прокол! Зато тут помогли. Перекусив, отправились в правление, где на выручку вывели пару волов.

— Да разве они вытянут такую махину? — засомневался Степан.

— Вытянут, они у нас сильные…

Огромные, песочного цвета в черных пятнах, волы с раскинутыми вширь рогами и кольцами в ноздрях с любопытством рассматривают заокеанское, тоже песочно-черное, чудище. К сбруе приладили канаты. Мы со Степаном привязали концы к передним рессорам «линкольна». Билл сел за руль, включил мотор. Мы подталкивали машину сзади. Раздался окрик «цоб-цобе», волы напряглись, машина вздрогнула, медленно выбралась из вырытой накануне колесами траншеи и двинулась по подмерзшему полю. Мне тут увиделась какая-то символика: украинские волы возвращают к жизни чудо американской техники!..

Билл крикнул, приоткрыв дверцу:

— Эта машина сама по себе мертва. Она никуда не годится без автострад и всякой инфраструктуры. Я же вам говорил: надо скорее строить дороги с твердым покрытием!..

Когда теперь показывают по телевидению подмосковные деревни, где в бездорожье, в вязкой жиже застревают даже трактора, я всякий раз вспоминаю эту сценку. С тех пор прошло больше полувека, а дорог с твердым покрытием вокруг деревень и полей у нас как не было, так и нет.

«Красная капелла»

У подъезда резиденции Риббентропа в роковое утро 22 июня 1941 г. нас Деканозова и меня — ожидал «мерседес» рейхсминистра, чтобы доставить обратно в посольство. Повернув с Вильгельмштрассе на Унтер-ден-Линден, мы увидели вдоль фасада посольского здания цепочку эсэсовцев. Фактически мы были отрезаны от внешнего мира. Телефоны бездействовали. Выходить в город запрещено. Ничего не оставалось, как ждать дальнейшего развития событий.

Около двух часов дня в канцелярии зазвонил телефон. Работник протокольного отдела германского МИД Эрих Зоммер сообщил, что впредь до выяснения вопроса о том, какая страна возьмет на себя защиту интересов Советского Союза, посольству предлагается назначить дипломата для связи с Вильгельмштрассе. Посол Деканозов поручил эту функцию мне, о чем я и проинформировал протокольный отдел, когда мне вновь позвонили.

— Должен вас предупредить, — разъяснили мне, — что представителя посольства при поездках в министерство иностранных дел будет сопровождать начальник охраны, установленной вокруг посольства, хауптштурмфюрер СС Хейнеман. Через него вы можете связаться, если понадобится, с протокольным отделом…

Итак, мне разрешили ездить только на Вильгельмштрассе и лишь в сопровождении Хейнемана. Между тем важно было проинформировать Москву о ситуации, сложившейся вокруг посольства, так же как и о предложениях германской стороны относительно эвакуации советского персонала. Они сводились к тому, чтобы произвести обмен равного числа, что мы считали абсолютно неприемлемым. Правительство рейха, которое на протяжении последних месяцев отозвало из СССР большую часть своих сотрудников и всех членов семей, имело в Москве лишь сто с небольшим своих граждан. Между тем наших людей в Германии насчитывалось около тысячи. Сталин, опасаясь вызвать у Гитлера подозрения, запретил сокращать количество наших работников в Германии. Более того, в посольство до последнего дня прибывали все новые сотрудники и их семьи. Теперь по немецкой схеме получалось, что только сто наших граждан могут быть обменены, а почти 900 советских людей должны остаться в Германии. Важно было предостеречь Москву, чтобы германское посольство задержали до тех пор, пока проблема обмена не будет удовлетворительным образом урегулирована. Попытка отправить

телеграмму не увенчалась успехом. Радиосвязью дипломатические представительства тогда не пользовались.

Посол Деканозов, обеспокоенный сложившейся ситуацией, счел нужным обсудить возможный вариант действий. 24 июня он вызвал к себе в кабинет военного атташе генерала Туликова, атташе посольства Короткова — тот заменял находившегося в Москве резидента госбезопасности Кобулова, меня, единственного дипломата, регулярно выезжающего в город и ведущего переговоры с германским МИД.

— Давайте еще раз выясним, — начал посол, — имеется ли возможность кому-нибудь незаметно выбраться за пределы посольства? Тогда можно было бы связаться с нашими друзьями-подпольщиками и через них информировать Москву.

— Мои люди, — доложил Тупиков, — тщательно проверили такую возможность. Весь посольский квартал оцеплен. Ночью часовые патрулируют с собаками.

— Может, Бережков попробует оторваться от Хейнемана?

— Хейнеман не отпускает меня ни на шаг, — заметил я.

— А что он вообще за человек, этот Хейнеман?

— В общем у меня с ним вполне корректные отношения. Он человек пожилой, уравновешенный, не то что молодые эсэсовские фанатики.

— Нельзя ли его прощупать, найти к нему подход?

Я предложил организовать нам с Хейнеманрм обед кли ужин в посольстве. Эту идею поддержали.

— Но тут есть проблема, — вступил в разговор Короткое. — С друзьями поддерживаю связь только я. Они не пойдут на контакт ни с кем иным, особенно в такое время, как сейчас. Кроме того, как вы знаете, у них вышел из строя радиопередатчик. Мы на днях получили из Москвы новый. Но как его передать? Это самая неотложная задача.

— Следовательно, — подытожил Деканозов, — при любых вариантах наша цель организовать встречу Короткова с друзьями. Будет непростительно, если это не удастся…

Хочу подчеркнуть, речь шла не о каких-то платных агентах. Наши друзья, с которыми поддерживал связь опытный советский разведчик Александр Михайлович Короткое, являлись убежденными борцами против фашизма. Их подпольная организация, включавшая около 200 человек, в течение ряда лет считала своим патриотическим долгом передавать ценную секретную информацию Советскому Союзу, видя в нем силу, способную противостоять гитлеровским планам порабощения народов. Руководители этой организации Шульце-Бойзен и Харнак имели доступ к наиболее охраняемым государственным

тайнам.

Старший лейтенант «люфтваффе» Харро Шульце-Бойзен происходил из прусской офицерской фамилии и находился в близких родственных отношениях с гроссадмиралом Тирпицем. Шульце-Бойзен пользовался полным доверием гитлеровского командования. Однако, будучи студентом, он поддерживал связь с левыми группами и германскими коммунистами. В начале 30-х годов редактировал антифашистский молодежный журнал «Der Gegner». После прихода Гитлера к власти штурмовики разгромили редакцию, а Шульце-Бойзен оказался за решеткой. Вмешательство высокопоставленных родственников вызволило его из тюрьмы, а участие в антифашистском движении списали за счет «ошибок молодости».

Однако выйдя из тюрьмы, Шульце-Бойзен не прекратил борьбы против фашизма. Он понял, что теперь ее методы следует изменить. Еще во время гражданской войны в Испании он установил контакт с советским посольством в Берлине и продолжал его дискретно поддерживать. Одновременно он подружился с рейхсмаршалом Германом Герингом, которому импонировал молодой офицер из аристократической семьи. Геринг даже согласился быть шафером на свадьбе Шульце-Бойзена, что поставило репутацию последнего вне всяких подозрений. Благосклонность одного из высших руководителей «третьего рейха» открыла Шульце-Бойзену дверь в министерство авиации, где он возглавил разведывательный отдел. Но блестящая карьера не вскружила ему голову и не отвлекла от главной цели — свержения нацистского режима. Организация, которой руководил Шульце-Бойзен, продолжала действовать в глубоком подполье.

Другой убежденный противник нацизма — Арвид Харнак. Доктор философии и права, он еще до захвата Гитлером власти создал в Берлине сеть кружков по изучению научного социализма. В лекциях и на семинарах призывал к дружбе с Советским Союзом и предупреждал немецкий народ о нависшей над ним угрозе фашизма. После прихода к власти нацистов руководимая им группа ушла в подполье. Харнак же, в целях конспирации, вступил в национал-социалистическую партию и поступил на работу в министерство экономики, где вскоре стал директором одного из департаментов. Он установил контакт с Шульце-Бойзеном, и они решили слить две свои группы в одну организацию.

Обладая доступом к секретной военной и экономической информации, Шульце-Бойзен и Харнак пришли к выводу о неизбежности в скором времени нападения гитлеровской

Германии на Советский Союз. Предупреждая об этом Москву (чему Сталин также не хотел верить), они особенно заботились о том, чтобы сохранить имевшуюся связь и после начала военных действий. Поэтому с нетерпением и ждали замены вышедшего из строя передатчика.

Старший лейтенант — хауптштурмфюрер СС Хейнеман оказался на редкость разговорчивым. На второй день нашего знакомства я уже знал, что у него больная жена, что брат его служит в охране имперской канцелярии, а сын Эрих заканчивает офицерскую школу, после чего должен отправиться на фронт. Несколько неожиданным для меня было признание Хейнемана, что он просил брата пристроить Эриха где-нибудь в тылу. Такие разговоры эсэсовского офицера, к тому же еще начальника отряда, караулящего большевиков, с советским дипломатом в обстановке войны с СССР несколько настораживали. Не хотел ли он спровоцировать меня на доверительную беседу? А может, в глубине души он не относился к нам враждебно и даже готов помочь? Во всяком случае, стоило к нему повнимательнее присмотреться. После нашего совещания с Деканозовым я решил попытаться установить с Хейнеманом «дружеские» отношения.

Как-то вечером, когда Хейнеман, обойдя вверенный ему караул, зашел в посольство спросить, не хотим ли мы что-либо передать на Вильгельмштрассе, я пригласил его немного отдохнуть и выпить по рюмочке. Мы расположились в гостиной в глубоких креслах за низеньким стеклянным столиком.

— Не согласитесь ли немного перекусить? — обратился я к гостю после того, как мы пропустили пару рюмок водки. — За день вы, верно, устали, да и после обеда прошло много времени…

Хейнеман сперва отказывался, ссылаясь на то, что это не положено при несении службы. Но в конце концов согласился.

В тот вечер у нас завязалась довольно откровенная беседа. После нескольких рюмок Хейнеман стал рассказывать, что, по сведениям его брата, в имперской канцелярии весьма озабочены тем неожиданным сопротивлением, на которое германские войска наталкиваются в Советском Союзе. Во многих местах советские солдаты обороняются до последнего патрона, а затем идут врукопашную. Нигде еще за время этой войны германские войска не встречали такого отпора и не несли таких потерь.

— В имперской канцелярии, — сказал Хейнеман, — некоторые даже сомневаются, стоило ли начинать войну против Советского Союза.

Это уже походило на оппозицию, чего я никак не ожидал от эсэсовского офицера.

Будучи все еще не уверен в Хейнемане, я молча слушал. Лишь

когда он вновь заговорил о своем сыне, я сказал, что этой войны могло вообще не быть и что тогда был бы в безопасности не только его Эрих, но сохранились бы жизни многих немцев и русских.

— Вы совершенно правы, — воскликнул Хейнеман, — зачем эта война?..

На следующий день я пригласил Хейнемана позавтракать. Он сразу согласился без лишних церемоний. Мне же было важно выяснить, насколько он нам может быть полезен. Нужно, размышлял я, осторожно подойти к этой теме, чтобы в случае отрицательной реакции обратить все в шутку. Прежде всего я задал себе вопрос: что может побудить его помочь нам? Если, несмотря на принадлежность к СС и офицерский ранг, он не является убежденным нацистом и служит Гитлеру из конъюнктурных соображений, то тут можно опереться на его отрицательное отношение к войне и опасения за сына. Скажем, обещать, что, если его Эрих окажется в плену, к нему отнесутся с особым вниманием. Если же Хейнеман просто циник и хочет подзаработать, оказав нам услугу, то тут проблемы нет. А вдруг он попытается нас спровоцировать на «подкуп» офицера СС и выдать гестапо? Но какой ему смысл это делать? Его может, конечно, соблазнить выбор: выгоднее, кто больше даст. Но тут, думаю, Деканозов торговаться не будет.

Хейнеман явился в назначенное время. Порассуждав по поводу сообщений с фронта, он снова коснулся больной для него темы — о своем сыне.

— В ближайшие дни, — продолжал он, — Эрих закончит офицерскую школу, а по существующему в Германии обычаю мне придется за свой счет заказать ему парадную форму и личное оружие. А тут еще болезнь жены. Пришлось истратить почти все сбережения…

Не знаю, существовал ли действительно такой обычай насчет покупки парадной формы и личного оружия, но то, что Хейнеман заговорил о деньгах, выглядело как шаг в направлении, которое представляло интерес. Я решил этим воспользоваться.

— Был бы рад вам помочь, — заметил я небрежным тоном. — Я довольно долго работаю в Германии и откладывал деньги на крупную покупку. Но теперь это потеряло смысл, и деньги все равно пропадут. Нам не разрешили ничего вывозить, кроме одного чемодана с личными вещами и небольшой суммы на карманные расходы. Мне неловко делать такое предложение, но, если хотите, я могу дать вам тысячу марок…

Тогда это были немалые деньги. В пансионе, где я жил, когда в 1940 году приезжал из Эссена в торговое представительство в

Берлине, просторная комната, правда, с общей ванной, стоила всего 5 марок в сутки.

Хейнеман задумался, пристально посмотрел на меня и долго молчал. Несомненно, он размышлял о том, не слишком ли рискованно делать следующий шаг. Я как ни в чем не бывало потягивал кофе из чашечки. Наконец Хейнеман заговорил:

— Очень благодарен вам за это предложение. Но как же я могу так, запросто, взять столь крупную сумму? Это невозможно…

— Ну что ж, ваше дело. Я вам сказал, что деньги эти все равно пропадут. Вывезти их не разрешат. Просто конфискует ваше правительство вместе с другими суммами, находящимися в посольстве. Для «третьего рейха» какая-то тысяча марок не имеет никакого значения, а вам она может пригодиться. Впрочем, решайте сами, мне все равно, кому достанутся эти деньги…

Я подлил ему кофе, наполнил рюмку коньяком. Хейнеман закурил и, откинувшись на спинку кресла, несколько раз глубоко затянулся. Чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба.

— Что ж, пожалуй, я соглашусь, — сказал он наконец. — Но вы понимаете, что ни одна живая душа не должна об этом знать!

— Не беспокойтесь. Это мои личные сбережения. Никто не знает, что они у меня есть. Я их вам дам — и дело с концом.

Я вынул бумажник и, отсчитав тысячу марок, положил их на стол. Хейнеман медленно потянулся за купюрами. Он вынул из заднего кармана брюк большое портмоне и, аккуратно расправив банкноты, спрятал их в одно из отделений. Положив портмоне снова в карман, тяжело вздохнул.

Итак, дело сдвинулось.

Хейнеман сказал:

— Еще раз хочу поблагодарить вас за эту услугу. Я был бы рад, если бы имел возможность быть вам чем-либо полезным…

Можно было тут же воспользоваться этим предложением, но, подумав, я решил, что на сегодня хватит. Лучше сейчас оставить все как есть.

— Мне ничего не нужно, — ответил я. — Вы просто мне симпатичны, и я рад вам помочь. Мне это ничего не стоит. Деньги эти я все равно использовать не могу.

Мы еще посидели немного, а когда Хейнеман стал прощаться, я пригласил его зайти днем, чтобы вместе пообедать.

Посольский повар Лакомов, по личному указанию Деканозова, приготовил нам изысканный ланч. Икра, лососина из представительских запасов, консоме, котлеты по-киевски, мороженое, кофе и, конечно, водка, грузинское вино, армянский

коньяк, ликеры. Лакомов же нас и обслуживал, надев смокинг и бабочку.

К приходу Хейнемана все было готово: я мог его хорошо угостить и сделать соответствующее предложение. Мы заранее договорились с послом и Коротковым, наметив ход действий. Когда за десертом Хейнеман вернулся к утреннему разговору и вновь высказал пожелание оказать мне какую-либо услугу, я ответил:

— Видите ли, господин Хейнеман, как я вам говорил, мне лично ничего не нужно. Но один работник посольства, мой приятель, просил меня об одном деле. Это чисто личный вопрос, и я даже не обещал, что поговорю с вами. Он, конечно, ничего не знает о наших отношениях, — успокоил я Хейнемана.

— А о чем идет речь? — поинтересовался Хейнеман. — Может, мы вместе подумаем, как помочь вашему другу?

— Он подружился тут с одной немецкой девушкой, а война началась так внезапно, что он даже не успел с ней попрощаться. Ему очень хочется получить возможность хотя бы на часок выбраться из посольства, чтобы увидеть ее в последний раз. Ведь вы сами понимаете, что означает война. Они, возможно, больше никогда не увидятся. Вот он и просил меня помочь. Но ведь всем нам строго запрещено покидать посольство. Видимо, придется его разочаровать…

— Надо подумать, — возразил Хейнеман. — Мне кажется, дело обстоит не так уж безнадежно.

Лакомов принес коробки с сигарами. Закурив, Хейнеман задумался. Долго молчал. Затем, как бы рассуждая вслух, сказал:

— Мои ребята, охраняющие посольство, знают, что я выезжаю вместе с вами, когда надо отправляться на Вильгельмштрассе. Они уже привыкли к тому, что мы с вами выезжаем вместе. Это для них обычное дело. Вряд ли они обратят внимание, если мы посадим сзади вашего приятеля, выедем в город и где-либо высадим его. Через час мы его подберем в условленном месте и возвратимся в посольство. Пожалуй, такой вариант вполне реален. Как вы находите?

Из предосторожности я сперва принялся уверять Хейнемана, что ему нет смысла идти на риск из-за такого сугубо личного дела совершенно не знакомых ему людей и в конце концов мой товарищ как-нибудь переживет разлуку, не попрощавшись со своей девушкой. Но Хейнеман все более энергично настаивал на своем плане. Поупрямившись, я наконец дал себя уговорить, и мы принялись обсуждать детали операции.

— Если все хорошо продумать, — убеждал меня Хейнеман, — то операция пройдет благополучно.

Конечно, полной уверенности в том, что эсэсовский офицер не подведет и что он действительно согласился нам помочь, у меня не было. Прощаясь с ним, я сказал, что все еще сомневаюсь, стоит ли осуществлять его предложение. Но на всякий случай пригласил зайти вечером.

После ухода Хейнемана мы стали совещаться. Решили, что надо рискнуть. Как ни важно было доставить нашим друзьям радиопередатчик, брать его при первой поездке не стоило. Следовало убедиться в надежности Хейнемана. В конце концов Саша Короткое отправится с пустыми руками, и, даже если бы его задержали, он мог рассказать версию о девушке. Все ограничилось бы протестом протокольного отдела. Вместе с тем важно было удостовериться, что за Сашей никто не увязался. Наконец, имело значение и то, что с момента начала войны от друзей не поступало никаких сведений. Надо было предварительно проверить, все ли у них в порядке. Разумеется, был риск, что второй выезд может не состояться. Но все равно решили с передатчиком пока не связываться.

Хейнеман был, как всегда, точен. Мы ожидали его вместе с Коротковым.

— Знакомьтесь, это Саша, о котором я вам говорил…

Они поздоровались за руку, и Хейнеман сказал:

— Так это вас обворожила наша девушка? Что ж, я постараюсь вам помочь.

Мы сели за стол, Хейнеман находился в отличном расположении духа. Много шутил, рассказывал о своем сыне, с которым они до войны ездили на лето в Баварские Альпы, где весело проводили время. То и дело подшучивал над Сашей, вспоминая о том, как сам он в конце первой мировой войны, оказавшись в плену во Франции, влюбился в одну француженку, а потом должен был с ней расстаться.

— Хотя я уже немолод, — сказал Хейнеман, — но хорошо понимаю, что для вас означает возможность еще раз увидеться с этой девушкой…

Условились, что проведем намеченную операцию на следующее утро в И часов, после обхода Хейнеманом караула.

— Хочу вам посоветовать, — проявил инициативу эсэсовский офицер. — Не берите ваш огромный советский автомобиль. Лучше, если мы поедем на небольшой немецкой автомашине. Будет менее заметно.

Совет был дельный. Действительно, наш «ЗИС-101» всегда привлекал внимание публики. Я решил воспользоваться «опелем», стоявшим в посольском гараже. В нем никто на нас не обратит внимания на улицах Берлина. Хейнеман сказал, что свяжется с

министерством иностранных дел, чтобы выяснить, не собираются ли меня вызывать в утренние часы на Вильгельмштрассе. Все выглядело так, будто речь идет о каком-то невинном пикнике. Может, Хейнеман и в самом деле поверил в историю о Сашиной девушке? А если нет, то он умело делал вид, что помогает свиданию влюбленных.

Но у нас на душе все же скребли кошки. Мы распрощались с Хейнеманом довольно поздно, все еще не полностью уверенные в том, как он поведет себя завтра и что вообще принесет нам следующий день.

В назначенное время Хейнеман не появился. Это нас насторожило. Что, если он нас обманул и гестапо уже узнало о наших планах? Легко понять наше нервное напряжение на протяжении целых трех часов.

В два часа дня у ворот раздался звонок. Это был Хейнеман. Он извинился за опоздание: внезапно ухудшилось состояние его жены. Пришлось вызывать врача, и он был вынужден задержаться дома. Зато он договорился с министерством иностранных дел о том, чтобы сегодня из-за его личных дел никаких встреч на Вильгельмштрассе не назначали. Таким образом, мы можем спокойно осуществить наш план.

Мы зашли в приемную. Пока Саша угощал Хейне-мана ледяной водкой, я выкатил из гаража к внутреннему подъезду песочного цвета «опель-олимпию». Хейнеман с трудом забрался на переднее сиденье рядом со мной. Ему мешал болтавшийся на боку длинный палаш в серебристых ножнах. Отстегнув в конце концов пряжку, он бросил его на заднее сиденье, где уже находился Саша. Ворота раскрылись, Хейнеман козырнул эсэсовцам, и мы выехали на Унтер-ден-Линден. Посмотрев в зеркальце, я убедился, что за нами нет хвоста.

Все прошлые дни мы ездили только в министерство иностранных дел. Чтобы не вызывать подозрения, я и теперь повернул налево, не доезжая Бранденбургских ворот, и проехал несколько кварталов по Вильгельмштрассе. Улицы Берлина производили какое-то странное впечатление. Было пасмурно, однако тепло и сухо. Блестели зеркальные стекла витрин, не торопясь шли прохожие, на углах продавали цветы, старушки выгуливали собак — как будто ничего не изменилось. И в то же время сознание того, что уже несколько дней бушует война, налагало свою печать на казавшиеся мирными картинки Берлина.

Мы заранее условились, что высадим Сашу у большого универсального магазина на Таунценштрассе — КДВ (Kaufhaus des Westens). Там легко затеряться в толпе. К тому же поблизости находится подземка. Спустя два часа мы должны были

встретиться у метро «Ноллендорфплатц».

Когда машина остановилась, наш пассажир быстро вышел и тут же растворился среди многочисленных прохожих. Мы двинулись дальше и долго кружили по улицам без всякой цели. Потом по Шарлотенбургскому шоссе направились к знаменитому «Фуенктурму» — высокой ажурной радиомачте. Днем в этом излюбленном месте вечерних прогулок берлинцев было обычно пустынно, и мы решили скоротать время там.

Сначала немного погуляли в парке, окружавшем радиомачту. Потом сели за столик на террасе летнего кафе. Хейнеман сказал, что теперь он хочет угостить меня, и заказал пару кружек пива «Берлинер киндль». Он почти все время молчал в машине — видимо, тоже нервничал. Тут к нему вернулось обычное красноречие, и он без умолку рассказывал всякие забавные истории из своей школьной жизни. Я слушал его рассеянно, думая о том, все ли сложилось благополучно у Саши. Наконец настало время отправляться в условленное место. Подъезжая к Ноллендорфплатц, я издали увидел Сашу. Он стоял у витрины и, казалось, всецело был поглощен разложенными там товарами. Но краем глаза следил за нами. Когда я притормозил, Саша подошел к краю тротуара, непринужденно помахал нам рукой и, сказав несколько приветственных слов, не спеша забрался в машину. Со стороны это выглядело, как случайная встреча друзей. Усаживаясь на заднем сиденье, Саша крепко сжал мое плечо. У меня весело екнуло сердце — значит, его миссия увенчалась успехом.

— Ну как девушка? — поинтересовался Хейнеман.

— Все в порядке, благодарю вас. Она так обрадовалась, увидев меня…

Хейнеман принялся отпускать какие-то двусмысленные шутки, но мы слушали его невнимательно. Покружив немного по улицам, я подъехал к зданию посольства и нажал на клаксон. Ворота открылись. Оказавшись во внутреннем дворике, мы вздохнули с облегчением.

В посольстве был приготовлен ужин на троих. Нам хотелось поскорее освободиться от Хейнемана, но все же пришлось посидеть с ним более часа и выслушивать его нескончаемые рассказы. Разрядка после нервного напряжения давала себя знать: нас охватила апатия.

Проводив Хейнемана, мы обсудили с посвященными в эту операцию ее итоги. Саша доложил, что у друзей все в порядке. Он сообщил им, что радиопередатчик получен и мы постараемся доставить его в ближайшее время. Тогда можно будет передать в Москву нашу информацию.

Итак, часть дела сделана. Теперь надо осуществить главную задачу доставить друзьям радиопередатчик.

На следующий день мы с Сашей угощали Хейнемана завтраком. Он сообщил последние новости с фронта, полученные от его брата. Они существенно отличались от победных реляций, публиковавшихся в немецких газетах. Советские части упорно обороняются. Потери германских войск намного выше предварительных прикидок командования. Все это, по словам Хейнемана, вызывает серьезную озабоченность в ставке Гитлера. Затем разговор зашел о нашей вчерашней вылазке. Хейнеман шутя спросил, не хочет ли Саша еще раз повидать свою подружку. Это было то, чего мы ждали:

— Конечно, хотел бы, — сказал Саша. — Но мне неловко снова утруждать вас…

Хейнеман заметил, что хотя это и связано с некоторым риском, но еще один раз, пожалуй, можно повторить.

— Если уж вы соглашаетесь, — обратился к нему Саша, — то мне бы хотелось на этот раз иметь немного больше времени, часа три или четыре. И захватить для нее кое-какие сувениры…

— Вижу, у вас, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, пошутил Хейнеман. — Но я вас понимаю. Завтра — воскресенье, министерство иностранных дел закрыто. Туда не вызовут, и весь день в нашем распоряжении. Давайте выедем часов в десять и к обеду вернемся.

Меня несколько поразила беспечность Хейнемана. Ведь мог возникнуть вопрос: если МИД закрыт, то куда мы выезжаем из посольства? Но, видимо, он считал, что его солдаты не приучены рассуждать и сочтут, что, раз их начальник выезжает, значит, так надо. Я решил не предостерегать его, подумав, что, отложив поездку, мы можем не иметь второго такого случая.

На следующее утро к назначенному часу «опель» уже стоял у внутренней стороны ворот. Хейнеман пришел на десять минут раньше. Здороваясь с ним, я заметил, что у него на этот раз нет палаша. На широком ремне, затянутом поверх кителя, была прикреплена кобура, из которой тускло поблескивала рукоятка «вальтера». Мне стало не по себе. Снова возникли прежние сомнения. Надо полагать, Хейнеман имел и раньше при себе пистолет — возможно, держал его в кармане брюк, но я никогда его не видел. Теперь же он находился на виду, его можно было достать легким движением руки. Что если Хейнеман решил нас поймать «на месте преступления»? Едва выедем за ворота, приставит мне к виску свой «вальтер» и прикажет ехать в штаб-квартиру гестапо? А у нас в чемодане радиопередатчик.

Я бросил беглый взгляд на Сашу. Видимо, и у него возникло

подозрение. Как же быть? Отказаться от поездки? Надо как-то прощупать Хейнемана. Может, он себя чем-то выдаст?

— Что-то вы сегодня без палаша, а он вам так идет, — заметил я, выдавливая из себя беззаботную улыбку.

Хейнеман ответил совершенно непринужденно:

— Видите ли, палаш мне мешает в маленьком «опеле». Зная, что мы сегодня поедем в той же машине, я решил оставить его дома. По уставу, если нет палаша, надо иметь на поясе пистолет…

Это звучало правдоподобно и несколько успокоило нас. Но вот чемодан? Радиопередатчик прикрывало двойное дно, а сверху были набросаны «сувениры» вышитые украинские рубашки, рушники, кружева, матрешки. Бросив чемодан на заднее сиденье, Саша как бы между прочим заметил:

— Это подарки моей девушке, всякая мелочь…

Хейнеман внимательно посмотрел на чемодан. Промолчал, но и не сел в машину.

Вот сейчас, подумалось мне, он скажет: «Покажите-ка, чем вы порадуете подружку?» И еще, чего доброго, сунув руку в чемодан, уткнется в совсем близко находящееся двойное дно. У меня похолодела спина. Сейчас все решится.

Я обошел машину на ватных ногах и приоткрыл дверцу, приглашая Хейнемана занять его обычное место. Он помешкал несколько секунд и последовал моему приглашению.

— Ну что же, — произнес он, усаживаясь, — целый чемодан подарков. Ваша девушка обрадуется…

Пронесло! Но все же еще долго оставался неприятный привкус во рту.

Выехав за ворота, направились к метро на Улан-штрассе. Там тоже всегда было людно. Встретиться мы должны были через три с половиной часа у метро «Виттенбегплатц». Я притормозил. Саша легким движением, словно пушинку, подхватил тяжеленный чемодан и исчез в подземке.

Времени у нас было много, и мы решили выехать на кольцевую автостраду. Остановились в лесу. Погода была чудесная. По небу медленно плыли облака, и вновь эта мирная, безмятежная картина вызвала непроизвольный протест в сознании. Там, на Востоке, идут кровавые бои, горят деревни, гибнут наши люди, а мы тут, в прогретом солнцем, наполненном ароматами трав лесу прогуливаемся с хауптштурмфюрером СС!

Вернулись в город. Хейнеман предложил зайти куда-нибудь перекусить. Припарковав машину у ресторана на углу Курфюрстендамм, напротив Гедехнискирхе, прошли сквозь вращающиеся стеклянные двери в просторный зал и стали искать

подходящий столик.

Вдруг раздался возглас:

— Эй, Хейнеман! Иди сюда.

За большим круглым столом сидело шестеро офицеров-эсэсовцев. Стол был уставлен пивными кружками. Несомненно, эта компания хорошо знала Хейнемана. Эсэсовцы махали ему, приглашая за свой столик. Что делать? Уйти мы уже не можем. Но ведь будет скандал, если обнаружится, что по Берлину разгуливает интернированный советский дипломат.

Тут я услышал торопливый шепот Хейнемана:

— Я вас представлю как родственника моей жены из Мюнхена. Вы работаете на военном заводе и потому не распространяетесь о делах. Вас зовут Курт Хюскер. Будьте осторожны…

Мы подошли к столику, где эсэсовцы — кто поднявшись во весь рост, а кто только привстав со стула — приветствовали нас возгласами «хайль Гитлер!». Хейнеман ответил им зычным голосом, а я пробормотал невнятно.

После того как Хейнеман представил меня, мы расселись и заказали всем по кружке пива. Разговор шел, конечно, о военных действиях на советско-германском фронте, о ночных налетах на Берлин, которые возобновила английская авиация. Я не сомневался, что знание языка, закрепленное за время работы в Германии, меня не подведет, но все же был благодарен Хейнеману за его выдумку насчет моей работы на военном заводе в Мюнхене. Это позволяло больше отмалчиваться. Во всяком случае, никто за столом не заподозрил, что я не тот, за кого себя выдаю.

Хейнеман посмотрел на часы. Нам было пора ехать. Но его приятели никак нас не отпускали. Мы выбрались с опозданием на полчаса, и пришлось выжать из маленького «опеля» все, чтобы поскорее добраться до места встречи.

Саша ждал нас и, конечно, нервничал. Сев в машину, он, как и в прошлый раз, сжал мне плечо, и я обрадовался — все в порядке. Мы без помех вернулись в посольство…

Хейнеман со своим эсэсовским отрядом сопровождал эвакуируемых советских граждан до турецко-болгарской границы. Но моя последняя встреча с ним произошла 2 июля 1941 г., в день, когда мы покидали Берлин. За завтраком Хейнеман передал мне свою фотографию с подписью на обратной стороне.

— Возможно, — сказал он, прощаясь, — когда-либо случится так, что мне придется сослаться на услугу, оказанную мной советскому посольству. Надеюсь, что это не будет забыто…

Оказывается, он догадывался, что дело не в Сашиной

подружке, а в чем-то куда более серьезном.

В первые годы войны подпольная антифашистская организация, руководимая Шульце-Бойзеном и Харнаком, передала в Москву значительную часть ценной информации. Она касалась как положения в тылу Германии, так и ее военных планов. Закодированные радиограммы относились к запасам стратегических материалов, производству самолетов и новых систем оружия. Передавая исключительно важную информацию о потерях нацистских армий, о планировавшихся наступательных операциях вермахта, заброске диверсантов в советский тыл, немецкие антифашисты выполняли свой патриотический долг перед германским народом, который сам оказался под пятой нацизма. Другое дело, в какой мере советское командование сумело воспользоваться этой бесценной информацией. Но, несомненно, переданный нами радиопередатчик спас немало жизней наших людей на фронте и в тылу. С большим трудом абверу и нацистской службе безопасности удалось раскрыть эту организацию, окрещенную гитлеровцами «Красной капеллой». В конце августа — начале сентября 1942 года членов организации повесили в тюрьме Плетцензее в Берлине. На эшафоте они держались мужественно. Когда палач набросил петлю на шею Харнаку, он выкрикнул, что не жалеет ни о чем сделанном. Шульце-Бойзен в своем предсмертном послании написал, что всегда поступал по велению разума, сердца и убеждений.

Вспоминая этих стойких, самоотверженных, чистых перед своей совестью людей, нельзя не думать о послевоенной истории. Сколько таких, как они, отдали свои жизни ради светлых идеалов, в которые они беззаветно верили, во имя которых умирали. После победы над фашизмом казалось, что эти жертвы не напрасны. На немецкой земле возникло «государство трудящихся», провозгласившее планы строительства «счастливого социалистического общества». Люди моего поколения верили в возможность достижения этой цели во всем «социалистическом содружестве», особенно в Германской Демократической Республике. Но модель, которая всем нам была навязана, оказалась несостоятельной. Попытки ее насильственной реализации привели к огромным жертвам и катаклизмам, потрясшим Восточную Европу. А Германская Демократическая Республика, некогда гордость «мирового коммунистического и рабочего движения», вообще перестала существовать…

Вернувшись в Москву, Саша — он же Александр Михайлович Коротков — высоко поднялся по служебной лестнице. Я редко его видел. Мы встречались с ним в 1943 году в Тегеране, где он находился среди лиц, обеспечивавших безопасность «большой

тройки». Затем видел его на Женевской конференции по Индокитаю в 1954 году. В течение ряда лет Короткое работал на высоких постах в ГДР. В конце 50-х годов он скоропостижно скончался на теннисном корте в Москве.

Из Анкары — в Москву

Двухмоторный самолет «Дуглас» стоял на бетонной площадке перед приземистым зданием аэровокзала Анкары. Нас провожали посол СССР в Турции Виноградов и представитель протокольного отдела турецкого МИД. Несмотря на ранний час, солнце уже припекало. Безоблачное небо ярко-голубым шатром охватывало плоскую равнину, покрытую пожелтевшей травой. Неподвижный воздух предвещал жаркий безветренный день. У трапа самолета застыл командир корабля в форме военного летчика.

Наша группа, которой были устроены эти проводы, представляла, по существу, руководящий состав посольства СССР, остававшийся в Берлине вплоть до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Вообще лиц, имевших дипломатический ранг, было тогда в советской колонии в Берлине совсем немного: два советника, один первый секретарь, два вторых секретаря, один третий секретарь, четыре атташе, консул и военно-морской атташе и их первые заместители. Наконец, дипломатами считались также торговый представитель и его заместитель. Технический персонал полпредства тоже был немногочислен. К началу войны примерно половина дипломатического состава находилась в отпуске. Еще в мае в Москву выехали с семьями военно-морской атташе Воронцов и советник Кобулов. Зная, что нацистское вторжение неизбежно, они решили уехать из Берлина заранее. Отправил свою семью на родину и Деканозов.

Советник Амаяк Кобулов, брат Богдана Кобулова, первого заместителя Берии, являлся резидентом комитета госбезопасности в Германии. Он внешне был полной противоположностью Богдана — отталкивающе-уродливого, низенького, толстого, внушавшего страх и отвращение. Амаяк — высокий, стройный, красивый кавказец с ухоженными усиками и черной шевелюрой, очень обходительный, даже обаятельный, — считался у нас душой общества и так хорошо играл роль простецкого тамады, что мало кто догадывался о его подлинных функциях. Тогда никто не мог и представить себе, как окончится карьера этого весельчака. После смерти Сталина он в конце 1953 года вместе со своим братом Богданом, а также Деканозовым и другими был осужден по делу Берии и расстрелян.

После того как мы пересекли болгаро-турецкую границу в Свиленграде, а немецкие дипломаты из Армении также перешли в Турцию, послу уже не было необходимости опекать советский персонал. Этим занялось генконсульство СССР в Стамбуле, куда

вскоре прибыл советский теплоход «Сванетия», на котором вся колония отправилась в Батуми вдоль побережья нейтральной Турции. Мы же, небольшая группа дипломатов, в которую помимо посла входили советник посольства Семенов, военный атташе генерал Тупиков, атташе посольства Коротких и я с моей женой Галей, выехали ночным экспрессом в Анкару. Специально присланный из Москвы за нашей группой самолет уже ждал нас в анкарском аэропорту. Но поскольку вылет назначили на следующее утро, весь день оказался свободным.

Деканозов, остававшийся заместителем наркома иностранных дел, вместе с послом СССР в Турции Виноградовым отправился навестить министра иностранных дел Турции, захватив Семенова. А я с Галей, генералом Тупиковым и Коротких решили погулять по городу.

Анкара походила на большую деревню, особенно в сравнении с великолепием Стамбула, где все напоминало о богатстве и величии Оттоманской империи. Здесь улицы были пыльные и неубранные. На главной магистрали столицы — бульваре Ататюрка — росли чахлые деревца. Но в кофейне нас угостили душистым турецким кофе, рахат-лукумом и ореховой халвой. К каждой чашке подавался также стаканчик ледяной воды.

Особых достопримечательностей в этом молодом городе, возникшем после революции по воле ее вождя — Кемаля Ататюрка, мы не обнаружили, если не считать красочных экзотических лавчонок и мастерских ремесленников, тут же торговавших своими изделиями. Поскольку, кроме небольшого чемоданчика, который каждому из нас разрешили взять с собой гитлеровцы, все остальное пришлось бросить в Берлине, мы решили обзавестись кое-какими вещами первой необходимости. Из того, что мы тогда купили, мне особенно пригодились теплое белье и верхние рубашки, хорошо послужившие в годы войны.

Попрощавшись с провожавшими, мы поднялись в самолет. По пути приземлялись только один раз, уже на советской территории, в Ленинакане. Долина между склонами гор казалась пустынной. Посадочная дорожка представляла собой металлическую решетку, уложенную на зеленый дерн.

Выйдя из самолета, увидели вдалеке небольшую сторожку. Оттуда к нам спешили несколько человек. Это было местное начальство. Их предупредили о прибытии члена Центрального Комитета партии и заместителя наркома иностранных дел Деканозова, и они постарались устроить достойную встречу. В плетеных корзинках приволокли с собой целого барашка, жареного на вертеле, лаваш, батарею бутылок сухого армянского вина, овощи, фрукты, восточные сладости. Прямо на лужайке,

рядом с самолетом, расстелили скатерть, и началось угощение с неизменными тостами.

Никто даже не упомянул о войне. Прошло меньше месяца с момента вторжения, и здесь, далеко от фронта, люди, казалось, не испытывают особого беспокойства. Видимо, еще глубоко сидело в сознании обещание вождя, что мы будем бить агрессора на его же территории. Не имея информации о том, как действительно развиваются события, все ждали, что Красная Армия, отбросив вражеские полчища, вступит на территорию Германии, немецкие рабочие и крестьяне повернут оружие против нацистов и война окончится нашей полной победой…

В столице Грузии нам также оказали торжественную встречу. Деканозов, сохранивший здесь квартиру после переезда в Москву, уехал к себе, а мы разместились в отеле «Тбилиси». Наши «люксы» с коврами, зеркалами и большими балконами напоминали о роскоши дореволюционного Тифлиса, когда имевший тут сильные позиции французский капитал немало способствовал благоустройству и украшению главной магистрали города, носившей теперь имя Шота Руставели. В ресторане с высоким стеклянным потолком гремела музыка, было людно и шумно. После ужина мы наблюдали с балкона за хорошо одетой толпой, в основном мужчин, не спеша прогуливавшихся по ярко освещенному проспекту, окаймленному высокими раскидистыми платанами. И здесь тоже война еще не наложила своего зловещего отпечатка на беззаботную атмосферу этого южного города.

Рано утром вылетели в Москву. Теперь пассажиров прибавилось. К нам присоединилась семья Деканозова: его жена Нора Тиграновна и двое детей-подростков — Пана и Реджик. После краткой остановки в Ростове отправились дальше вдоль Волги и в районе города Куйбышева повернули на запад. Сделали довольно большой крюк, так как опасались германской авиации, активно действовавшей на юге Украины. Во второй половине дня, покружив над московскими крышами, приземлились в Центральном аэропорту на Ленинградском проспекте.

Столица встретила нас теплым, солнечным днем. Когда затихли моторы и мы сошли на зеленую траву посадочной площадки, трудно было сдержать волнение. Царившая кругом тишина казалась обманчивой. Все это время я думал о той жестокой битве, которую ведет наша страна с коварным и сильным врагом. А тут, в самом центре Москвы, поражало спокойствие, пахло разогретым клевером, и в небе мирно вились жаворонки. Но уже Ленинградское шоссе носило грозные приметы войны. Бросился в глаза укрепленный на торце одного

из домов огромный плакат строгое лицо русской женщины, в поднятой руке которой текст военной присяги и надпись: «Родина-мать зовет!» Наша машина обогнала нестройно марширующие ряды ополченцев. Фасады домов причудливо раскрашены зелеными и коричневыми разводами, оконные стекла заклеены крест-накрест полосками бумаги.

Так в первые же минуты Москва предстала перед нами в суровом военном облике.

Все отправились по своим квартирам. У меня же вновь возникла проблема, поскольку, не работая больше в Наркомате внешней торговли, я не мог рассчитывать на номер в «Метрополе». Деканозов предложил нам отправиться на Кузнецкий мост и подождать у начальника хозяйственного отдела Наркоминдела Алахвердова, которому будет поручено подобрать для нас временное жилье.

Вопреки нашим опасениям вопрос этот решился довольно быстро. После захвата нацистами Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии Сталин, видимо, желая умаслить Гитлера, разорвал с этими странами дипломатические отношения, и особняки, занимавшиеся их представительствами, пустовали. В переулке Островского один из них, ранее принадлежавший норвежской миссии, был превращен в общежитие Наркоминдела. В нем временно размещали тех из эвакуированных на родину после начала войны, кого оставляли работать в центральном аппарате наркомата. Сюда привез Алахвердов и нас.

Наша комната оказалась совершенно пустой, но к ночи доставили две раскладушки, постельное белье, канцелярский, весьма потрепанный столик и два стула. На нашем этаже, где в таких же комнатах размещались еще несколько жильцов, была только одна ванная комната, и утром приходилось вставать в очередь. Все же нам с Галей, не имевшим в Москве никакого пристанища, особняк в переулке Островского казался удачным решением жилищного вопроса. Здесь мы пробыли до 16 октября 1941 г., когда, после прорыва немцев к Химкам, Наркоминдел срочно эвакуировался в Куйбышев.

В первую же ночь нас разбудил сигнал воздушной тревоги. Женщины с детьми спустились в подвал. Остальные поднялись на крышу для обезвреживания зажигательных бомб. Зенитный огонь нашей противовоздушной обороны не смог отогнать все вражеские самолеты. Несколько бомбардировщиков прорвалось к центру города. Они хорошо были видны в лучах прожекторов. В районе Никитских ворот разорвалась тяжелая фугасная бомба. Был почти полностью разрушен дом на улице Герцена и раскололся надвое памятник Тимирязеву. На нас сыпались

зажигалки. Две из них упали на крышу рядом со мной. Я потушил их в ведре с песком.

Утром меня вызвал на работу Деканозов и сказал, что я назначен его помощником. Спросил, как я к этому отношусь.

— Помощник заместителя наркома, как я понимаю, должность высокая. Постараюсь выполнять мои обязанности по мере сил и способностей, — ответил я.

— Ну что ж, это похвально. Собственно, вы уже были моим помощником в Берлине. Здесь дела посложнее, но уверен, что вы с ними справитесь. Желаю успеха.

Я поблагодарил и спросил, каковы конкретно будут мои функции.

— Прежде всего следует ознакомиться с досье по странам и проблемам, которые уже подобрали заведующая моим секретариатом Маркелова и ее три помощницы-секретарши. Затем вам нужно будет каждый раз к моему приходу внимательно просматривать информационный вестник ТАСС и отбирать для меня самое важное, знакомиться с другими материалами и шифровками, адресованными мне, и, если в этой связи потребуются справки соответствующих отделов наркомата, затребовать их и подбирать тематически…

Деканозов далее пояснил, что в его ведении находятся Иран, Турция, Афганистан, Монголия, Китай и Синьцзян, а также страны — союзницы Германии. Кроме того, он курирует финансы, включая валютный бюджет Наркоминдела, кадры и консульские дела. Так что проблем будет немало.

Комната в Кремле

Незадолго до гитлеровского вторжения Сталин взял себе обязанности Председателя Совета Народных Комиссаров, оставив Молотова первым замом предсовнаркома с сохранением поста наркома иностранных дел. Но апартаменты Молотова остались там же, в Кремле, в здании Совнаркома на втором этаже. Рядом, за углом по коридору, находилась и наша комната с Павловым, который к тому времени был назначен помощником наркома по советско-английским отношениям. Когда в конце июля 1941 года в Москву прилетел Гарри Гопкинс специальный представитель президента Рузвельта, я был среди встречавших его лиц в Центральном аэропорту Москвы, на Ленинградском проспекте. Но его беседы со Сталиным переводил Литвинов. Мне же доверили эту работу только два месяца спустя, когда к нам прибыла англо-американская делегация, возглавлявшаяся лордом Бивербруком и Авереллом Гарриманом.

Впоследствии Гарриман придумал анекдот о моем появлении в кабинете Сталина: поначалу беседу переводил с советской стороны Павлов, а с американской — Чарльз Болен, 3-й секретарь посольства США в СССР. В связи с его именем Гарриман, впоследствии приходя иногда с другим переводчиком, любил по-русски повторять: «Болен — болен». Это неизменно смешило Сталина.

У Павлова тогда будто бы возникли трудности с переводом, и Болен принялся помогать ему. Это не понравилось Сталину. Он обратился к Молотову:

— Почему американец поправляет моего переводчика? Это не дело. А где, Вячеслав, тот молодой человек, что переводил беседу с Гитлером? Пусть он придет и поможет нам.

— Но он ведь переводил на немецкий…

— Ничего, я ему скажу, будет переводить на английский…

Так я предстал пред светлые очи «хозяина» и сделался его личным переводчиком.

Говорят, английский парламент может все, он лишь не может превратить мужчину в женщину. Своим рассказом Гарриман весьма язвительно иронизировал по поводу всесилия «великого вождя».

На самом деле я впервые увидел Сталина в конце сентября 1941 года на позднем обеде в Кремле, устроенном в честь миссии Бивербрука-Гарримана. Гости собрались в помещении, примыкавшем к Екатерининскому залу, незадолго до 8 часов вечера. Все ждали появления Сталина. Наконец отворилась

высокая дверь, но это был не он, а два офицера из его охраны. Один остановился у двери, другой занял позицию в противоположном углу. Прошло еще минут десять. Видимо, в этом был определенный смысл: свое появление «хозяин» преднамеренно затягивал, чтобы подогреть нетерпение публики.

Дверь снова открылась, и вошел Сталин. Взглянув на него, я испытал нечто близкое к шоку. Он был совершенно не похож на того Сталина, образ которого сложился в моем сознании. Ниже среднего роста, исхудавший, с землистым, усталым лицом, изрытым оспой. Китель военного покроя висел на его сухощавой фигуре. Одна рука была короче другой — почти вся кисть скрывалась в рукаве. Неужели это он? Как будто его подменили!

С детства нас приучили видеть в нем великого и мудрого вождя, все предвидящего и знающего наперед. На портретах и в бронзовых изваяниях, в мраморных монументах, на транспарантах праздничных демонстраций и парадов мы привыкли видеть его, возвышающегося над всеми. И наше юношеское воображение дорисовывало высокое, стройное, почти мифическое существо. А он вот, оказывается, какой, невзрачный, даже незаметный человек. И в то же время все в его присутствии как-то притихли. Медленно ступая кавказскими сапогами по ковровой дорожке, он со всеми поздоровался. Рука его была совсем маленькой, пожатие вялым.

То были самые тяжелые дни войны. Гитлеровские войска продвинулись далеко в глубь советской территории, подошли к Ленинграду и Киеву, стремительно приближались к Москве. Советским частям, вынужденным все дальше отступать, порой не хватало даже ружей царского образца. Я был свидетелем разговора Молотова с командиром одного из отрядов, оборонявших столицу. Тот жаловался, что у него на пять ополченцев только одна винтовка, и слезно умолял помочь. Но Молотов, знавший положение дел, жестко ответил:

— Винтовок нет, пусть сражаются бутылками…

Тогда-то и появился пресловутый «молотовский коктейль» — бутылки с горючей смесью. Боец народного ополчения, спрятавшись в окопчик, поджидал танк и, когда тот проходил над его головой, поднимался и бросал бутылку на выхлопную трубу. При метком попадании машина воспламенялась, но в следующее мгновение второй танк в упор расстреливал смельчака. Так под Москвой гибли десятки тысяч ополченцев. Среди них немало и моих друзей.

Страшные неудачи, потери обширных территорий, гибель и пленение миллионов, при всем пренебрежении Сталина к человеческой жизни, не могли не наложить отпечатка на его

облик. Но особенно его угнетало другое: просчет, допущенный им в оценке предвоенной ситуации. Он игнорировал все предупреждения и предостережения, уверовав, что Гитлер не начнет войну в середине лета. Восхищаясь Гитлером в недавнем прошлом, он теперь не мог простить ему, осрамившему «вождя народов» перед всем миром. «Непогрешимого товарища Сталина», как мальчишку, обвел вокруг пальца австрийский ефрейтор! Этого унижения и пережитого страха Сталин не забыл, став еще более подозрительным, чем прежде. Даже внутри здания Совнаркома его повсюду сопровождали два охранника. С таким эскортом Сталин приходил и к Молотову.

Нередко бывало, что, выходя из секретариата наркома и поворачивая за угол, чтобы пройти в свою комнату, я видел, как из-за противоположного угла показывался знакомый охранник. И каждый раз это приводило меня в смятение. Нет, то не был страх. Я был убежден, что мне лично ничем не грозит такая встреча. Но появлялось непреодолимое подсознательное желание спрятаться. Через несколько секунд должен появиться Сталин. Мысль лихорадочно работала: как поступить? Вернуться обратно в секретариат или быстро добежать до своей комнаты и укрыться за дверью? Может, спрятаться за одной из гардин, прикрывавших высокие окна, смотрящие во внутренний дворик? А если Сталин заметит, что кто-то прячется, примет меня за злоумышленника, подумает, что у меня совесть нечиста? Ведь даже когда собеседник не смотрел ему в глаза, он готов был заподозрить крамолу: «Почему у вас глаза бегают?» — и этот его вопрос мог решить судьбу бедняги.

Перебрав все варианты и понимая, что времени не остается, я прижимался спиной к стене и ждал. Процессия медленно проходила мимо. Я бодро произносил: «Здравствуйте, товарищ Сталин!»

Он молча, легким движением руки отвечал на мое приветствие и поворачивал за угол. Теперь я мог с облегчением вздохнуть. Но ведь ничего не произошло. Отчего же при каждой подобной ситуации охватывало оцепенение?

Нервозность возникала и тогда, когда главный помощник вождя Поскребышев или кто-то из его заместителей заранее предупреждал, что предстоит беседа с американцами и что мне переводить. Но тут я находил объяснение — предстояло восхождение на Олимп. И еще была нервная концентрация, хотелось выполнить поручение как можно лучше, чтобы Он остался доволен.

Кремль в то время был закрыт для публики. Но у меня имелся пропуск «всюду», кроме коридора, ведущего в крыло Сталина. В

каждом отдельном случае выписывался специальный пропуск.

В служебных апартаментах Сталина царила деловая, спокойная атмосфера. В небольшой комнате рядом с секретариатом, куда я поначалу заходил в ожидании сигнала, что гости миновали Спасские ворота, на раскрашенных яркими цветами черных подносах стояли стаканы и бутылки с боржоми, а у стены выстроился ряд простых стульев. Некоторые авторы сейчас утверждают, что всех посетителей, даже Молотова, перед кабинетом вождя обыскивали, что под креслами находились электронные приборы для проверки, не спрятал ли кто-то оружие. Ничего подобного не было. Во-первых, тогда еще не существовало электронных систем, а во-вторых, за все почти четыре года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и вообще не подвергали каким-либо специальным проверкам. Между тем в наиболее тревожные последние месяцы 1941 года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня, например, был маленький «вальтер», который легко можно было спрятать в кармане. Когда около шести утра заканчивалась работа, я, взяв его из сейфа, отправлялся в здание Наркоминдела на Кузнецком, где в подвале можно было немного отдохнуть, не реагируя на частые воздушные тревоги. В осенние и зимние месяцы светало поздно, и улицы были погружены во мрак. Правда, часто попадался комендантский патруль, проверял документы. Но ведь мог встретиться и немецкий диверсант. Вот на сей случай и полагалось оружие. По приходе в Кремль на работу следовало спрятать пистолет в сейф. Но никто не проверял, сделал ли я это и не взял ли оружие, отправляясь к Сталину.

Мои возможности наблюдать Сталина были ограничены специфическими функциями переводчика. Я видел его в обществе иностранных посетителей, где он играл роль гостеприимного хозяина. Когда дежурный офицер сообщал, что гости миновали Спасские ворота, и до их появления здесь оставались считанные минуты, я направлялся в кабинет Сталина, минуя секретариат, комнату, где сидел Поскребышев и помещение охраны. Тут всегда находились несколько человек в форме и в штатском, а у самой двери в кабинет в кресле обычно дремал главный телохранитель вождя генерал Власик. Он использовал каждую тихую минутку, чтобы вздремнуть, так как должен был круглые сутки находиться при «хозяине». Входил я в кабинет без предупреждения и всегда кого-то там заставал: членов политбюро, высших военных командиров или министров. Они сидели за длинным столом с блокнотами, а Сталин прохаживался по ковровой дорожке. При этом он либо выслушивал кого-то из присутствовавших, либо

высказывал свои соображения. Мое появление служило своеобразным сигналом к тому, что пора заканчивать совещание. Сталин, взглянув на меня, обычно говорил:

— Американцы сейчас явятся. Давайте прервемся…

Все, быстро собрав свои бумаги, вставали из-за стола и покидали кабинет. Оставался только Молотов. Он присутствовал при всех беседах Сталина с иностранцами, хотя в них практически не участвовал, а больше молчал. Иногда сам Сталин обращался к нему по какому-либо конкретному вопросу, называя его «Вячеслав». Молотов же в присутствии посторонних строго придерживался официального «товарищ Сталин».

Надо признать, что при всех своих отвратительных качествах Сталин обладал способностью очаровывать собеседников. Он, несомненно, был большой актер и мог создать образ обаятельного, скромного, даже простецкого человека. В первые недели войны, когда казалось, что Советский Союз вот-вот рухнет, все высокопоставленные иностранные посетители, начиная с Гарри Гопкинса, были настроены весьма пессимистически. А уезжали они из Москвы в полной уверенности, что советский народ будет сражаться и в конечном счете победит. Но ведь положение у нас было действительно катастрофическое. Враг неотвратимо двигался на Восток. Чуть ли не каждую ночь приходилось прятаться в бомбоубежищах. Так что же побуждало Гопкинса, Гарримана, Бивербрука и других опытных и скептически настроенных политиков менять свою точку зрения? Только беседы со Сталиным. Несмотря на казавшуюся безнадежной ситуацию, он умел создать атмосферу непринужденности, спокойствия.

В кабинет, где всегда царила тишина, едва доносился перезвон кремлевских курантов. Сам «хозяин» излучал благожелательность, неторопливость. Казалось, ничего драматического не происходит за стенами этой комнаты, ничто его не тревожит. У него масса времени, он готов вести беседу хоть всю ночь. И это подкупало. Его собеседники не подозревали, что уже принимаются меры к эвакуации Москвы, минируются мосты и правительственные здания, что создан подпольный обком столицы, а его будущим работникам выданы паспорта на вымышленные имена, что казавшийся им таким беззаботным «хозяин» кремлевского кабинета прикидывает различные варианты на случай спешного выезда правительства в надежное место. После войны он в минуту откровения сам признался, что положение было отчаянным. Но сейчас он умело это скрывает за любезной улыбкой и показной невозмутимостью. Говоря о нуждах Красной Армии и промышленности, Сталин называет не только

зенитные, противотанковые орудия и алюминий для производства самолетов, но и оборудование для предприятий, целые заводы. Поначалу собеседники недоумевают: доставка и установка оборудования, налаживание производства потребуют многие месяцы, если не годы.

А ведь западные военные эксперты утверждают, что советское сопротивление рухнет в ближайшие четыре-пять недель. О каком же строительстве новых заводов может идти речь? Даже оружие посылать русским рискованно — как бы оно не попало в руки немцев. Но если Сталин просит заводы, значит, он что-то знает, о чем не ведают ни эксперты, ни политики в западных демократиях. И как понимать олимпийское спокойствие Сталина и его заявление Гопкинсу, что, если американцы пришлют алюминий, СССР будет воевать хоть четыре года? Несомненно, Сталину виднее, как обстоят тут дела! И вот Гопкинс, Бивербрук, Гарриман заверяют Рузвельта и Черчилля, что Советский Союз выстоит и что есть смысл приступить к организации военных поставок стойкому советскому союзнику. Сталин блефовал, но, по счастью, оказался прав. Так же как и тогда, когда после посещения британским министром иностранных дел Антони Иденом подмосковного фронта во второй половине декабря 1941 года он заявил:

— Русские были два раза в Берлине, будут и в третий раз…

Неисправимые сталинисты могут расценить такое пророчество как свидетельство прозорливости вождя. Но мне представляется, что он и тут играл роль оптимиста. В узком кругу он не раз в те дни признавался, что «потеряно все, что было завоевано Лениным», что не избежать катастрофы. Наигранной бодростью он прикрывал свое неверие в народ, презрительно обзывая аплодировавшую ему толпу «дураками» и «болванами». Но именно этот нелюбимый и пугавший его народ, жертвуя десятками миллионов жизней своих сынов и дочерей, сделал его пророчества возможными.

Лично ко мне Сталин всегда относился ровно, индифферентно. Порой мне казалось, что он смотрит как-то сквозь меня, даже не замечает моего присутствия. Но он, как вскоре выяснилось, в каждом случае сам выбирал из нас двоих себе переводчика. Иной раз, когда предстояла беседа с американцами, вызывали Павлова, а к англичанам — меня, хотя США были в моей компетенции, а Великобритания — Павлова. Бывало и так, что в течение нескольких недель приглашали только одного из нас, независимо от того, с кем происходила беседа. Каждому из нас в таких случаях было не по себе, каждый нервничал и терялся в догадках: чем не угодил «хозяину», что

вызвало его неудовольствие. Но потом все снова входило в норму, никаких замечаний нам не делали, а мы, разумеется, не осмеливались выяснять. Быть может, это была такая маленькая игра, чтобы держать нас в напряжении и в состоянии «здоровой конкуренции».

У него был своеобразный юмор. Рассказывали, что однажды начальник политуправления Красной Армии Мехлис пожаловался Верховному главнокомандующему, что один из маршалов каждую неделю меняет фронтовую жену. Мехлис спросил, что будем делать. Сталин с суровым видом ничего не отвечал. Мехлис, полагая, что он обдумывает строгое наказание, начал было сожалеть о своем доносе. Но тут Верховный с лукавой усмешкой прервал молчание:

— Завидовать будем…

В ином случае Сталин на протяжении нескольких военных лет, время от времени, донимал другого маршала вопросом: почему его не арестовали в 1937 году? Не успевал тот раскрыть рот, как Сталин строго приказывал: «Можете идти!» И так повторялось до конца войны. Жена маршала после каждого подобного случая готовила ему узелок с теплыми вещами и сухарями, ожидая, что ее супруг вот-вот угодит в Сибирь. Настал День Победы. Сталин, окруженный военачальниками, произносит речь…

— Были у нас и тяжелые времена, и радостные победы, но мы всегда умели пошутить. Не правда ли, маршал… — И он называет имя злополучного объекта своих «шуток».

У меня сложности порой возникали с составлением телеграмм нашим послам в Лондоне и Вашингтоне. Проект телеграммы следовало приготовить сразу же после беседы, пока Сталин еще оставался у себя.

По своей старой подпольной привычке Сталин работал всю ночь, и прием дипломатов обычно проводился поздно, а то и на рассвете. Беседа порой продолжалась два-три часа, но телеграмма должна была занимать не больше двух страниц. Продиктовав, я снова отправлялся в кабинет Сталина. Он просматривал текст, делал те или иные поправки и подписывал. Но бывало и так, что его не устраивал мой вариант. Это его раздражало. Правда, груб он не был, а просто укорял:

— Вы тут сидели, переводили, все слышали, а ничего не поняли. Разве это важно, что вы тут написали? Главное в другом…

Он, однако, понимал, что я старался, но не сумел, И не было смысла отсылать меня с простым напутствием: «Переделайте». Он говорил:

— Берите блокнот и записывайте… — И диктовал по пунктам то, что считал важным.

После этого не стоило особого труда составить новую телеграмму. Все же всякий раз, когда случалось такое, долго оставался неприятный осадок.

Найти виновного!

Мне приходилось не раз наблюдать, как Молотов нервничал, если какое-то его предложение не встречало одобрения Сталина. Он несколько дней ходил мрачный, раздражительный, и тогда лучше было не попадаться ему под руку.

Распространенное на Западе мнение о том, будто Молотов не проявлял никакой инициативы и действовал исключительно по подсказке Сталина, представляется неправомерным, так же как и версия о том, что Литвинов вел свою «самостоятельную» политику, которая исчезла после его отстранения. Конечно, были нюансы, своя специфика. Но, просматривая в секретариате наркома иностранных дел досье прошлых лет, я убедился, что Литвинов по самому малейшему поводу обращался за санкцией в ЦК ВКП(б), то есть фактически к Молотову, курировавшему внешнюю политику. Как нарком иностранных дел Молотов пользовался большей самостоятельностью, быть может, и потому, что постоянно общался со Сталиным, имея, таким образом, возможность как бы между делом согласовать с ним тот или иной вопрос.

Обычно важные предложения готовил аппарат Наркоминдела. Соответствующую бумагу визировал заместитель наркома, занимающийся данной проблемой или страной, после чего она докладывалась наркому. И в большинстве случаев Молотов принимал окончательное решение. Не исключено, конечно, что и здесь он заранее получал добро «хозяина» либо по телефону, либо накануне на даче. Но все же, по моим наблюдениям, Молотов во многих случаях брал на себя ответственность.

По особо важным делам подготовленные документы, конечно, пересылались Сталину. Обычно через короткое время они возвращались в секретариат наркома с размашисто выведенными буквами «ИС» толстым синим карандашом. На столе у Сталина рядом с массивным письменным прибором в бронзовом стакане всегда торчало множество двухцветных сине-красных больших восьмигранных карандашей. Он брал их в ладонь и перебирал пальцами, как бы тренируя полупарализованную руку. Его виза безотказно приводила в действие весь административный аппарат.

Сейчас иной раз удивляешься, почему в последние годы множество правительственных постановлений и президентских указов попросту игнорируется аппаратом. Такая ситуация была абсолютно немыслима в сталинское время. Созданная Сталиным

административная система основывалась помимо веры и определенного энтузиазма на трех опорах: дисциплине, страхе, поощрении. Правда, к 40-м годам энтузиазма поубавилось. Но страх усилился, подкрепляя железную дисциплину. Одновременно стала и более развитой система поощрений тогда-то и сформировались привилегии высшего эшелона, сохранившиеся до наших дней. Перспектива расстаться со «сладкой жизнью» была весьма важным стимулом к выполнению указаний вождя. Но еще более действенным было осознание — от рабочего, выточившего бракованную деталь, крестьянина, подобравшего колосок на колхозном поле, до министра и даже до члена политбюро, — что невыполнение воли «хозяина» может стоить головы. И механизм действовал.

Теперь энтузиазма вовсе не осталось, исчез страх. К тому же ни одного министра не лишили привилегий из-за плохой работы. В крайнем случае его отправляют на пенсию союзного значения, гарантирующую весьма высокий пожизненный статус. В этих условиях сохраненная и после шести лет перестройки административно-хозяйственная система вовсе перестала работать. Мы видели, как правительство, высшее партийное руководство пытались оживить ее потоком постановлений, указов, предписаний и увещеваний. А ситуация все более ухудшалась, подталкивая общество к непредсказуемому взрыву. Система, быть может, как-то заработает, если снова вселить в людей страх. Но это не разрешит коренных проблем, лишь погубит все надежды на лучшее будущее. Единственный выход — быстрейшее уничтожение сталинской системы и переход к рынку.

Идея перестройки прорезалась лишь спустя полвека. Тогда же, пятьдесят лет назад, инициалы вождя внушали всем трепет и послушание. Бывало, что бумага возвращалась без визы, перечеркнутая крест-накрест, но уже красным, а не синим карандашом: Сталин не утвердил посланный ему документ. Такое чрезвычайное происшествие — ЧП — потрясало Молотова. Он очень болезненно переживал «проколы». Не думаю, что то была боязнь возможных последствий. Ведь тогда Молотов являлся, пожалуй, самым близким к «хозяину» человеком.

Впрочем, и он, видимо, понимал: слишком частые повторения подобных ситуаций могли вызвать гнев и даже подозрения в том, что нарком, который должен одинаково с ним мыслить, чуть ли не преднамеренно подкапывается под его, Сталина, позицию. Думаю, однако, что Молотов, скорее всего, сокрушался из-за того, что, располагая теми же фактами и информацией, пришел к выводам, отличным от мнения «хозяина». Он, конечно, не мог допустить и мысли, что прав, а заблуждается Сталин. К тому

времени уже все в окружении вождя были готовы безоговорочно признать его правоту, даже порой не вникнув в существо вопроса. Возможно, они действительно верили в Сталина. А скорее, помнили, что произошло с теми, кто осмеливался высказать сомнение.

Со своими непосредственными подчиненными Молотов был ровен, холодно вежлив, почти никогда не повышал голоса и не употреблял нецензурных слов, что было тогда обычным в кругу «вождей». Но он порой мог так отчитать какого-нибудь молодого дипломата, неспособного толково доложить о положении в стране своего пребывания, что тот терял сознание. И тогда Молотов, обрызгав беднягу холодной водой из графина, вызывал охрану, чтобы вынести его в секретариат, где мы общими усилиями приводили его в чувство. Впрочем, обычно этим все и ограничивалось, и виновник, проведя несколько тревожных дней в Москве, возвращался на свой пост, а в дальнейшем нередко получал и повышение по службе. Думаю, что Молотов проявлял известную терпимость в подобных случаях, поскольку речь шла о малоопытных работниках, в подборе которых он сам участвовал, и потому в какой-то мере нес за них ответственность. Снятие их с поста после совсем недавнего назначения могло быть истолковано «хозяином» как серьезный недостаток в работе с кадрами в Наркоминделе.

Впрочем, бывали случаи, когда Молотов считал нужным принять очень крутые, жесткие меры. Так, после подписания с Германией в августе 1939 года пакта о ненападении туда был назначен новым послом Шкварцев, работавший ранее директором текстильного института и пришедший в Наркоминдел по райкомовской путевке. Когда в ноябре 1940 года Молотов прибыл в Берлин на переговоры с Гитлером, он прежде всего вызвал Шкварцева, чтобы ознакомиться с политической ситуацией. Но его доклад оказался настолько беспомощным, что нарком после десятиминутного разговора предложил ему упаковать чемоданы и возвращаться домой. Вскоре послом СССР в Германии был назначен Деканозов, сохранивший также и пост заместителя наркома иностранных дел. А Шкварцев, вкусив соблазны заграничной жизни и тяготясь текстильной прозой, бомбардировал в годы войны Молотова записками, предлагая использовать «в трудное для Родины время» его «дипломатический опыт». Записки эти, разумеется, летели прямо в корзину.

Если в связи с допущенной в административном механизме оплошностью или недоработкой от Сталина поступало указание «найти и наказать виновного», то жертву следовало обнаружить

немедленно, даже не занимаясь длительными расследованиями. Тем более беспощадно расправлялись с каждым, кто вызывал малейшее недовольство вождя.

Вспоминается такой эпизод. Как-то Сталин отправил Рузвельту телеграмму, на которую ждал скорого ответа. Но прошел день, второй, третий, а от американцев ничего не поступало. Молотов поручил мне выяснить, не задержалась ли телеграмма по пути. Отвечал за прохождение правительственных посланий начальник шифровального отдела Наркоминдела, к которому я и обратился. Он навел справки и сообщил, что телеграмма без помех прошла к пункту, до которого простиралась наша ответственность. Дальше следили американцы, и, поскольку от них не поступало никакого сигнала, надо полагать, что все в порядке. Я все же предложил запросить американцев. Оказалось, что на их стороне произошла какая-то помеха, в связи с чем послание пришло в Вашингтон с двухдневным опозданием. Учитывая условия войны, когда всякое могло случиться, я пришел к выводу, что никакого ЧП не произошло. Так и доложил Молотову.

— Кто же виноват? — спросил он строго.

— По-видимому, никто, по крайней мере на нашей стороне…

— То есть как это никто не виноват? Что же я скажу товарищу Сталину? Он очень недоволен и распорядился найти и наказать виновных. А вы мне говорите, что виновных нет! Вы гнилой интеллигент!

Я стоял, опустив голову, не зная, что ответить.

— Что вы стоите, как истукан! — раздраженно выкрикнул Молотов. — Позовите Вышинского!

Я пулей вылетел из кабинета.

Вышинский был тогда первым заместителем наркома иностранных дел, но все мы помнили его как генерального прокурора, получившего зловещую славу во время политических процессов 30-х годов. Он-то найдет виновного, думал я, набирая по кремлевскому аппарату его номер.

Андрей Януарьевич не заставил себя ждать: спустя минут двадцать он уже входил к нам в секретариат. Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих. Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в приемную наркома он входил, как воплощение скромности. Видимо, из-за своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и Деканозова, последний даже при людях обзывал его не иначе как «этот меньшевик». Хотя Деканозов был вторым замнаркома, а Вышинский, будучи первым, курировал отношения с

Соединенными Штатами и Англией, приходилось часто наблюдать, как на запросы наших послов в Лондоне и Вашингтоне первым реагировал Деканозов: давал поручение составить ответ, сам подписывал телеграмму с теми или иными указаниями, а Вышинскому посылали ее копию, после того как она ушла по назначению. И Вышинский ни разу не набрался смелости протестовать.

Тем больший страх испытывал Вышинский в присутствии Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он входил к ним пригнувшись, как-то бочком, с заискивающей ухмылкой, топорщившей его рыжеватые усики.

Так было и на этот раз. Я последовал за ним. Молотов предложил мне доложить результаты моего, как он выразился, «жалкого расследования». Это был своеобразный сигнал Вышинскому о том, чего от него ждут. Когда я закончил, повторив, что не смог обнаружить виновного, Молотов обратился к Вышинскому:

— Товарищ Сталин требует расследования и строгого наказания виновных. Поручаю это вам…

— Все ясно, Вячеслав Михайлович. Разрешите идти?

Молотов кивнул. Я передал Вышинскому мою докладную, и тот бесшумно выскользнул из кабинета.

Молотов уже спокойным тоном принялся пояснять:

— В каждом промахе обязательно кто-то виноват. Что из того, что всегда проверяли прохождение телеграмм только на нашей стороне! А кто завел такой порядок? Надо было проверять всю линию. Кто-то же этот несовершенный порядок установил? А вы говорите — нет виноватого…

Вскоре мы узнали, что начальник шифровального отдела исключен из партии, снят с работы. Он навсегда исчез из нашего поля зрения. Задание товарища Сталина — найти и строго наказать виновного — было неукоснительно выполнено.

Молотов долго помнил этот инцидент. Заходя в нашу с Павловым комнату по какому-то делу, а это случалось нередко, он, видя мой приоткрытый сейф, шутливым тоном говорил:

— Ну вот, опять у этого гнилого интеллигента душа нараспашку, сейф не заперт, на столе разбросаны бумаги, входи и смотри. Ох, уж эти мне русские интеллигенты!..

Белая Церковь

К осени 1934 года поток туристов значительно уменьшился. Иностранцы, которые приезжали в деловые командировки, а их тоже обслуживал «Интурист», были в основном деловые люди, приглашенные советскими властями для участия в стройках пятилетки.

Среди них — немало американцев, помогавших сооружать Днепрогэс, первую плотину на Днепре и мощную гидроэлектростанцию. Одну такую группу поручили сопровождать мне.

Мы выехали поездом во второй половине дня и на следующее утро прибыли в Запорожье. Поскольку в пути нечего было рассчитывать на нормальное питание — в вагоне-ресторане подавали только водянистый чай с кусочком сахара и перловую кашу, интуристовский ресторан приготовил довольно обильный «сухой паек». Он обычно состоял из икры, крабов, ветчины, сыра, масла, белого хлеба, вареных яиц, джема в красиво оформленной баночке, пакетиков чая для заварки и сахара. Ничего похожего в магазинах уже давно не появлялось. Но ведь пищевая промышленность все это производила. Не может быть, думал я, что такой продукции хватает только для иностранцев. Конечно, высшее руководство страны тоже всем этим пользуется. Но наверняка продуктов питания выпускается значительно больше. Куда же все идет? Пока это оставалось для меня загадкой.

Имея в осенние и зимние месяцы много свободного времени, гиды киевского «Интуриста» использовали его по-разному. Одни записались на курсы повышения квалификации, другие принялись изучать дополнительный язык. Кое-кто взял отпуск за свой счет и занимался письменными переводами. Меня назначили временно исполняющим обязанности заведующего филиалом «Интуриста» в Шепетовке, на советско-польской границе, в то время — бойком месте. Из Шепетовки трижды в неделю отправлялся в Баку транс-иранский экспресс, которым пользовались западные бизнесмены, афганские торговцы каракулем, иранские нефтепромышленники, торговцы коврами, черной икрой. В ту и в другую сторону ехали транзитом дипломаты, представители фирм, просто любители приключений. Начинали и заканчивали тут свою поездку по Советскому Союзу и многие иностранные туристы. Польский поезд доставлял всю эту пеструю публику до советской границы. Его подавали к платформе с одной стороны шепетовского вокзала. Пассажиры проходили пограничный и таможенный контроль в большом зале

и направлялись к противоположной платформе, где их ожидал трансиранский экспресс.

Польский состав выглядел довольно непрезентабельно: сидячие места с продавленными диванами, давно не мытые окна, облупившаяся краска вагонов. Зато обслуживающий персонал поражал чисто шляхетской броскостью: синие френчи военного покроя, ярко-красные ремни и портупеи, фуражки-конфедератки с эмблемой белого орла и блестящим козырьком — все казалось весьма импозантным.

Наш трансиранский экспресс содержался на уровне мировых стандартов. Он состоял почти полностью из дореволюционных спальных вагонов бельгийского производства, оформленных снаружи под красное дерево, с медными, ярко начищенными поручнями и надписью латинскими буквами: «Sleeping car». Такие вагоны в первые послевоенные годы все еще можно было встретить на наших внутренних маршрутах. Вагоны представляли собой верх комфорта: просторные двухместные купе с широкими койками — одна над другой. Днем верхняя опускалась, образуя как бы спинку дивана. Все это покрывали голубоватым чехлом с длинной бахромой. Купе имело откидывающийся столик и обитое красным бархатом кресло. Ручки, вешалки, полки из латуни придавали всему богатый и нарядный вид. Между каждыми двумя купе находилось туалетное помещение, куда вела застекленная в стиле «арт нуво» дверца. Там стоял умывальник, а за занавеской был устроен душ. Уборные располагались по оба конца вагона, под умывальником в туалетном помещении купе стоял фаянсовый, разрисованный яркими цветами ночной горшок.

Проводники «спальных вагонов прямого сообщения» все как на подбор были солидные мужчины старорежимной выучки, сочетавшие предупредительность и заботу о пассажирах с чувством собственного достоинства. Они были одеты в коричневую форму с золотыми галунами и лампасами и в такого же цвета фуражки. Чай они заваривали поразительно вкусный и душистый, угощали длинненькими, завернутыми в фольгу сухариками. Каждое утро, а поезд шел до Баку три дня, проводники убирали постель, сметали пыль, протирали латунные предметы. В экспрессе имелся и хорошо обеспеченный продуктами и напитками ресторан с не менее обходительными официантами. Во всем поезде чувствовались строгий порядок, подтянутость, высокая дисциплина. Была ли это школа, еще сохранившаяся с царских времен, или железная рука сталинского наркома путей сообщения Кагановича — остается только гадать.

Мне приходилось встречать каждый польский состав, оказывать всяческое содействие интуристам, транзитным

пассажирам, в случае необходимости выписывать оплачиваемые валютой железнодорожные билеты, выполнять функции бюро по обмену денег — словом, предоставлять услуги в соответствии с интуристовскими правилами. За время моего пребывания на границе помимо туристов и деловых людей стало все больше приезжать беженцев из гитлеровской Германии — коммунистов, социал-демократов, лиц еврейской национальности. Разными путями они пересекали германо-польскую границу и направлялись в СССР как в надежное убежище. Мне дали указание помогать им, ссужать рублями, устраивать в Шепетовке на ночлег, если они прибывали не в дни отхода трансиранского экспресса. При моей конторе имелось несколько комнат, которые служили в таких случаях гостиницей. Иной раз появлялись целые семьи с детьми и стариками, но чаще всего одиночки или супружеские пары. Вечерами я их приглашал к себе или заходил к ним, и мы подолгу беседовали о событиях в Европе и Германии. Хотя им пришлось бросить все имущество и прибыть к нам без всяких средств, они радовались, что обрели вторую родину в советском государстве. Могли ли они подозревать, какая их ждет участь? Не мог и я этого предположить. Большинство из них в конечном счете попало в концлагеря и тюрьмы, будучи обвиненными в шпионаже и вредительстве по заданию гестапо!..

В конце декабря прибыл из Москвы новый заведующий шепетовским отделением «Интуриста», а я вернулся в Киев. Принялся изучать испанский язык, поскольку в следующем сезоне ожидался приезд туристов из Испании. В городе все еще было голодно, и питание, которое, хотя и скудное в отсутствие туристов, нам выдавали на кухне гостиницы «Континенталь», являлось подспорьем также и для семьи. Продуктовые карточки — отца (рабочая), мамина (иждивенческая) и моя (служащего) — позволяли отоваривать лишь самое необходимое в минимальном количестве. Правда, то, что полагалось, всегда имелось в магазине.

Приближался Новый год, и опять его невозможно было встретить как полагается. Но я и мой товарищ по Политехническому институту устроились неплохо. Его отец — директор хлебозавода в Белой Церкви, небольшого, но древнего городка, расположенного неподалеку от Киева, — в силу своей должности имел дом — полную чашу.

Модест — так звали сына директора хлебозавода — пригласил помимо меня на встречу Нового 1935 года также нашего общего друга, моего школьного товарища Георга, который учился в Киевском медицинском институте. Каждый из нас, естественно, был со своей девушкой. Лена, приятельница

Модеста, посещала техникум в Белой Церкви и ждала нас там. Георг пригласил Нину, подружку из своего института, а я предложил Кларе присоединиться к нам. За несколько месяцев совместной работы мы с ней сдружились: нередко со Степаном и его девушкой ездили на «линкольне» кататься за город, ходили в театр, с наступлением морозов — на каток стадиона «Динамо».

В середине дня 30 декабря 1934 г. мы всей ватагой вышли из вагона на перрон у кирпичного здания вокзала Белой Церкви. Погода стояла морозная, но ясная и солнечная. С хлебозавода за нами прислали сани, запряженные тройкой лошадей. Мы побросали наши вещички на солому, а сами примостились на крыльях розвальней. До дома Модеста, стоявшего на краю города, рядом с хлебозаводом, было довольно далеко, и прогулка на тройке нам доставила массу удовольствия. Дом окружал большой сад с высокими липами, при-. порошенными инеем. Сад спускался к реке, и одна из его аллей представляла собой прекрасную горку для катания на санках. На этой горке мы и провели весь остаток дня. Семья у Модеста была большая. Кроме отца, матери и бабушки — две сестренки и младший брат. Гостям все же смогли предоставить две комнаты. В одной разместились мы с Георгом, в другой — девушки.

Канун Нового года заняли приготовления к праздничному ужину. Девушки помогали на кухне, мы с Георгом и Модестом пилили дрова для печей и камина, рубили лед на речке, крутили домашнее мороженое. Потом собирали длинный стол, расставляли стулья. Елку домашние Модеста украсили еще до нашего приезда. Нам оставалось только прищепить подсвечники и вставить в них свечи. Наконец получили поручение носить на стол из кухни угощения. Никогда не представлял, что работа директора хлебозавода может обеспечить человеку такое невиданное в те годы изобилие. Тут были жареные и заливные поросята, окорока, всевозможные рыбные блюда, икра, семга, копченые угри, большие корзинки с фруктами, пирожные, торты. Несомненно, все это доставалось из-под полы или обменивалось на муку, хлеб, кондитерские изделия. А напитков вообще было не перечесть! И опять же я думал: значит, все это производят. Но почему держат в закромах?

В эти два дня мы не читали газет, не слушали радио. И потому для нас было неожиданностью, когда отец Модеста, придя с работы, сказал, что с 1 января 1935 г. отменяются хлебные и другие карточки. Все будет в свободной продаже. Всего будет вдоволь. Кончаются голодные годы. Мне просто не верилось, что такое может произойти. Народ измучился в бесконечных очередях за самым насущным. Сколько же всего надо, чтобы накормить

его? Трудно было представить, что можно будет вот так запросто пойти в магазин и купить все что угодно.

Встреча 1935 года в семье Модеста получилась на славу. Поздравляли друг друга, целовались, обнимались. Хотя и не очень верилось в поворот к лучшему, провозглашали тосты за «новый светлый этап» в нашей жизни и, конечно же, пили за Сталина, который, как и обещал, вывел нас на дорогу изобилия. Нас приучили благодарить Сталина за все, что в нормальной стране народ должен иметь по праву. Потом побежали в сад кататься с горки, жгли бенгальские огни, взрывали хлопушки. И снова возвращались к столу на шампанское и танцы.

Спать так и не ложились, тем более что 1 января тогда считался рабочим днем, и нам с Кларой надо было возвращаться в Киев. Когда, незадолго до шести утра, приехали на вокзал, у хлебного магазина стояла очередь. Я засомневался: не злая ли это шутка насчет торговли без карточек?

В Киеве магазины уже открыли, но и возле них толпились люди. Проезжая на трамвае по улицам города, я заметил, что многие стоявшие в голодные годы заколоченными магазины, а в последние месяцы закрытые ремонтными лесами осветили свои витрины и там выставлена всякая снедь. Но что интересно: очереди наблюдались примерно лишь одну неделю. Покупатели могли приобрести любое количество продуктов. Сперва брали по нескольку килограммов колбас, сыра, ветчины, хлеба. Но запасы магазинов не истощались. Со складов постоянно подвозили все новые продукты. И когда люди убедились, что снабжение остается устойчивым, толпы отхлынули. Надо было дома справиться с тем, что панически закупили.

После этого, вплоть до 1940 года, ситуация, по крайней мере в больших городах, пришла в норму. Так же было и в послевоенные годы, после того как в 1947 году объявили денежную реформу и отменили карточную систему. Только первую пару недель наблюдались очереди. После этого, благодаря постоянному притоку продуктов, ажиотаж исчез, и торговля пришла в норму. Крестьянам снова разрешили держать домашний скот и увеличили приусадебные участки.

В одной из бесед с Микояном я спросил, каким образом такой результат удалось достичь в 1935 и 1947 годах? Он ведал тогда не только внешней, но и внутренней торговлей и хорошо знал, как это делалось.

— Прежде всего, — объяснил он, — путем строжайшей экономии и одновременного наращивания производства удалось накопить большие запасы продуктов и товаров народного потребления. Сталин лично следил за этим и строго наказывал

нерадивых производственников. Провели огромную работу по доставке всего этого к местам назначения, оборудовали склады и холодильники, обеспечили транспорт для развоза по магазинам, особенно в пиковый первоначальный период, когда люди еще не поверили в стабильность рынка. Заранее отремонтировали и красиво оформили магазины, мобилизовали продавцов на специальные курсы. И строго предупредили работников торговли, что за малейшее злоупотребление, сокрытие товара и спекуляцию те ответят головой. Пришлось нескольких нарушителей расстрелять. Но главное — не растягивать снабжение, не выдавать его по чайной ложке, а выбросить в один день во все промышленные центры. Только это могло дать нужный эффект.

Сейчас некоторые наши исследователи утверждают, что тогда снабжали только Москву и еще два-три крупных города. Это неверно. Летом 1935 года мне пришлось с группами интуристов побывать во многих городах. Я специально заходил в магазины, смотрел, чем торгуют. Везде был хороший ассортимент продуктов и товаров. А главное — отсутствовали очереди и никто не приезжал в крупные города за продуктами.

Конечно, тогда были специфические условия. Был страх и были жестокие расправы с нарушителями правил торговли. Вероятно, принимались и меры по ограничению въезда посторонних в города. Но параллельно шло и улучшение положения в деревне. Разрешили иметь в личном хозяйстве крупный рогатый скот, поощряли работу на приусадебных участках. Да и колхозникам, не видящим иного выхода, находившимся в тисках железной дисциплины, пришлось работать на обобществленных полях лучше, чем раньше.

Если перечислить продукты, напитки и товары, которые в 1935 и 1947 годах появились в магазинах, то мой советский современник, пожалуй, не поверит. В деревянных кадках стояла черная и красная икра по вполне доступной цене. На прилавках лежали огромные туши лососины и семги, мясо самых различных сортов, окорока, поросята, колбасы, названия которых теперь никто не знает, сыры, фрукты, ягоды — все это можно было купить без всякой очереди и в любом количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с колбасами, ветчиной, сырами, готовыми бутербродами и различной кулинарией. На больших противнях были разложены отбивные и антрекоты. А в деревнях в любом дворе в жаркий день, так же как и при нэпе, вам выносили кружку молока или холодной ряженки и не хотели брать деньги.

Кое-кто скажет, что вот, мол, работала же административная система! Но ведь она действовала только под прессом принуждения и страха. И не следует забывать, что в лагерях в

нечеловеческих условиях миллионы ссыльных, хотя и рабским способом, создавали государству материальные ценности, которыми жесткая система регулирования могла распорядиться.

Возможность иметь в личном пользовании в определенных нормах крупный рогатый скот, птицу, свиней и другую мелкую живность играла большую роль. Когда тяжелые голодные военные 1941–1945 годы миновали, крестьяне воспользовались этой возможностью и, несмотря на то что продукция колхозов выметалась государством подчистую, все же имели, чем накормить семью, и даже кое-что привозили на продажу в город. Это поддерживало удовлетворительный уровень снабжения в крупных населенных пунктах вплоть до конца 50 — начала 60-х годов, когда необузданная фантазия Хрущева выдвинула лозунг о ликвидации разрыва между городом и деревней.

Утверждая, что колхозы и совхозы в состоянии прокормить все население страны, он прежде всего урезал приусадебные участки и потребовал резкого сокращения скота в личных хозяйствах. Затем возникла нелепая идея строить на селе многоэтажные жилые дома городского типа и переселять крестьян из индивидуальных домов в квартиры. Тем самым многие семьи потомственных землепашцев оказались полностью оторванными от земли и лишились возможности иметь хоть какой-то скот или птицу.

Результат этой авантюры не замедил сказаться. Уже к середине 60-х годов начал резко сокращаться объем сельскохозяйственной продукции. Вопреки расчетам властей колхозники, потерявшие свои личные хозяйства, не стали лучше работать в колхозах и совхозах.

В итоге они оказались не в состоянии обеспечить городское население необходимыми продуктами, а отдача с приусадебных участков резко упала. Крестьянские дети, выраставшие в квартирах городского типа, не чувствовали привязанности к земле и не получали навыков обращения с животными. Повзрослев, они всеми правдами и неправдами стремились убежать в город. Деревни стали быстро стареть и обезлюдели.

Неудивительно, что сейчас деревенское население винит в упадке села не столько Сталина (ведь уже почти не осталось тех, кто в сознательном возрасте пережил ужасы насильственной коллективизации), а Хрущева, отобравшего последнюю корову и ввергнувшего деревню в нищету и разорение.

С тех пор как Хрущев на весь мир похвастал, что обобществленное сельское хозяйство позволит СССР в короткие сроки догнать и перегнать США и обеспечит изобилие советским гражданам, которые, как он уверял, уже в 80-е годы будут жить

при коммунизме, в колхозы и совхозы вложили десятки миллиардов рублей. Сотни тысяч тракторов и комбайнов были переданы обобществленному сельскому хозяйству. Огромные затраты пошли на освоение целинных земель. А результат? Ныне мы по-прежнему вынуждены закупать за валюту зерно и другие продукты питания за рубежом, а в стране пришлось вводить карточную систему.

«Истерика» Молотова

Помимо служебных апартаментов в Кремле секретариат Молотова занимал также целый этаж в здании Наркоминдела на Кузнецком мосту. Тут же находился и кабинет наркома, состоявший из трех комнат: зала заседаний, где стоял длинный стол с рядами стульев, и собственно рабочего помещения с письменным столом и еще одним небольшим столом для переговоров со сравнительно небольшим числом участников. Дальше шла так называемая комната отдыха с небольшой ванной. Убранство комнаты отдыха состояло из тахты, на которой можно было вздремнуть, и круглого столика. На нем постоянно стояли ваза с цветами, южные фрукты и тарелочка с очищенными грецкими орехами — любимым лакомством Молотова. Свежие фрукты несколько раз в неделю доставляли специальными самолетами с Кавказа и из Средней Азии, причем не только в мирное время, но и в дни войны.

В тяжелейшую годину, когда самых необходимых продуктов едва хватало для армии и миллионы советских людей жили впроголодь на скудном пайке, приезжавших в Москву иностранцев неизменно поражало фантастическое изобилие кремлевских банкетов и приемов. Столы буквально ломились под тяжестью яств и напитков. Красная и черная икра, семга и лососина, форель и стерлядь, жареные поросята, барашки и козлята, фаршированные индейки, горы овощей и фруктов, целые батареи крепких напитков и всевозможных вин, торты из мороженого — все это, по мысли Сталина, должно было убедить западных гостей, что дела у нас не так уж плохи.

Окна комнаты референтов в секретариате наркома на Кузнецком мосту выходили во дворик. Комната находилась рядом с помещением обслуживающего персонала. Каждое утро мимо нас по коридору проносили большие термосы и корзинки с провиантом для наркома на случай, если он в обеденное время окажется здесь. Та же операция проделывалась и в апартаментах Молотова в Кремле. Продукты для высшего руководства выращивались и приготовлялись на специальных фермах и комбинатах под строгим наблюдением особого отдела правительственной охраны. Руководил этим деликатным и считавшимся чрезвычайно ответственным делом высоченный главный повар «хозяина» из НКВД Игнаташвили, которого Сталин, очень опасавшийся потенциальных отравителей, всячески ублажал, присвоив ему генеральский чин.

В том же здании на Кузнецком находилась наркоминдельская

пошивочная мастерская, где высшему составу наркомата по специальным талонам можно было сшить костюм. В 1942 году, уже работая помощником Молотова, я получил пару таких талонов и заказал два костюма — темно-коричневый и светлосерый в елочку. Вскоре обновки были готовы, и в один из весенних дней я отправился на работу в сером костюме. Собрав бумаги для доклада наркому, вошел к нему в кабинет и увидел, что Молотов одет точно в такой же серый костюм в елочку. Я сразу ощутил неловкость и неуместность такого совпадения. Молотов тоже взглянул на меня весьма неодобрительно и произнес:

— Как же вас угораздило сшить такой же костюм, как у меня? Ведь это что же получается? Будем принимать иностранцев вроде как в униформе…

— Мне очень неприятно, что так получилось. В мастерской не было никакой другой светлой ткани, и я остановился на этой. Теперь не знаю, что и делать.

— Вы тут, собственно, не виноваты. Этот болван портной Журавский должен был подумать, прежде чем предлагать наркому расхожую ткань…

В перерыв я переоделся в темно-коричневый костюм и серый больше не надевал. Молотов тоже носил свой в елочку крайне редко. Может быть, тогда и возникла идея создать особую форму для работников Наркоминдела?

За все годы работы с Молотовым я, пожалуй, лишь один раз видел его в состоянии крайнего возбуждения. Это было в 1944 году, когда в Москву прибыла шведская миссия для ведения с советским правительством переговоров о перемирии с Финляндией. Я не имел непосредственного отношения к этому делу, однако знал, что переговоры проходят трудно, что челночные поездки шведов в Стокгольм и обратно, с точки зрения советской стороны, не приносят желаемых результатов, что финны упорно отказываются принять советские предложения.

Судя по всему, в то время советские руководители были действительно заинтересованы в урегулировании конфликта с Финляндией. Готовилось крупное наступление в Польше, и важно было высвободить части Красной Армии, задействованные на Севере, использовав их для усиления центральной группировки перед штурмом немецких укреплений на Одере, а также в Восточной Пруссии. Между тем имелись агентурные данные, согласно которым в Хельсинки недавно побывал Риббентроп, уговаривавший финнов не идти на перемирие с СССР и обещавший им дополнительную военную помощь. Сообщалось также о прибытии в Финляндию новых партий современного

немецкого оружия и воинских соединений. Все это могло затянуть войну с Финляндией, что Москва считала нежелательным. В нескольких последних посланиях Рузвельта Сталину также высказывалась заинтересованность Вашингтона в урегулировании советско-финского конфликта на не слишком уж тяжелых условиях для Финляндии. Советская сторона была готова отказаться от требования о безоговорочной капитуляции Финляндии, но все же настаивала на передвижке границы и предоставлении Советскому Союзу военных баз, что в общем отвечало бы положениям мирного урегулирования от марта 1940 года. В этих условиях упорство финнов было вовсе некстати.

Уж не помню, по какому случаю в Доме приемов на Спиридоновке был устроен большой прием. Среди приглашенных находились аккредитованные дипломаты, советские руководящие деятели, высшие командиры Красной Армии, а также шведская миссия. Поначалу все шло чинно и благородно. В залах вокруг длинных столов со всевозможными напитками и закусками толпились гости. Другие, с бокалами вина, стояли в сторонке, беседуя друг с другом.

Я видел, как Молотов прошел с турецким послом в Красную залу. Их сопровождал второй по рангу, после Козырева, помощник Молотова по Наркоминделу Подцероб. Он владел французским языком и переводил беседы с теми дипломатами, которые не говорили по-английски. Поэтому я мог воспользоваться несколькими свободными минутами, чтобы немного перекусить.

Вдруг к нам из Красной залы донесся какой-то необычный шум, послышались громкие возгласы, среди которых выделялся голос Молотова. Он сильно заикался значит, был чем-то крайне раздражен.

Я поспешил к нему и, войдя в залу, увидел собравшихся вокруг наркома послов США, Англии, Японии, Китая и других стран, а также весь состав шведской миссии. Резко жестикулируя, что он делал очень редко, Молотов выкрикивал:

— Мы больше не намерены терпеть упрямство финнов! Если эти засранцы и дальше будут упорствовать, мы их сотрем в порошок! Мы не оставим камня на камне! Пусть не считают нас простаками. Мы знаем об их шашнях с гитлеровцами. Нас не п-п-проведешь! Если они хотят продолжать войну, они ее п-п-получат. Нет такой силы, чтобы остановить Красную Армию…

Помощники и ребята из охраны пытались успокоить разбушевавшегося наркома. Кто-то его увещевал:

— Вячеслав Михайлович, уже поздно, вам надо возвращаться в Кремль…

Охранники осторожно взяли его под руки, подталкивая к выходу. Но он всякий раз вырывался:

— Оставьте м-м-меня, я сам знаю, что делать! Эти упрямые ослы еще пожалеют о своем глупом упорстве! Мы им п-п-покажем…

Гости, пожалуй, ни разу не присутствовавшие при такой сцене, с удивлением и опаской поглядывали на всегда казавшегося лишенным эмоций Молотова. Поначалу и мне подумалось, что он, быть может, выпил лишнего и потерял контроль над собой. Все это было так странно. Наконец нам удалось оттеснить его от публики, вывести в коридор и дальше к выходу. По пути он продолжал выкрикивать ругательства в адрес финнов, а когда его усадили в машину, пытался выбраться из нее.

В конце концов он уехал, сопровождаемый двумя лимузинами с охраной. И сразу же особняк покинули все послы. Они явно спешили отправить своим правительствам депеши о столь сенсационном инциденте и об угрозах Молотова уничтожить Финляндию.

На следующее утро Молотов вызвал меня в свой кабинет. Он был в хорошем расположении духа, лукаво усмехался.

— Вы ведь были вчера на приеме? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Расскажите подробно, что там произошло.

Я стал воспроизводить в общих чертах то, чему был свидетелем.

— Нет, — перебил он. — Говорите все как было, без купюр. Что я сказал, как отнеслась публика?

Мне было неловко воспроизводить его ругательства, но пришлось все повторить, почти слово в слово.

— Мне кажется, что гости были очень шокированы, даже испуганы, — закончил я свой отчет.

Молотов остался явно доволен. Он отпустил меня со словами: «Очень хорошо, прекрасно». И я понял, что вчерашняя сцена была им специально разыграна, скорее всего даже согласована со Сталиным, а может быть, была и задумана самим «хозяином». И Молотов радовался тому, что хорошо выполнил задание вождя. Шведов, а через них и финнов он изрядно напугал. Всполошились также американцы и англичане. Теперь и они нажмут на Хельсинки. Ведь никто сейчас не может сомневаться в способности советских войск быстро разделаться с финнами и даже оккупировать всю страну. И если его вчерашний «взрыв» приняли за чистую монету, тем лучше. Теперь финны будут сговорчивее.

И действительно, вскоре шведы сообщили, что Хельсинки

готов к серьезным переговорам, а спустя некоторое время в Москву прибыла и финская делегация. Было наконец заключено перемирие.

Подобные политические приемы, нередкие в прошлые времена в истории дипломатии, по нынешним стандартам могут показаться авантюрными и даже аморальными. Ведь ясно, что, если бы угроза Молотова была выполнена, это серьезно осложнило бы отношения Советского Союза с США и Англией. После кровавого опыта «зимней войны» Сталин, несомненно, понимал, что держать финнов в подчинении даже ему будет не так-то просто. Здесь следует искать одну из причин, по которым, получив согласие Гитлера на то, чтобы Финляндия относилась к советской сфере интересов, он не уготовил ей судьбу Прибалтийских государств.

Молотов, уже будучи на пенсии, объяснил это следующим образом:

— Финляндию пощадили… Умно поступили, что не присоединили к себе. Имели бы рану постоянную… Там ведь люди очень упорны… Там и меньшинство было бы очень опасно. А теперь понемногу можно укреплять отношения. Демократической ее сделать не удалось, так же как и Австрию. Хрущев отдал финнам Порккала-Удд. Мы едва ли отдали бы…

Видимо, Сталин и Молотов поначалу рассчитывали уготовить Финляндии, да и Австрии, судьбу восточноевропейских «народных демократий». Но это кремлевским властителям не удалось. Представляется поэтому, что, если бы финны не поддались на молотовский шантаж, Сталин вряд ли пошел бы на оккупацию Финляндии. Но тогда для него возникла бы опасность «потерять лицо», что было бы большим унижением. Ему ведь уже пришлось потихоньку положить под сукно быстротечный «договор» с призрачным правительством Куусинена, подписанный в его, Сталина, присутствии в Кремле осенью 1939 года. Но он просчитался, решив, что, после того как советские войска заняли тогда Терриоки, вся Финляндия уже находится в его руках. И все же Сталин и Молотов рисковали в данном случае, можно сказать, с благородной целью: побудить финнов пойти без промедления на перемирие. Спектакль удался. Хотя, надо полагать, и сами финны к тому времени пришли к выводу, что пора договариваться с Москвой.

Предвоенное время

С первых месяцев 1935 года жизнь заметно улучшилась, а уже к лету вполне нормализовалась. Правда, нэповского изобилия достичь не удалось, но люди вздохнули свободней, подкормились, и формула Сталина «жить стало лучше, жить стало веселее», казалось, находила подтверждение. Как будто реализовалась и вторая часть формулы: «…а когда жить веселее, работа спорится». Не допускалась, как в 20-е годы, частная инициатива, но сектор государственной торговли и обслуживания начал функционировать, облегчая жизнь.

В Киев из Харькова переехало правительство Украины. Это рассматривалось не только как дань славе исторического центра древней славянской державы, но и как свидетельство укрепления безопасности советского государства, более не опасающегося близкого соседства буржуазной Польши. У многих из нас создавалось впечатление, что страшные жертвы начала 30-х годов были ненапрасны и что в конечном счете Сталин был прав, круто поменяв уклад страны и направив ее по пути индустриализации и обобществления сельского хозяйства.

Летним солнечным утром в интуристовской гостинице «Континенталь» царил невероятный ажиотаж. Незнакомые молодые люди в штатском, но с военной выправкой расставляли в вестибюле огромные, позаимствованные в городском музее изящных искусств, китайские вазы со свежесрезанными ярко-красными розами. Швейцары расстилали ковровые дорожки, натирали воском дубовые лестничные поручни. Продавщица в киоске репетировала наиболее привлекательную улыбку. Так не встречали даже самых богатых интуристов. Не требовали и у нас никогда, как на сей раз, предъявления служебного удостоверения.

Прошмыгнув через вестибюль и зайдя в отдел обслуживания, я спросил Файнберга, что случилось.

— Готовим «люкс» для важного гостя из Харькова, — ответил он, понизив голос.

— А кто это?

— У нас временно остановится Постышев. Его постоянное жилье еще не готово. Только советую об этом не распространяться. На вопросы иностранцев отвечайте, что не в курсе дела…

Уже тогда все, что имело отношение к высшим руководителям, начало окутываться тайной. Хотя сам Павел Петрович Постышев, секретарь Центрального Комитета КП(б)У [Коммунистической партии (большевиков) Украины] держал себя

просто. За пару недель, пока он жил в «Континентале», я несколько раз с ним сталкивался в вестибюле и на лестнице. Он всегда приветливо здоровался, иной раз задерживался, запросто спрашивая, какие приехали туристы, чем интересуются, нравится ли им Киев.

Остальные руководители республики — Косиор, Любченко, Чубарь, Петровский сразу въехали в приготовленные для них особняки. Ремонт же в резиденции Постышева закончить не успели. Эта вилла, расположенная в Липках, напротив Мариинского парка, совсем рядом с нашим домом, до революции принадлежала крупному сахарозаводчику Зайцеву. Построенная в стиле барокко, изящная, воздушной легкости, она представлялась мне, пожалуй, уж слишком роскошной для пролетарского вождя. Впрочем, и другие особняки республиканского руководства ей не уступали. Например, дворец Петровского, председателя УЦИК (Украинского Центрального Исполнительного Комитета), что равнозначно посту президента республики. Этот старый революционер, сидевший по царским тюрьмам, перебивавшийся с хлеба на воду в эмиграции, не постеснялся вселиться в здание, напоминавшее шотландский замок, — из серого гранита, с высоченными стрельчатыми окнами, зубчатыми башнями, мраморными колоннами у парадного подъезда. Украинские «вожди» разъезжали в «бьюиках» и «линкольнах». Такой, в сущности, «буржуазной» роскошью Сталин коррумпировал старых большевиков. Возможно, кое-кто из них поначалу и тяготился подобными благами, очень далекими от жизни «слуги» народа, но скоро убеждался, что отказ от них гневит вождя, вызывая его язвительные замечания насчет «дешевой популярности» и «показного демократизма». Самое главное в сталинской системе привилегий заключалось в том, что эти дворцы с многочисленной челядью не принадлежали «красным вельможам». Они ими пользовались лишь до тех пор, пока имели расположение «хозяина». Он мог в любой момент — из-за непослушания, подлинной или мнимой крамолы — лишить их всего. Обычно заодно он лишал их и жизни.

Постышев, который был также и секретарем городского комитета партии, хотя вскоре и въехал в особняк, продолжал держаться скромно. Нередко один прогуливался вокруг своей виллы. Пользовался не зарубежным авто, а советским «газиком» с брезентовым верхом. Такие машины начал выпускать Горьковский автозавод, построенный с помощью Генри Форда. Усилиями Постышева Киев украсился яркими цветниками. Булыжные мостовые были заасфальтированы. В Мариинском парке соорудили концертную «раковину», и каждый летний вечер там

давали на открытом воздухе бесплатные концерты. На улицах появилось множество лотков со всякой снедью. В Пассаже, около «Континенталя» и в других районах города открылись детские кафе, где подавали разнообразные виды мороженого клубничное, ореховое, фисташковое, шоколадное, сливочное.

Постышев часто бывал на заводах, знал многих рабочих по именам, помогал разрешать возникшие проблемы. Он, мне кажется, пользовался неподдельной популярностью. Появилась даже такая поговорка: сделать работу на «три П» Павел Петрович Постышев. Все это, видимо, и насторожило Сталина. Он не терпел популярности у других, усматривая в этом опасное «соперничество». Возможно, что и коллеги Постышева из украинского руководства нашептали «вождю народов» о «нетрадиционном» поведении секретаря КП (б) У. Но главное заключалось в том, что на состоявшемся в 1934 году съезде партии, окрещенном Сталиным «съездом победителей», Постышев, так же как Чубарь и Косиор, находился в числе тех, кто ратовал за замену Сталина на посту генсека Кировым — членом политбюро и секретарем ленинградской партийной организации. При выборах Центрального Комитета Киров получил подавляющее большинство голосов. Да и большая часть членов ЦК, в свою очередь, предпочитала Кирова Сталину. Однако Киров отклонил предложение стать генеральным секретарем. Более того, он сообщил обо всем Сталину.

— Спасибо, — поблагодарил «вождь народов», — этого я тебе никогда не забуду…

И не забыл. В начале декабря Киров был убит. Избирательные бюллетени с перечеркнутым именем Сталина уничтожили. А вскоре начались аресты делегатов «съезда победителей» и членов ЦК, которых Сталин подозревал в «неверности». Репрессии коснулись и украинского руководства.

Первым исчез Постышев, герой гражданской войны, победитель японцев и других интервентов на Дальнем Востоке. Позже мы узнали, как происходило такое исчезновение. Руководителя вызывали в Москву по срочному делу. Ничего не подозревая, он садился в «международный» спальный вагон ночного экспресса в Киеве (или в столице любой другой республики). В пути поезд делал только одну остановку. Глубокой ночью на станции «Хутор Михайловский» в вагон входило несколько вооруженных людей в форме НКВД. Старший приказывал проводнику постучать в дверцу купе. Дверца открывалась, и направлявшийся в Москву руководитель оказывался перед дулами пистолетов. Остальные пассажиры спокойно спали, а тем временем «арестанта» под вооруженным

конвоем переводили в прицепленный в конце состава спецвагон с зашторенными и зарешеченными окнами. В Москве прямо с Киевского вокзала обреченного на смерть доставляли в подвалы Лубянки. Туда препроводили вслед за Постышевым и Чубаря. Любченко — он был председателем Совета Народных Комиссаров Украины, — понимая, какая участь его ждет, попрощался с молодой красавицей женой, заперся в кабинете своего роскошного особняка и застрелился. Несколько позже арестовали и расстреляли первого секретаря КП(б)У Косиора. Это произошло вскоре после того, как Сталин послал на Украину своего нового наместника — Хрущева. Петровскому повезло. Он отделался тюрьмой. Был выпущен после смерти Сталина и даже получил пост директора Музея революции.

Все это происходило несколько позже, а летние месяцы 1935 года казались счастливыми и лучезарными. Остались позади голодные годы. Жизнь сулила много интересного. Мы с отцом в складчину приобрели небольшую — всего на четыре человека — парусную яхту. В свободные дни с друзьями — ребятами и девушками при попутном ветре поднимались далеко вверх по Днепру, мимо Межигорья и Вышгорода, где когда-то на высоком холме стоял дворец князя Владимира будущего святого, крестителя Руси — с гаремом на 300 наложниц. В устье Десны, притока Днепра, разводили костер, жарили шашлыки, пекли картошку. Подбрасывая в огонь прутики красной лозы, вдыхали ароматный дымок, напоминавший запах спелых яблок. Вечерами под раскидистыми липами Мариинского парка слушали классику в исполнении оркестра киевской филармонии.

Последнее лето моей работы в «Интуристе» было особенно интересным. Приезжих стало еще больше, чем в 1934 году, и приходилось, сопровождая их, много ездить по стране. На станциях снова царило оживление: бабки из соседних деревень предлагали ягоды, фрукты, ряженку в горшочках с запекшейся корочкой, вареную кукурузу, копченую рыбу. Чувствовалось постепенное возрождение деревни после шока коллективизации. В Москве, Ленинграде, Харькове, Одессе, где довелось тогда побывать, жизнь тоже нормализовалась. Казалось, что страна наконец вступает в благополучную полосу. Когда начались аресты украинских руководителей, вместо тех, кого забирали, приходили другие, потом забирали и этих, и в результате люди уже не могли запомнить имен своих новых руководителей, что, по крайней мере в моем сознании, не омрачало нашей повседневной жизни.

Пожалуй, только арест командующего Украинским военным округом, героя гражданской войны Якира, разделившего участь Тухачевского и других талантливых руководителей Красной

Армии, вызвал у меня сомнение. Мне стало жалко Якира высокого, красивого, еще совсем молодого. Он тоже имел прекрасный особняк в Липках, и я часто видел, как он проезжал мимо наших окон в открытом голубом «бьюике» в сопровождении интересной рыжеволосой дамы. Не верилось, что этот смелый, решительный полководец, так много сделавший для победы советской власти на Украине, оказался «шпионом», «вредителем» и «врагом народа».

Работа в «Интуристе» требовала полной отдачи. Мы были заняты с раннего утра до поздней ночи, фактически без выходных дней, а в поездках по стране общались с туристами, по сути, круглосуточно. Но ожидание новых встреч с людьми из разных стран — Англии, США, Австрии, Германии, Италии, Греции, Японии, Индии, возможность беседовать с ними, всякий раз узнавая что-то новое, и, в свою очередь, знакомить их с нашей страной — все это давало огромное внутреннее удовлетворение. У каждого из них были свои интересы, своя специальность. По их желанию мы устраивали профессиональные встречи. Иной раз приходилось чуть ли не весь день проводить в судебном заседании или в пожарной команде, переводить беседу в профсоюзной организации или с писателями, художниками, музыкантами, профессорами и студентами. Немало было и просто увеселительных прогулок по Днепру. Специалистов — аграрников и фермеров, а их было немало среди интуристов, возили в Голосеевский лес, где находился новый Украинский сельскохозяйственный институт. Дорога туда вела живописная — с крутыми поворотами, подъемами и спусками, мимо озер и густых зарослей шиповника. Приятными не только для туристов, но и для гидов всегда были экскурсии в древние монастыри и церкви, многие из которых тогда еще сохраняли свой первозданный вид.

Неизгладимое впечатление производила на всех Кирилловская церковь в Куреневке, пригороде Киева. Ее соорудили в XIII веке, а в начале нынешнего столетия основательно отреставрировали. По возможности освободили от вековой пыли и копоти византийские фрески и мозаику, а свободные стены и своды украсили работами лучших живописцев того времени. До глубины души поражала гениальная роспись Врубеля на хорах «Сошествие Святого Духа». За церковной оградой находилась лечебница для душевнобольных, и Врубель, страдавший приступами меланхолии, провел в ней некоторое время. Это позволило ему выбрать для росписи Кирилловской церкви натурщиков среди пациентов лечебницы. Получилась сильнейшая по психологическому воздействию галерея

портретов. На посетителя со сводчатого потолка взирают двенадцать апостолов. В глазах и в выражении лиц чувствуется движение души. У каждого индивидуальное восприятие надвигающейся трагедии — распятия их учителя, Иисуса Христа.

Просто праздником для нас, группы гидов, была поездка в Одессу, куда прибыл итальянский лайнер «Юлий Цезарь» с туристами. Пассажиры со всей Европы совершали круиз по Средиземному и Черному морям. Для них предусматривалась поездка в Киев. Нужны были переводчики со знанием английского, немецкого, французского, испанского, итальянского языков. Поскольку возможности киевского «Интуриста» были ограниченны, к нам присоединилось несколько ленинградских и московских коллег. Все это была молодежь.

Путешествие в Одессу оказалось веселым и приятным. Роскошь итальянского судна, экстравагантные туалеты пассажирок, экзотика итальянской кухни, потом поездка в экспрессе, целиком состоявшем из спальных вагонов первого класса, два дня экскурсий по городу и возвращение на итальянский лайнер. Тогда я, пожалуй, впервые остро ощутил, насколько жизнь в нашей стране далека от Запада. Но это не воспринималось как преимущество капиталистической системы над социалистической. Мы считали, что в таком круизе могут участвовать лишь очень богатые, тогда как трудовой народ в западных странах прозябает в нищете. В то время в какой-то мере так и было. Мы в Советском Союзе верили, что создаем строй, в котором все будут равны и счастливы. Нам вовсе не казалось необходимым иметь такую роскошь, какой себя тешат капиталисты…

По мере увеличения потока интуристов расширялся и штат гидов. К нам пришел полиглот Зязя Липман, владевший пятью языками, очень веселый и остроумный парень, лет на пять старше меня. Но это не помешало нам подружиться. Мы вместе проводили все свободное время. Зязя вскоре ввел меня в свою несколько богемную, шумную компанию очень талантливых ребят. Некоторые из них стали впоследствии известными живописцами, музыкантами, литераторами. Среди них выделялась очень красивая девушка Валя Кулакова. Она прекрасно пела, играла на рояле, рисовала. Вокруг нее неотступно вертелись поклонники. Зязя хвастал, что имел с ней роман, но я этому не верил: уж очень она была со всеми ровна и неприступна. Ее отец — знаменитый кардиолог — лечил все высшее украинское руководство и жил на широкую ногу. Имел роскошную квартиру в доме на углу Левашовской и Лютеранской, лето проводил на даче в Межигорье. В городской квартире

оставалась одна Валя, и тут часто собиралась веселая ватага Зязькиных друзей. Оставаясь ко всем одинаково равнодушной, Валя Кулакова любила поддразнивать своих ухажеров: к примеру, встречала гостей, сидя на чемоданах, уверяя, что переезжает в Москву. Ошеломленные обожатели умоляли не покидать их. Валя оставалась неумолимой. Разыгрывалась сцена расставания, кое-кто пускал слезу, а в конце она объявляла, что пошутила, и все с облегчением садились за веселый ужин. А то как-то объявила, что выходит замуж, и пригласила всех на последнюю девичью вечеринку, тоже оказавшуюся выдумкой. Однажды по нашей цепочке разнеслась ужасная весть: Валя Кулакова внезапно скончалась от сердечного приступа. Нас приглашали прийти проститься. В назначенный час у подъезда собралась скорбная группа. Зязька с траурной повязкой на рукаве, стоя в дверях, просил подойти к балкону Валиной спальни.

— Такова была воля покойной, — пояснил он, едва сдерживая рыдания.

Мы послушно сгрудились на тротуаре, задрав головы. И вдруг дверь из спальни распахнулась, и на балконе появилась Валя, совершенно нагая, — только туфельки и черная шляпка с вуалью.

Смеясь и чертыхаясь, мы вбежали на второй этаж и столпились в гостиной. Через пару минут вышла Валя в длинном черном платье, закрытом до ворота, и принялась как ни в чем не бывало разливать чай…

Сейчас у молодого поколения, читающего о тяготах, ужасах и кровавых расправах 30-х годов, создается впечатление, будто жизнь в Советском Союзе была тогда беспросветной, мрачной, полной страха, горя и слез. Это и так, и не так. Те, кого не коснулась беспощадная рука террора, жили, как и везде, своими заботами и радостями. Видя, что положение улучшается, люди надеялись на дальнейший прогресс и полагали, что худшее осталось позади. Молодежь в большинстве своем снова заразилась энтузиазмом, работала, училась, дурачилась, влюблялась, словом, жила полной жизнью.

Но молодые люди моего поколения помнили, что СССР — единственная в мире страна, строящая социализм и находящаяся во враждебном окружении. Мы считали, что надо быть готовыми ко всяким случайностям, и поэтому одни увлекались прыжками с парашютом, другие, в добровольных группах, готовились стать летчиками. Я вместе с несколькими друзьями записался в отряд связистов. Кое-что я уже смыслил в этом деле, поскольку на протяжении ряда лет мастерил радиоприемники, а кроме того, имел специальность электромонтера. На занятия мы ходили в военизированной форме цвета хаки, с ремнем и портупеей через

плечо. Форма эта походила на гимнастерки немецких коммунистов к потому называлась «юнг штурм». Нашим шефом был полк связистов, и мы летом несколько недель проводили с ними в лагерях, участвуя в полевых учениях.

С сентября 1935 года начались занятия на 4-м курсе вечернего отделения Политехнического института, и надо было переходить на работу по специальности. Пришлось распрощаться с «Интуристом». Меня приняли техником в конструкторское бюро завода «Ленинская кузница». Верфь, в проектировании которой участвовал мой отец, уже построили, и в затоне, близ Подола, начался выпуск пассажирских пароходов и буксиров. То были еще суда с расположенными по обе стороны корпуса гребными колесами. Мне поручили выполнять рабочие чертежи механизма, приводящего в действие деревянные плицы. После того как чертеж был готов на ватмане, его должны были переносить на кальку копировщицы. Мне приглянулась одна из них — хорошенькая, веселая девушка Галя. Мы с ней сдружились, а в декабре 1940 года и поженились, когда, после многих приключений и передряг, меня назначили 1-м секретарем посольства СССР в Германии.

Работа и занятия поглощали весь день. Время летело быстро. Только по воскресеньям, в единственный тогда выходной, можно было отдохнуть и развлечься. Летом увлекались прогулками на парусной яхте, зимой лыжами, коньками и катанием на санках с горки.

В эти годы поднялась новая волна репрессий. За арестом маршала Тухачевского и других высших командиров Красной Армии стали исчезать многие технические специалисты, ученые, писатели, артисты. Эта мясорубка затронула лишь несколько знакомых мне семей. И потому мне все еще казалось, что в новой волне террора есть какой-то смысл: ведь других-то она обошла. Не значит ли это, что те, кого забрали, быть может, действительно в чем-то повинны?..

Весной 1938 года я защитил дипломную работу, успешно окончил институт, получил специальность инженера-технолога и был направлен на знаменитый революционными традициями киевский завод «Арсенал», числившийся в оборонном реестре под номером 393. Там производились артиллерийские орудия. Мне предстояло стать оружейником.

Но судьба распорядилась по-иному.

Глава пятая

Сталин и Рузвельт

Среди зарубежных государственных деятелей, которых мне довелось близко наблюдать, наибольшее впечатление оставил Франклин Делано Рузвельт. У нас в стране он заслуженно пользуется репутацией реалистически мыслящего, дальновидного политика. Его именем назван один из главных проспектов Ялты. Президент Рузвельт занял выдающееся место в современной истории Соединенных Штатов и в летописи второй мировой войны. Мне он запомнился как обаятельный человек, обладающий быстрой реакцией, чувством юмора. Даже в Ялте, когда было особенно заметно ухудшение его здоровья, все присутствовавшие отмечали, что ум президента оставался ярким и острым.

Я считаю для себя большой честью поручение переводить беседы Сталина с Рузвельтом во время их первой встречи в Тегеране в 1943 году. Все, что тогда произошло, глубоко запало мне в память.

Советская делегация, в которую входили Сталин, Молотов и Ворошилов, отбыла в иранскую столицу за день до моего возвращения в Москву из Киева, где я тщетно пытался разыскать родителей. Мне пришлось ее догонять. Вылетел поздно ночью в Баку и прибыл туда только к вечеру. Рано утром отправился самолетом в Тегеран. Едва добравшись в середине дня до советского посольства, узнал, что мне сейчас предстоит переводить первую беседу двух лидеров. Прилети мой самолет хотя бы на час позже, я опоздал бы на эту встречу, не говоря уже о том, что вызвал бы неудовольствие Сталина, который сам выбирал себе переводчика для каждой беседы.

Когда я вошел в комнату, примыкавшую к залу пленарных заседаний, там уже находился Сталин в маршальской форме. Он пристально посмотрел на меня, и я поспешил извиниться за небольшое опоздание, пояснив, что явился прямо с аэродрома. Сталин слегка кивнул головой, медленно прошелся по комнате, взял из бокового кармана кителя коробку с надписью «Герцеговина флор», вынул папиросу, закурил. Прищурившись, взглянул менее строго, спросил:

— Не очень устали с дороги? Готовы переводить? Беседа будет ответственной.

— Готов, товарищ Сталин. За ночь в Баку хорошо отдохнул. Чувствую себя нормально.

Сталин подошел к столу, небрежно бросил на него коробку с папиросами. Зажег спичку и раскурил погасшую папиросу. Затем,

медленным жестом загасив спичку, указал ею на диван и сказал:

— Здесь, с краю, сяду я. Рузвельта привезут в коляске, пусть он расположится слева от кресла, где будете сидеть вы.

— Ясно, — ответил я.

Мне уже не раз приходилось переводить Сталина, но я ни разу не слышал, чтобы он придавал значение таким деталям. Возможно, он нервничал перед встречей с Рузвельтом.

Сталин, конечно, не сомневался, что отношение президента к системе, которая его усилиями возобладала в Советском Союзе, крайне отрицательное. Для Рузвельта не могли быть тайной кровавые преступления, произвол, репрессии и аресты в сталинской империи — уничтожение крестьянских хозяйств, насильственная коллективизация, приведшая к страшному голоду и гибели миллионов, гонения на высококвалифицированных специалистов, ученых, писателей, объявленных «вредителями», истребление талантливых военачальников. Страшные последствия сталинской политики породили на Западе крайне отрицательный образ Советского Союза. Как сложатся отношения с Рузвельтом? Не возникнет ли между ними непреодолимая стена? Смогут ли они преодолеть отчуждение? Эти вопросы не мог не задавать себе Сталин.

Думаю, что и президент понимал, сколь важно в создавшейся тогда ситуации найти общий язык с кремлевским диктатором. И он сумел так подойти к Сталину, что этот подозрительный восточный деспот, кажется, поверил в готовность демократического сообщества принять его в свою среду. На первой же встрече с советским лидером Рузвельт попытался создать атмосферу доверительности. Не было никакой натянутости, настороженности, никаких неловких, длительных пауз.

Сталин также решил пустить в ход свое обаяние — тут он был большой мастер. До войны наш вождь редко принимал зарубежных политиков и потому не мог иметь соответствующего опыта. Но он быстро наверстал упущенное, проявив свои способности уже при встрече с Риббентропом в августе 1939 года. После гитлеровского вторжения Сталин непосредственно участвовал в переговорах. Беседы с Гопкинсом, Гарриманом, Хэллом, интенсивная переписка с Рузвельтом дали ему возможность пополнить представления об американцах и отработать особую манеру ведения дел с ними. Но все же можно было заметить, что перед первой встречей с президентом Соединенных Штатов осенью 1943 года Сталин чувствовал себя не вполне уверенно.

Не потому ли он на этот раз заботился о том, где лучше

сесть? Он, видимо, не хотел, чтобы слишком высветилось его испещренное оспой лицо. Маршальский китель и брюки с красными лампасами были тщательно выглажены, мягкие кавказские сапоги (он обычно заправлял в них брюки) ярко сверкали. Вставленные в стельку под пяткой прокладки делали его выше, чем он был на самом деле. И разговор с Рузвельтом он начал с типичных грузинских любезностей. Все ли устраивает президента в его резиденции? Не упустили ли чего-либо? Чем он мог бы быть полезен и так далее. Рузвельт поддержал эту игру, предложил Сталину сигарету. Тот ответил, что привык к своим. Спросил президент и о «знаменитой сталинской трубке».

— Запрещают врачи, — развел руками всесильный вождь.

— Врачей надо слушаться, — назидательно произнес Рузвельт.

Осведомились о самочувствии друг друга, поговорили о вреде курения, о полезности пребывания на свежем воздухе. Словом, все выглядело так, будто встретились закадычные друзья.

Рассказывая по просьбе президента о положении на фронте, Сталин не скрыл тяжелой обстановки, сложившейся на Украине после захвата немцами Житомира, важного железнодорожного узла, в результате чего снова под угрозой оказалась украинская столица — Киев.

В свою очередь, и Рузвельт демонстрировал откровенность. Обрисовав жестокие бои на Тихом океане, он затронул вопрос о судьбе колониальных империй.

— Я говорю об этом в отсутствие нашего боевого друга Черчилля, подчеркнул президент, — поскольку он не любит касаться данной темы. Соединенные Штаты и Советский Союз не являются колониальными державами, нам легче обсуждать такие проблемы. Думаю, что колониальные империи недолго просуществуют после окончания войны…

Рузвельт сказал, что намерен в будущем подробнее побеседовать о послевоенном статусе колоний, но лучше это делать без участия Черчилля, у которого нет никаких планов в отношении Индии.

Сталин явно остерегался быть втянутым в обсуждение столь деликатной темы. Он лишь ограничился замечанием, что после войны проблема колониальных империй может оказаться актуальной, и согласился, что СССР и США проще обсуждать этот вопрос, чем странам, владеющим колониями. Меня же поразила инициатива Рузвельта в связи с тем, что не так давно я слышал, как Гитлер на переговорах с Молотовым в Берлине в ноябре 1940 года предлагал Советскому Союзу совместно с Германией, Италией и Японией поделить британское колониальное

наследство. Видно, эти территории привлекали многих…

В целом у меня сложилось впечатление, что Сталин и Рузвельт остались довольны первым контактом. Но это, конечно, не могло изменить их принципиальных установок.

Администрация Рузвельта руководствовалась формулой, изложенной в заявлении государственного департамента США от 22 июня 1941 г., то есть в день нападения гитлеровской Германии на СССР: «Мы должны последовательно придерживаться линии, согласно которой тот факт, что Советский Союз воюет против Германии, вовсе не означает, что он защищает, борется или придерживается принципов в международных отношениях, которых придерживаемся мы».

В ходе войны Рузвельт весьма дружественно высказывался о Советском Союзе, лично о Сталине. Но тут, думается мне, он лишь отдавал дань союзническим отношениям в рамках антигитлеровской коалиции, героизму Красной Армии, устоявшей под чудовищными ударами гитлеровской военной машины. В то же время президент делал соответствующие выводы из хода боев на советско-германском фронте. Советский народ, продолжая оказывать сопротивление агрессии, доказывал, как полагал Рузвельт, прочность системы. Если она выдержит и сохранится после войны, то не имеет смысла снова пытаться ее уничтожить. Лучше выработать механизм, который позволил бы капиталистическим странам сосуществовать с Советским Союзом. Все это отнюдь не означало одобрения Рузвельтом советской действительности.

Были и у Сталина свои причины для недоверия. Установление Рузвельтом дипломатических отношений с СССР после 16 лет непризнания, его заявление о намерении оказать поддержку борьбе советского народа против нацистской агрессии, готовность президента организовать поставку военных материалов Советскому Союзу — все это можно было записать в актив рузвельтовской администрации. Однако в практике антигитлеровской коалиции было немало фактов, усиливавших подозрительность Сталина по отношению к США. Да и вообще глубоко укоренившаяся в сознании враждебность к капиталистической системе постоянно питала его настороженность.

Мне нередко приходилось слышать, как Сталин по разным поводам говорил Молотову:

— Рузвельт ссылается на Конгресс. Думает, что я поверю, будто он действительно его боится и потому не может уступить нам. Просто он сам не хочет, а прикрывается Конгрессом. Чепуха! Он — военный лидер, верховный главнокомандующий. Кто

посмеет ему возразить? Ему удобно спрятаться за парламент. Но меня-то он не проведет…

Сталин также не верил, когда на его жалобы по поводу недружественных публикаций по отношению к СССР в американской и английской прессе Рузвельт и Черчилль объясняли, что не могут контролировать газеты и журналы и что даже их самих пресса порой не жалует. Все это Сталин считал буржуазной уловкой, двойной игрой. Но он видел, что советская сторона оказалась в невыгодном положении. Когда в нашей печати появлялись довольно робкие критические замечания насчет политики западных союзников (задержка второго фронта, срыв графика военных поставок, слухи о сепаратных переговорах и т. д.), Рузвельт и Черчилль протестовали и предъявляли претензии Сталину, поскольку речь шла о материалах официальной советской прессы.

Чтобы сбалансировать положение, Сталин решил создать в 1943 году новый журнал «Война и рабочий класс», изобразив дело так, будто его издают советские профсоюзы. Фактически же редактором этого издания был Молотов, хотя на титульном — листе стояло имя фиктивного редактора — какого-то профсоюзного деятеля. Молотов поручил мне техническую сторону подготовки заседаний редколлегии журнала, и я мог видеть, как тщательно не только он, но порой и Сталин дозировали критические статьи. Но теперь на жалобы руководителей США и Англии можно было ответить, что советское правительство не несет ответственности за эти материалы и что все претензии следует адресовать профсоюзной организации. Сталин был уверен, что точно так же манипулируют прессой Рузвельт и Черчилль.

Еще в середине 30-х годов Сталин стремился установить контакт с Рузвельтом. Об одном из эпизодов, связанных с этим, рассказал мне А. И. Микоян.

Дело происходило летом 1935 года на даче у Молотова, незадолго до отъезда Микояна в США для закупки различного оборудования. На даче оказался американский гражданин по имени Кон — родственник жены Молотова. Вскоре появился Сталин. После ужина он вышел с Микояном в сад и сказал:

— Этот Кон — капиталист. Когда будешь в Америке, повидайся с ним. Он нам поможет завязать политический диалог с Рузвельтом.

Прибыв в Вашингтон, Микоян установил, что «капиталист» Кон владеет шестью бензоколонками и, конечно же, никакого доступа в Белый дом не имеет. Нечего было и думать о посредничестве Кона. Между тем во время встречи с Генри

Фордом последний по своей инициативе предложил Микояну познакомить его с Рузвельтом. Тогдашний советский посол в США А. Трояновский сразу же проинформировал об этом Москву. Ответа не поступило, и Микоян с Рузвельтом не встретился. Я недоумевал, почему он так поступил, ведь Сталин добивался диалога с Рузвельтом.

— Вы плохо знаете Сталина, — пояснил Микоян. — Он же поручил действовать через Кона. Если бы я без его санкции воспользовался услугами Форда, он бы сказал: «Вот там Микоян хочет быть умнее нас, пустился в большую политику». Он никогда бы мне не простил. Обязательно когда-либо это вспомнил бы и использовал против меня…

Этот эпизод свидетельствует о ловкости хитрого армянина, подтверждая ходившую много позже по Москве поговорку: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», относившуюся к Микояну. Он уцелел в бурный период — от Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. Но самое любопытное здесь то, насколько примитивное представление имел Сталин об американских порядках. Он считал, что раз Кон капиталист, то, значит, и запросто вхож к президенту.

С этим же своеобразным представлением о США связано и сделанное Сталиным Гопкинсу, а затем и Гарриману, еще до вступления Америки в войну, предложение посылать на Украину американские войска для ведения боевых операций на советско-германском фронте. Естественно, он получил отказ, но, что поразительно, очень на это обиделся.

Впрочем, не менее странной была и последовавшая за этим инициатива Рузвельта. 12 января 1942 г., то есть уже после Пёрл-Харбора, он в беседе с только что прибывшим в Вашингтон новым советским послом Литвиновым высказал суждение, что американские войска могли бы заменить советские части, находящиеся в Иране, Закавказье и в районе заполярного порта Мурманска, а советские солдаты могли бы быть переброшены для действий на активных участках фронта. Свое предложение президент сопроводил своеобразной приманкой.

— С американской стороны, — сказал он советскому послу, — не встретило бы возражений приобретение Советским Союзом незамерзающего порта на Севере, где-нибудь в Норвегии, вроде Нарвика. Для связи с ним, — пояснил Рузвельт, можно было бы выкроить коридор через норвежскую и финскую территории.

С точки зрения современной морали подобное предложение, сделанное к тому же без ведома норвежцев и финнов, выглядит по меньшей мере цинично. К тому же тогда Нарвик, как и вся

Норвегия, находился под германской оккупацией.

Советское правительство отклонило американское предложение. В телеграмме Молотова, направленной 18 января, советскому послу поручалось ответить Рузвельту, что у Советского Союза «нет и не было каких-либо территориальных или других претензий к Норвегии и поэтому он не может принять предложение о занятии Нарвика советскими войсками».. Что касается замены советских частей американскими на Кавказе и в Мурманске, то это «не имеет сейчас практического значения, поскольку там нет боевых действий». Далее в послании говорилось: «Мы с удовлетворением приняли бы помощь Рузвельта американскими войсками, которые имели бы целью сражаться бок о бок с нашими войсками против войск Гитлера и его союзников».

Но для этого у США войск не нашлось.

Вся эта история вызвала в Москве неприятный осадок и породила новые подозрения у Сталина. Он расценил предложение Рузвельта как посягательство на территориальную целостность СССР. Он еще хорошо помнил интервенцию против Советской России после революции, когда американские войска оккупировали ряд районов нашей страны. В то же время тут просматривалось стремление Вашингтона сберечь свои силы за счет крови советских людей и добиться ослабления двух главных участников конфликта — Германии и Советского Союза.

Хочу остановиться на нескольких узловых проблемах, которые в той или иной мере оказали влияние на взаимоотношения Сталина и Рузвельта.

Хотя наши западные союзники не откликались на многократные призывы Москвы осуществить высадку во Франции, изучение возможности такой операции в Вашингтоне началось уже с осени 1941 года. К весне следующего года вариант американского плана вторжения в Северную Францию был подготовлен. Докладывая его президенту Рузвельту, генерал Маршалл указывал, что высадка в этом районе явится максимальной поддержкой русского фронта. Однако осуществление такой операции ставилось в зависимость от двух условий:

1. Если положение на русском фронте станет отчаянным, то есть успех германского оружия будет настолько полным, что создастся угроза неминуемого краха русского сопротивления. В этом случае атаку на Западе следует рассматривать как жертву во имя общего дела.

2. Если положение немцев станет критическим.

Этот документ проливает свет на американскую концепцию

«второго фронта»: пока Россия и Германия сохраняли способность продолжать борьбу, в Вашингтоне предпочитали оставаться в стороне. Главное, чтобы к концу войны СССР и Германия оказались ослаблены.

К началу 1942 года гитлеровцы мобилизовали огромные силы для нового мощного наступления в глубь Советского Союза. А наши западные союзники по-прежнему ничего не предпринимали, чтобы облегчить положение на советско-германском фронте. Наблюдая их бездействие, посол Литвинов направил в Наркоминдел 31 января 1942 г. запрос: «До вероятного весеннего наступления Гитлера, для которого он накапливает большие силы, остается меньше двух месяцев, и если желаем получить помощь к тому времени от Англии и США, то должны заявить об этом теперь же. Мы должны либо требовать высадки на континенте, либо же заявить, что нам нужно столько же самолетов и танков, на сколько превосходит нас в тех и других противник».

4 февраля Литвинову был дан следующий ответ: «Мы приветствовали бы создание второго фронта в Европе нашими союзниками. Но Вы знаете, что мы уже трижды получили отказ на наше предложение о создании второго фронта и не хотим нарываться на четвертый отказ. Поэтому Вы не должны ставить вопрос о втором фронте перед Рузвельтом. Подождем момента, когда, может быть, сами союзники поставят этот вопрос перед нами». В не совсем дипломатических оборотах этого послания сквозит раздражение его авторов. Сталин давал почувствовать свое недовольство.

Повлияло ли это на Рузвельта? Возможно, что в какой-то мере повлияло. Во всяком случае, вскоре в позиции американцев как будто произошел сдвиг.

12 апреля 1942 г. президент Рузвельт сообщил главе советского правительства, что считает целесообразным обменяться мнениями с авторитетным представителем СССР по ряду важных вопросов ведения войны против общего врага. Он спрашивал, готово ли советское правительство направить в Вашингтон Молотова для таких переговоров. Советская сторона сразу же согласилась. С целью соблюдения секретности этот визит прошел под кодовым названием «Миссия мистера Брауна».

Побывав в Лондоне, где был подписан англо-советский договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, Молотов отправился в Вашингтон. Здесь в беседе с президентом Рузвельтом речь шла главным образом о планах высадки западных союзников во Франции и о положении на

советско-германском фронте.

— Если бы, — сказал Молотов, — союзники оттянули в 1942 году с нашего фронта хотя бы 40 вражеских дивизий, соотношение сил резко изменилось бы в нашу сторону и судьба Гитлера была бы предрешена…

Выслушав это заявление, сделанное Молотовым с не свойственной ему эмоциональностью, Рузвельт обратился к генералу Маршаллу с вопросом:

— Достаточно ли уже продвинулись приготовления, чтобы можно было сообщить маршалу Сталину о нашей готовности открыть второй фронт?

Генерал ответил утвердительно. И тогда президент торжественно произнес:

— Доложите своему правительству, что оно может ожидать открытия второго фронта в нынешнем году.

Итак, президент, к которому присоединился также Черчилль, официально обязался осуществить высадку. Более того, был определен и конкретный срок. Совместное коммюнике гласило: «Достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».

Действительно ли в Вашингтоне и Лондоне на том этапе намечали высадку в Западной Европе? Было ли такое решение просчетом или просто легкомыслием, что, впрочем, недопустимо для зрелых политиков? Вряд ли они в тот момент считали, что советская способность к сопротивлению на исходе и что настало время принести «жертву». А если считали, то очень скоро пришли к выводу, что с «жертвоприношением» спешить не следует.

Когда спустя некоторое время Рузвельт и Черчилль отказались от данного Сталину обещания, президент испытывал чувство неловкости. Ведь в беседе с Молотовым в Вашингтоне он обосновал резкое сокращение крайне необходимых Советскому Союзу военных поставок переадресовкой их на нужды готовящегося вторжения во Францию. А на вопрос Молотова, не получится ли так, что поставки сократятся, а второй фронт открыт не будет, Рузвельт еще раз заверил наркома, что высадка во Франции в 1942 году обязательно произойдет. Надо полагать, президент США вздохнул с облегчением, когда Черчилль вызвался выполнить в Москве столь неприятную миссию — сообщить Сталину, что вторжение не состоится.

В связи со всей этой историей стоит вспомнить пассаж, содержащийся в книге сына президента — Эллиота — «Его глазами». Он иллюстрирует понимание Рузвельтом роли США в войне.

«Ты представь себе, — пояснял отец сыну, — что это

футбольный матч. А мы, скажем, резервные игроки, сидящие на скамье. В данный момент основные игроки это русские, китайцы и в меньшей степени англичане. Нам предназначена роль игроков, которые вступят в игру в решающий момент… Я думаю, что момент будет выбран правильно».

Рузвельт поделился с сыном весьма сокровенными мыслями.

Принятые Тегеранской конференцией решения на этот счет в нашей литературе обычно расцениваются как серьезная победа советской дипломатии. И в самом деле, наконец-то западные союзники назвали точную дату вторжения и в общем выдержали ее. Пришла реальная помощь Красной Армии, сражавшейся на протяжении трех лет практически один на один с гитлеровской военной машиной. Но спрашивается, действительно ли США и Англия, соглашаясь открыть второй фронт во Франции, уступили настойчивым требованиям Сталина, угрожавшего даже покинуть Тегеран? Или же они прежде всего руководствовались собственными интересами? Не сочли ли они, что приближается ситуация, предусмотренная вторым пунктом американского плана, — скорый крах Германии?

Ко времени Тегеранской конференции решение уже было принято. Пересекая на крейсере Атлантический океан по пути в иранскую столицу, президент Рузвельт созвал в кают-компании ближайших помощников и поделился своими соображениями насчет второго фронта. «Советские войска, — сказал он, — находятся лишь в 60 милях от польской границы и в 40 милях от Бессарабии. Если они форсируют реку Днестр, что может осуществиться в ближайшие две недели, Красная Армия окажется на пороге Румынии». Президент сделал вывод: пора действовать. «Американцы и англичане, — пояснил он, — должны занять возможно большую часть Европы. Англичанам отводятся Франция, Бельгия, Люксембург, а также южная часть Германии. Соединенные Штаты должны двинуть свои корабли и доставить американские войска в порты Бремен и Гамбург, в Норвегию и Данию. Мы должны дойти до Берлина. Тогда пусть Советы занимают территорию к востоку от него. Но Берлин следует занять Соединенным Штатам». Примерно в это же время Рузвельт распорядился подготовить специальные авиадесантные соединения для захвата столицы «третьего рейха».

Рузвельт и Черчилль были едины в том, что дальше откладывать вторжение нельзя, иначе советские войска могут продвинуться слишком далеко на Запад. Но дело не обошлось без серьезных расхождений. Как достичь поставленной цели? Президент полагал, что кратчайший путь в Берлин лежит через Францию. Он настаивал на высадке в Нормандии. Британский

премьер исходил из других соображений. Он стремился не допустить значительного продвижения советских войск за пределы границ СССР. Наиболее эффективный, по его мнению, способ добиться этого — наступать через Балканы в направлении Болгарии, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехословакии.

Что касается Сталина, то он, разгадав замыслы Черчилля, заявлял, что наиболее радикальной помощью Красной Армии считает открытие второго фронта в Западной Европе.

Исходя из сказанного, мне представляется, что главное в решении Тегеранской конференции о втором фронте заключалось не в согласовании даты вторжения, а в определении места высадки. То, что в конечном счете остановились на Нормандии, — результат идентичности позиций Рузвельта и Сталина, и это было высоко оценено советским лидером.

На Дальнем Востоке

На горизонте сгущались тучи нового мирового конфликта, но мы старались не думать об этом. Оживленная культурная жизнь Киева настраивала на мирный лад. Здесь часто гастролировали зарубежные артисты. Советские музыканты, певцы, шахматисты завоевывали лавры на международных конкурсах, и росло ощущение принадлежности к большому миру за пределами наших непроницаемых границ. Мы с друзьями не пропускали ни одного концерта выдающихся исполнителей. Концерты Собинова, Ойстраха, Гилельса, Козловского, польской певицы Евы Бандровской-Турской, чешского джаза Циглера и любимца публики джазиста Утесова обычно давали в Колонном зале бывшего Купеческого собрания на углу Крещатика и Александровской улицы. Здесь до революции стоял памятник Александру П. Его взорвали в первые месяцы советской власти, но остался мраморный цоколь с барельефом, изображавшим народы Российской империи, и надпись: «Царю-освободителю благодарная Россия».

Так уж у нас повелось, что инициаторы реформ, рассчитанных на благо народа, гибли от рук тех, кто провозглашал себя его «друзьями». Александр II, отменивший в 1861 году крепостное право, был убит взрывом бомбы в Петербурге, подброшенной «народовольцем». Столыпина, премьер-министра Российской империи, проводившего земельную реформу, обещавшую крестьянам землю и процветающее фермерство, застрелил фанатик-революционер. Выстрел, оборвавший жизнь этого выдающегося политического деятеля России, раздался в Киевском оперном театре, напротив ложи, где находился последний русский царь Николай II. Убийство Столыпина не только остановило многообещающую реформу, но и вызвало усиление реакции, что в конечном счете привело к революции 1917 года…

В повседневную жизнь врывались все новые зловещие нотки: поражение республиканского правительства в Испании и воцарение в Мадриде на германских и итальянских штыках диктатора Франко, аншлюс Австрии и триумфальный въезд Гитлера в Вену, нацистский шантаж Чехословакии и мюнхенский сговор…

Ситуация вокруг Чехословакии резко обострилась. Я работал тогда на заводе «Арсенал». В конструкторском бюро, где мне отвели место за большой чертежной доской, я оказался в группе, руководимой инженером Тимофеевым. Он очень внимательно

отнесся ко мне, помогал освоить специфику производства. Но с ним не долго пришлось работать. На Украине объявили мобилизацию. Командиров, числившихся в резерве, в том числе и Тимофеева, призвали в Красную Армию. Пару раз он заходил к нам, уже в военной форме, подтянутый, суровый. Рассказал, что получил направление в армейскую группировку на границе с Польшей. В соответствии с соглашением между СССР и Францией мы должны были совместно прийти на помощь Чехословакии в случае агрессии против нее. Все говорило о том, что такой момент наступил. Сообщения прессы об угрозах Гитлера Праге, о провокациях генлейновцев в Судетах предвещали новую захватническую акцию нацистов. Москва провела мобилизацию в Украинском военном округе, чем подтвердила намерение выполнить свое обязательство. Мы с вниманием следили за переговорами в Мюнхене, будучи уверены, что, если Гитлер не отступит, СССР и Франция окажут Чехословакии обещанную поддержку. Психологически наш народ, как мне кажется, был к этому тогда готов. Более того, мы надеялись, что в итоге произойдет свержение фашистской диктатуры в Германии. Но очередной истерический спектакль, разыгранный Гитлером в Мюнхене, привел к предательству западными державами Чехословакии. Франция отказалась ей помочь. Польша не пропустила Красную Армию через свою территорию. Мобилизацию на Украине отменили, и инженер Тимофеев, сняв военную форму, вернулся в конструкторское бюро завода «Арсенал»…

Каждое утро, идя на работу через Мариинский парк, я смотрю на расстилавшийся внизу левый берег Днепра, на песчаные отмели, заливные луга, далекие деревеньки на горизонте с церковками и колокольнями. Неужели наступит момент, когда здесь, над кручей, будет стоять немецкий солдат, а наша армия откатится по этим лугам далеко за горизонт, а сюда хлынут нацисты, оставляя позади себя потоки крови, тысячи изувеченных и плененных, обуглившиеся скелеты многострадальных украинских деревень?

Прочитав только что опубликованную сенсационную книгу таинственного Эрнста Генри «Гитлер против СССР», где предсказывался, пусть и временный, захват германскими войсками обширных территорий Советского Союза, и наблюдая феноменальные успехи Гитлера, приведшие, впрочем не без помощи западных политиков, к созданию великогерманского рейха, я уже не исключал того, что в случае войны с немцами нам придется понести огромные потери. Мысли обо всем этом меня занимали и в личном плане. На вечернем отделении Киевского

политехнического института не было военной кафедры. Все мы на время учебы имели отсрочку от призыва, и теперь предстояло пройти действительную военную службу. Правда, окончившие институт пользовались льготой: в сухопутных войсках служили год вместо двух, а на флоте — два года вместо четырех. Успеем ли пройти службу до войны?

В начале ноября пришла повестка из военкомата. Следовало явиться на медосмотр, а затем в призывную комиссию. Никаких дефектов у меня не обнаружили. Комиссия ограничилась лишь несколькими вопросами биографического характера. После краткого ожидания в коридоре я снова предстал перед комиссией и узнал, что зачислен на Тихоокеанский флот и должен еще в этом месяце отбыть во Владивосток. Меня всегда влекла морская романтика. Все же я не обрадовался решению призывной комиссии. Почти всех моих друзей призвали в сухопутные войска Украинского военного округа. Они служили поблизости, получая увольнительную, приезжали домой, нарушая правила, переодевались в штатское и отлично проводили время в привычной обстановке. Мне во Владивостоке ничего подобного не светит. К тому же служба — два года, а не один, как у них. И с Галей придется надолго расстаться. А еще меня расстраивало предписание явиться на сборный пункт остриженным наголо.

Предотъездные дни прошли во всякой суете: оформление разных справок, получение проездных документов, свидетельств, удостоверений. Мучительно-сладким было прощание с Галей. Да и от родителей я еще никогда на такой длительный срок не уезжал, и было больно расставаться с ними. Тоскливое чувство не покидало меня все те дни. Но было и какое-то непонятное, тревожившее душу предчувствие чего-то неизведанного, такого, что должно изменить всю мою жизнь. Завидуя друзьям, остающимся на Украине, я не предполагал, что почти все они погибнут в первые дни войны и что такая же участь наверняка постигла бы и меня, останься я с ними.

На сборном пункте неожиданно оказались два призывника, окончивших институт вместе со мной, — Аркаша Эрлихман и Игорь Беляев. С ними я не встречался все эти месяцы и теперь очень обрадовался, узнав, что и они направляются во Владивосток служить на Тихоокеанском флоте. Все-таки вместе будет веселее и спокойнее. Нас проинструктировали, сообщили, куда следует явиться по прибытии к месту назначения, и последний раз отпустили домой. На следующий день мы отбывали поездом в Москву, а оттуда Транссибирским экспрессом на Дальний Восток.

Мы как новобранцы могли рассчитывать только на самих себя

и на свои скудные средства. Все же решили задержаться в столице на два дня. Ведь предстояла дальняя дорога, и, в сущности, для нас не имело значения, попадем ли мы на место через 10 или через 12 дней.

Встретила нас Москва хмурым, сырым утром, под стать моему настроению. На привокзальной площади толпились люди, начинал накрапывать дождь. Меня охватила растерянность. Никакого пристанища у нас не было, рассчитывать на гостиницу не приходилось. Паспорта у нас отобрали в киевском военкомате, а как призывники мы должны были без задержек двигаться к месту назначения.

— Может, все же уехать сегодня? — нерешительно произнес Игорь, который, видимо, так же как и я, готов был смалодушничать.

— Не раскисайте, ребята! — запротестовал Аркаша, самый предприимчивый из нас. — Сперва надо решить организационные вопросы. Добраться до Ярославского вокзала, закомпостировать проездные документы, сдать чемоданы в камеру хранения, а там видно будет…

Вещей у каждого из нас было немного: две смены белья, теплые носки, шапка на случай холодов в пути и «сухой паек», приготовленный заботливыми родителями. С Ярославского вокзала отправлялись поезда на Дальний Восток, и, конечно, надо было прежде всего запастить билетами. Да и без вещей легче шататься по городу. Словом, предложение Аркаши приняли.

Провели мы эти два дня в Москве совсем не так уж плохо. Побывали в Третьяковке, в Историческом музее, в Музее Пушкина. Обедали в ресторане гостиницы «Москва», не пожалев денег на роскошную трапезу с бутылкой «Перцовки». На наши бритые головы повсюду подозрительно косились, возможно принимая нас за беглых каторжников. Но мы, подвыпив и наполнившись гордостью по поводу того, что вступаем в ряды защитников морских границ Родины, поглядывали на окружающих свысока. Сердобольный администратор Большого театра, взглянув на наши подорожные и проникшись сочувствием к парням, отправляющимся бог весть куда, выписал три контрамарки на галерку. Мы завершили день под звуки оперы Бородина «Князь Игорь». А ночевать пришлось на полу Ярославского вокзала, подстелив вместо простыни газету.

Утром погода исправилась, и, умывшись в привокзальном туалете, мы отправились гулять по городу. Поезд на Владивосток отходил во второй половине дня. На этот раз пообедали в шашлычной рядом с Московским Художественным академическим театром и вскоре вернулись на вокзал.

Путешествие из Москвы во Владивосток, занявшее девять суток, представляло собой целую эпопею. Ехали мы далеко не с теми удобствами, к которым я пристрастился в международных спальных купе. Вагон был общий, жесткий. На полках раскладывали тощий матрасик, и спать было твердовато. В нашем отсеке две нижние и две верхние полки поперек прохода — оказался еще один новобранец, призванный на Тихоокеанский флот. Он был постарше нас: только в 30 лет окончил в Ленинграде вечернее отделение судостроительного института, где, так же как и мы, пользовался отсрочкой. Петр, так звали нашего нового сотоварища, держался просто, угощал нас домашней колбасой, присланной ему на дорогу из родной деревни, где его родители работали в колхозе.

Уже на третий день все в поезде перезнакомились. На остановках, временами довольно длительных, пассажиры бежали за кипятком и какой-нибудь снедью, которой торговали в буфете либо на лотках в сторонке. Потом гуляли по перрону в ожидании свистка паровоза. Дальше, в Сибири, шла одна колея, и порой на разъездах подолгу ждали встречный состав.

Владивосток встретил нас туманным теплым утром. Поначалу он показался мне очень похожим на провинциальный город средней России. Но при более близком знакомстве обнаружились и его специфические стороны. Тогда там еще было довольно значительное китайское и корейское население. Несколько кварталов выглядели словно «чайна таун» в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Действовала китайская опера, и было множество уличных торговцев, предлагавших прохожим всякие нужные в хозяйстве изделия, бумажные фонарики, веера, экзотические фигурки из слоновой кости. Но в основном давали городу умелые и трудолюбивые китайские и корейские крестьяне разнообразнейшие овощи. Многие из них я увидел впервые в жизни.

Уже при мне началась депортация этой части населения. Вскоре почти никого из них не осталось, чем был нанесен непоправимый ущерб экономике Приморского края. Ремесла пришли в упадок, китайская опера закрылась, начисто исчезли овощи. С тех пор, и вплоть до наших дней, их завозят в основном из-за Урала и с Украины. Таков результат волны шпиономании, поднявшейся вслед за репрессиями 1937 года против высшего командования Красной Армии. Но мне посчастливилось еще застать лучшие времена Владивостока.

Мы решили не спешить докладываться в штабе Тихоокеанского флота. Сдав вещи в камеру хранения, отправились знакомиться с городом. Поскольку мы были в

штатском, армейские и флотские патрули, а они тут встречались на каждом шагу, не обращали на нас внимания. Пообедали в лучшем ресторане, выпили по рюмочке, отметив прибытие к месту службы, посмотрели только что вышедший на экраны антинацистский фильм «Семья Оппенгейм» и во второй половине дня объявились в штабе.

Дежурный командир отчитал нас за то, что мы не сразу с вокзала явились доложить о прибытии. Мы как-то не учли, что из Москвы приходит только один поезд, и догадаться, что мы весь день проболтались по городу, не стоило труда. Впредь нам посоветовали не нарушать дисциплины. Затем последовало краткое собеседование, знакомство с нашими документами.

Нас зачислили в инженерный отдел штаба Тихоокеанского флота. Тем временем явился специально вызванный старшина Мищенко, который отвел нашу четверку в краснофлотское общежитие на улице Ленина, называвшееся, по морской терминологии, кубриком.

В большом помещении на первом этаже стояли ряды коек, заправленных серыми армейскими одеялами. Наши с Аркашей места оказались рядом, разделенные двумя тумбочками, где хранились личные вещи. Утром получили краснофлотскую форму повседневную, рабочую, из толстого брезента, и парадную. Кубрик должен был стать нашим домом на целых два года. Всего нас тут было около четырех десятков молодых людей с высшим техническим образованием. Каждое утро Мищенко водил нас строем на работу, где мы, оставаясь в матросской форме, становились на восемь часов инженерами, а после окончания рабочего дня снова превращались в обычных матросов и маршировали с бодрой песней, которую затягивал старшина.

Мищенко заботился о том, чтобы мы своевременно имели все, что нам положено, дважды в неделю водил в баню, раз в месяц — в парикмахерскую. Здесь нам разрешили отпускать волосы, что несколько подняло настроение. В то же время он был очень взыскателен к новобранцам с высшим образованием, считая, что их надо держать в особой строгости.

Постепенно мы втянулись в установленный распорядок с дежурствами, нарядами за малейшую провинность, с ночными тревогами, которые очень любил устраивать старшина, и редкими увольнительными. Мы ждали этих свободных дней с нетерпением. Хотелось пощеголять в новенькой форме, прогуляться по улице Ленина — главной магистрали города, полюбоваться прекрасными видами бухты Золотой Рог, причудливыми, словно вырезанными из картона, силуэтами сопок, окаймляющих город и резко выделяющихся на

поразительно чистом в зимние вечера дальневосточном небе.

К таким прогулкам готовились заранее. Аккуратно с вечера раскладывали под матрасом брюки, чтобы получилась жесткая складка, надраивали латунные пуговицы бушлата, начищали до блеска ботинки. Особого искусства требовало прилаживание проволочного обруча в донышке бескозырки — тогда она сидела на голове широким блином. Расправляли ленты с гордой надписью «Тихоокеанский флот». Главным украшением являлся гюйс — широкий синий, с белыми полосками, матросский воротник. Чтобы казаться бывалым моряком, гюйс следовало сделать выцветшим, как бы просоленным брызгами морской волны, выжженным тропическим солнцем. Поэтому, получив форму, сразу же опускали гюйс в ведро с насыщенным раствором соли и держали там, пока его цвет не доходил до нужной кондиции.

В клубе штаба Тихоокеанского флота время от времени устраивались вечера с танцами и буфетом. Мы старались их не пропускать. Здесь собирались и вольнонаемные работники различных отделов штаба, в том числе и нашего инженерного отдела. Среди них немало девушек: машинисток, копировщиц, секретарш. Словом, было с кем полюбезничать. Наш попутчик Петр не растерялся, сразу же завел себе возлюбленную. У меня не было настроения заводить романы. Ограничился платонической дружбой с хорошенькой розовощекой машинисткой Машенькой, ставшей моей постоянной партнершей по танцам и прогулкам. В клубе встретили и новый, 1939 год. Устроили елку, ужин в складчину, танцы, лотерею. Потом еще допраздновали в кубрике, воспользовавшись отсутствием старшины этот вечер он проводил дома. Кто-то достал большую банку чистого спирта. Более опытные ребята, проходившие второй год службы, преподали нам, новичкам, искусство обращения с этим огненным зельем: осушить стакан и, не вдыхая воздух, запить водой, после чего закусить. Пока мы пировали, дежурный стоял на часах, чтобы заранее предупредить о внезапном появлении начальства. Все полностью расслабились, балагурили, рассказывали анекдоты и забавные истории. Вдруг раздался возглас:

— Полундра!..

Дежурный предупреждал нас об опасности. Но под воздействием спиртных паров реакция наша стала замедленной. Мы побежали к койкам, чтобы укрыться одеялами и притвориться спящими, однако проделали это недостаточно проворно, а главное, оставили на столе следы «преступления»: банку с недопитым спиртом и стаканы.

У входной двери дежурный, стараясь загородить старшине

обзор помещения, бодро рапортовал:

— Товарищ старшина, все в кубрике в полном порядке. Все краснофлотцы на месте…

Но зоркий глаз Мищенко уже заметил, чем мы тут занимались.

— Подъем, — скомандовал он зычным голосом. — Стройся на первой палубе!

Так старшина обозначал ближайший к входной двери проход между койками. Пришлось сбросить одеяла и строиться. Являли собой мы довольно дурацкую картину: кто стоял в нижнем белье, кто в тельняшках и рабочих брюках.

— На первый-второй рассчитайсь! — приказал старшина.

Затем последовал разнос. Как он только нас не обзывал! Грозился написать на всех рапорт, отправить на гауптвахту, списать «на берег» (как будто наш кубрик находился на корабле). Выпустив пар, принялся взывать к нашей совести, журить за поведение, не достойное людей с высшим образованием. На это он особенно напирал. В конце концов объявил, что завтра, в день Нового года, никто не получит увольнительную, и раздал каждому наряд вне очереди. Одни должны мыть пол в кубрике, другие — чистить гальюн (туалет), третьи — убирать двор и так далее.

Наутро, переодевшись в робу, вооружившись шваброй и ведром с горячей мыльной водой, я принялся драить половицы и не переставал чертыхаться. Еще не бывало, чтобы у меня так начинался Новый год! Я не подозревал, что этот год принесет поразительные перемены в моей жизни.

Январь подходил к концу, когда в один из дней меня подозвал старшина и сказал, что я должен в восемь часов вечера явиться в штаб Тихоокеанского флота. От неожиданности я не мог удержаться от вопроса: кому и зачем я там понадобился? Старшина посоветовал не рассуждать, а побыстрее приготовить парадную форму.

Этим я и занялся, ни на минуту не переставая думать о том, что означает этот вызов. За два месяца службы я как будто не совершил ничего такого, что могло обратить на меня внимание высокого начальства. Я терялся в догадках, но, как выяснилось, все они были далеки от подлинной причины вызова. А она состояла в следующем.

Как уже сказано, я попал на Тихоокеанский флот в 1938 году, то есть вскоре после начала сталинской чистки в армии и на флоте. После осуждения и расстрела высших командиров советских вооруженных сил волна репрессий прокатилась по всем военным округам и флотам. Достигла она и Дальнего Востока,

где сменился весь командный состав. Новый главнокомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Кузнецов, его начальник штаба капитан 3 ранга Богденко, начальник инженерного отдела инженер-капитан 2 ранга Воронцов, приступив к своим обязанностям, обнаружили, что среди прочего им предписано изучать английский язык. Такое требование понятно. Нашим потенциальным противником являлась тогда Япония. А Соединенные Штаты могли стать потенциальным союзником, что, впрочем, и произошло. Поэтому предполагалось возможное сотрудничество с американским флотом. Отсюда и желательность знания командованием штаба хотя бы основ английского языка. Исчезнувшие адмиралы из предыдущей команды либо владели языком, либо изучали его, привлекая в качестве преподавателей представителей старой интеллигенции. В основном это были светские дамы, бежавшие из Петрограда в годы гражданской войны, но по каким-то причинам не успевшие добраться до Харбина или Шанхая и застрявшие во Владивостоке. Их, конечно, после 1937 года тоже упрятали за решетку как «японских шпионок». Поскольку не каждого можно было допустить в штаб флота, новое командование принялось искать кого-либо из военнослужащих со знанием английского. Начальнику кадров предложили посмотреть, нет ли подходящей кандидатуры, и он обратил внимание на мое личное дело. Так на несчастье одних строится счастье других…

Всего этого я не знал, когда в назначенное время, начищенный и наглаженный, явился в штаб Тихоокеанского флота. Здание, где он располагался, досталось нам от царского времени. Меня поразили облицованные темным дубом стены, устланные толстым ковром коридоры, выправка и вежливость дежурных из караульной службы, просторный, увешанный картами кабинет начальника штаба флота. Я был охвачен каким-то острым волнением. Шевельнулось предчувствие, будто я вступаю на манящий, таинственный путь.

Из-за стола поднялся несколько грузный, но еще совсем молодой капитан 3 ранга. Это был начальник штаба Тихоокеанского флота Богденко. Рядом со столом остался сидеть в кресле инженер-капитан 2 ранга Воронцов.

— Товарищ начальник штаба, краснофлотец Бережков по вашему приказанию явился! — бодро выпалил я, приложив руку к бескозырке.

Небрежно скомандовав «вольно», Богденко пригласил меня сесть в свободное кресло. Затем, взяв со стола желтую папку, начал ее листать.

— Вот тут сказано, что вы свободно владеете английским

языком, — начал он. — Это верно?

— Так точно!

— Когда вы его учили, что окончили?

Я объяснил.

Богденко снова стал листать содержимое папки. Вынув из кармана кителя аккуратно сложенный надушенный платок, провел им по верхней губе. Спросил:

— Могли бы вы преподавать английский язык?

— Я никогда этим не занимался. Моя специальность инженер-технолог.

— Мы это знаем, но ведь вы помните, как обучали вас?

— Помню.

— Вот так же, видимо, сможете и вы обучать других.

— Мне никогда не приходилось преподавать, но, если прикажете, попробую.

— Это уже другой разговор. Существует порядок, согласно которому главнокомандующий, начальник штаба и начальник инженерного отдела должны изучать английский язык — по ту сторону океана находятся Соединенные Штаты. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга.

— Мы хотим, чтобы вы преподавали нам английский язык.

— Слушаюсь, — ответил я.

— Давайте обговорим детали, — сказал Воронцов.

Мне тут же сообщили, что каждый урок должен занимать два академических часа и что занятия будут проводиться дважды в неделю. За каждый академический час мне будут платить 25 рублей. Моему непосредственному начальству дадут указание освобождать меня для работы в городской библиотеке, если у меня возникнет необходимость дополнительно готовиться к урокам.

Словно на крыльях вылетел я из штаба. Несомненно, в моей жизни произошло невероятное событие, размышлял я на ходу. Теперь я больше не завишу целиком только от старшины и к тому же немного подзаработаю: 400 целковых в дополнение к моим краснофлотским 12 рублям в месяц — совсем неплохо!

Готовиться к урокам я стал со всей серьезностью. Конечно, помогло хорошее знание языка и то, что я не успел забыть, как обучали меня. К тому же и ученики мои оказались прилежными. Дело пошло на лад. Вскоре я приобрел фотоаппарат «ФЭД», изготавливавшийся в колонии заключенных имени Дзержинского по германской лицензии фирмы «Лейка». Это сразу сделало меня популярнейшим человеком. Жизнь прекрасна и удивительна, повторял я. Ни о чем лучшем нельзя было и мечтать. Но, увы, ничто не вечно под луной!

Вскоре адмирал Кузнецов был назначен наркомом Военно-Морского Флота СССР и отбыл в Москву. Некоторое время спустя за ним последовали Богденко и Воронцов. Новому начальству пока что было, видимо, не до изучения языка. Во всяком случае, мною оно не заинтересовалось.

Я снова полностью перешел во власть старшины, который, конечно, не преминул на мне отыграться, давая наряды вне очереди. Потекли прежние будни, разнообразившиеся лишь редкими поездками по служебным делам на Русский остров, неизменно пленявший своей живописной природой. Иногда в выходные дни удавалось съездить на «19-й километр», в залив Петра Великого, где с наступлением тепла начались морские купания.

Международная обстановка быстро ухудшалась. На Дальнем Востоке не прекращались японские провокации. Был издан Указ Верховного Совета СССР о новых сроках обязательной военной службы. Льготы для лиц с высшим образованием отменялись. К тому же удлинялся срок службы на флоте. Это означало, что нам придется оставаться краснофлотцами пять лет. Меня охватило уныние. Беляев и Эрлихман подали заявления о зачислении в кадры. В этом случае им сразу присваивалось командирское звание со всеми вытекающими материальными последствиями. Но меня что-то останавливало. Я чего-то ждал…

В самом конце августа пришла телеграмма. Меня срочно вызывали в Москву, в Главный морской штаб.

Рекомендация полякам

Польская проблема занимала важное место во взаимоотношениях Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Позиция Советского Союза, как она тогда истолковывалась Москвой, выглядела в целом разумной. Сталин заявлял, что желает видеть возрожденную Польшу сильным, независимым, демократическим государством, дружественным СССР. Одновременно он настаивал на признании новой советско-польской границы 1939 года, шедшей примерно по «линии Керзона», предложенной Антантой в 1919 году. На этих условиях Москва соглашалась восстановить отношения с эмигрантским польским правительством, находившимся в Лондоне. Сходным было и предложение, внесенное Черчиллем в Тегеране. Он представил на рассмотрение Сталина и Рузвельта следующую формулу: «В принципе было принято, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции».

Советская сторона поддержала предложение Черчилля. Что касается Рузвельта, то он в принципе согласился с указанной линией, хотя и предупредил, что до предстоящих в 1944 году президентских выборов воздержится от публичных высказываний из-за возможной реакции избирателей польского происхождения. Оба западных лидера также с пониманием отнеслись к желанию советского правительства иметь своим соседом дружественную Польшу.

На протяжении последующего периода из-за негативной позиции эмигрантского польского правительства дело не сдвинулось с места. Однако к лету 1944 года появилась возможность прийти к согласию. В одной из бесед с послом США Гарриманом Молотов выдвинул новые компромиссные предложения, открывшие путь к приемлемому решению. Речь шла о формировании правительства из поляков, живущих в Англии, Соединенных Штатах и Советском Союзе, — лиц, лишенных фашистской окраски (а такие действительно были в лондонском эмигрантском кабинете), дружественно настроенных в отношении СССР. В качестве возможных членов такого реорганизованного правительства назывались доктор Ланге, экономист, читавший лекции в Чикагском университете, профсоюзный лидер Кржицкий, возглавлявший Американский славянский конгресс, и др. Премьером этого правительства мог бы остаться Миколайчик. Спустя некоторое время правительство США выдало Оскару Ланге

паспорт для поездки в СССР, где он должен был участвовать в обсуждении польской проблемы, которое было приурочено к приезду в Москву Черчилля и Миколайчика.

Однако, прежде чем прибыть в СССР, Миколайчик решил нанести визит в Вашингтон. Встретившись с Рузвельтом, он спросил, следует ли полякам принимать советские предложения. И тут произошло нечто странное. Президент, который совсем недавно в Тегеране согласился с черчиллевской формулой о границе по «линии Керзона», порекомендовал Миколайчику «оттянуть любое урегулирование о границах». Вслед за этим государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус разъяснил полякам, что, хотя в настоящий момент американцы не могут занять твердую позицию против СССР, «в недалеком будущем политика Вашингтона изменится, вернется к своим основным моральным принципам и сможет сильно и с успехом поддержать Польшу».

Такой неожиданный поворот администрации США сослужил Польше плохую службу. Полученные в Вашингтоне наставления обнадежили лондонских эмигрантов. Миколайчик не хотел и слушать доводов Оскара Ланге в пользу договоренности. Он решил не идти ни на какие соглашения. Дело еще более осложнилось из-за неудавшегося варшавского восстания, подготовленного эмигрантскими деятелями втайне от советского правительства.

Для меня до сих пор остается неясным, чем руководствовались в Белом доме, рекомендуя Миколайчику уклониться от договоренности. Похоже, что это было связано с предвыборными соображениями, поскольку после выборов в Вашингтоне явно ослаб интерес к польской проблеме. Еще в ходе происходящих в Москве в октябре 1944 года переговоров Миколайчик послал Рузвельту телеграмму с просьбой поддержать позицию эмигрантского правительства. Ответ он получил только 17 ноября, то есть уже после президентских выборов, причем вовсе не такой, какого ожидал. Президент сухо ответил, что поддержит любую договоренность, которую польское эмигрантское правительство достигнет с Советским Союзом. Вопрос о границе там вовсе не затрагивался, зато сведения о «жесткой» позиции администрации в польском вопросе просочились в прессу, и американские поляки голосовали за Рузвельта.

Никто, конечно, не может с уверенностью сказать, как развивались бы события при положительном исходе московских переговоров 1944 года. Нельзя исключить, что, если бы всем заинтересованным сторонам удалось тогда договориться,

реорганизованное эмигрантское правительство во главе с Миколайчиком могло бы после освобождения советскими войсками Варшавы перебраться туда из Лондона, и польский народ был бы избавлен от многих потрясений и жертв, а отношения между союзниками могли сложиться менее драматично.

Японская карта

Отклонив предложение Сталина о присылке американских войск на советско-германский фронт, Рузвельт еще до вступления США в войну проявлял интерес к возможному сотрудничеству с СССР, направленному против Японии, Осенью 1941 года из Вашингтона пришло послание президента, в котором указывалось, что согласно информации, полученной правительством США из надежного источника, Япония намерена в ближайшее время совершить нападение на советское Приморье. В этой связи Рузвельт предложил Сталину обсудить вопрос о создании американских военно-воздушных баз на Дальнем Востоке. Президент поинтересовался, как отнесется советское руководство к тому, чтобы специальная американская военная миссия прибыла в Москву для обмена мнениями по данному вопросу. Одновременно Рузвельт предложил также организовать переброску американских самолетов для Красной Армии через Аляску и Чукотку.

Вполне возможно, что имевшиеся у США сведения о японских планах нападения на Советский Союз носили достаточно достоверный характер. Тем более что Берлин оказывал на Токио сильное давление с целью побудить японское правительство присоединиться к войне против Советского Союза. Этот вопрос беспокоил и Сталина. Но обращение президента вызвало у него подозрения. Дело в том, что информация, которую советское правительство получало по своим каналам, в том числе и от Рихарда Зорге, советского разведчика, аккредитованного в Токио в качестве немецкого журналиста и сумевшего завязать тесные отношения с германским послом в Японии, несколько по-иному трактовала ситуацию. Копии этих донесений адресовались Молотову, и я, естественно, с ними знакомился прежде, чем доложить наркому. Речь шла о том, что в руководящих кругах Токио имеются серьезные разногласия в отношении того, где нанести главный удар. Одна группировка выступала в пользу военных действий против СССР на Дальнем Востоке. Другая настаивала на ударе по тихоокеанским базам США и продвижении в сторону Юго-Восточной Азии. В последних телеграммах Зорге сообщал, что чаша весов склонилась в сторону южного направления. В ближайшее время, сообщал он в своих зашифрованных и подписанных кличкой «Рамзай» телеграммах, следует ожидать нанесения удара против США, и потому Москва может не опасаться японского нападения, по крайней мере в ближайшее время. Это позволило Сталину перебросить часть

войск с Дальнего Востока в район Москвы. Они приняли участие в начале декабря 1941 года в битве за столицу, где немцы потерпели первое серьезное поражение.

В одной из телеграмм «Рамзай» приводил и более точные данные о японских планах. Он указывал, что скорее всего удар будет нанесен по военно-морским базам США на Гавайских островах. Эта информация поступила к Сталину тогда, когда президент Рузвельт особенно настойчиво предостерегал советского руководителя относительно нападения Японии на советское Приморье. Интересно, что Сталин не передал Рузвельту сообщение Рихарда Зорге. Почему? Возможно, он полагал, что Рузвельт воспринял бы такую информацию как попытку Сталина спровоцировать Вашингтон на вступление в войну, равно как и Сталин воспринял предостережение Рузвельта как стремление Белого дома втянуть Кремль в войну против Японии. Но мне представляется, что Сталин, скорее всего, руководствовался другими соображениями. Он считал, что чем неожиданнее, коварнее и разрушительнее будет японский удар, тем яростнее поведет американский народ войну против фашистской «оси».

Решение о переброске войск на советско-германский фронт было для Кремля нелегким. Пришлось пойти на серьезный риск. В этой ситуации предостережение Рузвельта и его предложение о совместных действиях против Японии требовали большой осторожности. Было ли то искреннее стремление предупредить Москву о грозящей опасности в Приморье? Или же Рузвельт, узнав, что в Токио решили нанести удар по американской территории, хотел использовать договоренность о проведении совместных американо-советских военных мер на Дальнем Востоке, чтобы добиться пересмотра японских планов в пользу северного варианта? Подозрительность Сталина привела его к выводу, что, так же как и в вопросе о войне с Германией, Рузвельт надеется отвести удар японцев от себя и направить его против Советского Союза. Возможно, было и несправедливо так думать о мотивах американского президента, но Сталин пришел к такому выводу. Он отклонил предложение Рузвельта о подготовке баз в Приморье для американских бомбардировщиков. Согласившись на то, чтобы специальная американская миссия прибыла в Москву, он ограничил круг обсуждаемых вопросов лишь проблемой переброски на советско-германский фронт истребителей, поставляемых Советскому Союзу американской стороной.

После нападения японцев на Пёрл-Харбор Сталин решил, что правильно оценил суть послания президента. Любопытно, однако, что и в дальнейшем Рузвельт несколько раз предупреждал

Сталина о якобы готовившемся японском нападении на СССР. Так, 17 июня 1942 г. новый посол США адмирал Стэндли передал Сталину послание президента, в котором говорилось, что ситуация, складывающаяся в северном районе Тихого океана, а также в районе Аляски, не исключает возможности японских операций против советского Приморья. «Если подобное нападение осуществится, — говорилось в послании, — то Соединенные Штаты готовы оказать Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами при условии, что Советский Союз предоставит этим силам подходящие посадочные площадки на территории Сибири. Конечно, чтобы быстрее осуществить подобную операцию, необходимо тщательно координировать усилия Советского Союза и Соединенных Штатов… Я считаю этот вопрос настолько срочным, что имеются все основания дать представителям СССР и Соединенных Штатов полномочия приступить к делу и составить определенные планы».

Это послание также насторожило Сталина. Отклонив предложение Рузвельта, он объяснил американскому послу, что в условиях, когда на советско-германском фронте идут тяжелейшие бои, когда немецкие дивизии продвигаются к Волге и предгорьям Кавказа, советское правительство не будет предпринимать никаких акций, которые могли бы усилить риск вооруженного конфликта с Японией.

Видимо, Рузвельт, получив информацию об этом обмене мнениями, понял, что не сможет подтолкнуть Москву к шагам, которые действительно могут осложнить положение на советском Дальнем Востоке. Во всяком случае, уже 5 августа из Вашингтона поступило президентское послание, в котором говорилось: «До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что правительство Японии решило не предпринимать в настоящее время военных операций против Советского Союза. Это, как я понимаю, означает отсрочку какого-либо нападения на Сибирь до весны будущего года».

Тем не менее на протяжении последующих месяцев с американской стороны не прекращались запросы относительно того, когда советская сторона будет готова присоединиться к войне, которую США ведут против Японии. И вообще, когда в Москве решат, хотя бы в принципе, вопрос об участии в этой войне.

Сталин долгое время не давал на эти запросы никакого ответа. Но вот во время пребывания в Москве государственного секретаря США Корделла Хэлла он решил, что настало время прояснить ситуацию.

Вечером 30 октября 1943 г. в Екатерининском зале Кремля

Сталин давал обед по случаю завершения работы Московской конференции трех министров иностранных дел — СССР, США и Великобритании. Самый большой стол тянулся вдоль стены с окнами, выходящими на Москва-реку. В центре сидел Сталин, справа от него Хэлл, слева — посол США в СССР Гарриман. Справа от Хэлла было мое место как переводчика.

Обед начался с многочисленных тостов, большинство из которых произносил Сталин. В перерывах между речами Сталин и Хэлл переговаривались в основном о положении на фронтах войны и итогах только что закончившейся конференции. Время от времени возникали довольно длительные паузы, и тогда я тоже успевал немного перекусить.

Вдруг я заметил, что Сталин наклонился в мою сторону за спиной Хэлла и манит меня пальцем. Я перегнулся к нему поближе, и он чуть слышно произнес:

— Слушайте меня внимательно. Переведите Хэллу дословно следующее: советское правительство рассмотрело вопрос о положении на Дальнем Востоке и приняло решение сразу же после окончания войны в Европе, когда союзники нанесут поражение гитлеровской Германии, выступить против Японии. Пусть Хэлл передаст это президенту Рузвельту как нашу официальную позицию. Но пока мы хотим держать это в секрете. И вы сами говорите потише, чтобы никто не слышал. Поняли?

— Понял, товарищ Сталин, — ответил я шепотом.

Хэлла чрезвычайно взволновало это сообщение. Американцы давно ждали решения Москвы. Теперь правительство США получило авторитетное заявление по столь важному для Вашингтона вопросу. В Белом доме связывали с советским участием в войне против Японии надежды на возможность сохранить более миллиона жизней американских солдат. Эта же мысль занимала и президента Трумэна в Потсдаме в 1945 году. Получив подтверждение Сталина о вступлении СССР в войну против Японии, он отметил в письме своей жене, что тем самым достигнута главная цель, которую он перед собой ставил на конференции, и что он думает об американских парнях, жизнь которых будет теперь сохранена.

Почему Сталин впервые сказал американцам об этом решении в октябре 1943 года? Думаю, тут были, по крайней мере, две причины. Во-первых, дело происходило после победы под Сталинградом и поражения немцев на Курской дуге. Красная Армия стремительно продвигалась на Запад. Поэтому, даже если бы японцы прослышали о советском решении, опасность того, что они предпримут упреждающую акцию в Приморье, стала минимальной. Во-вторых, связав срок выступления против

Японии с поражением Германии, Сталин давал понять Вашингтону, что чем скорее произойдет высадка во Франции, приблизив победу над «третьим рейхом», тем раньше Советский Союз присоединится к войне против Японии. Можно полагать, что это ускорило принятие западными союзниками решения о высадке во Франции.

Фактор бомбы

Хотя атомная бомба превратилась в важный элемент американской политики только при президенте Трумэне, уже в процессе изготовления это оружие, даже еще не испытанное, оказывало влияние на позицию Рузвельта и косвенно сказывалось при выработке послевоенного курса США, в частности в отношении Советского Союза. Специфический характер средств массового уничтожения стал прежде всего беспокоить ученых, занятых их созданием. Они предупреждали об опасных последствиях появления атомной бомбы. Однако высшие политические лидеры США и Англии поначалу, видимо, считали, что речь просто идет о новом оружии большой разрушительной силы. Они игнорировали предостережения творцов бомбы точно так же, как позднее это было с предостережениями академика Сахарова Хрущеву и Брежневу. Особенно Рузвельта и Черчилля раздражали настойчивые требования ученых раскрыть Советскому Союзу секрет изготовления атомной бомбы.

Конечно, история еще не знала случая, чтобы какая-либо страна поделилась сведениями о новом оружии с кем бы то ни было. Напротив, любые подобные открытия всегда строжайше охранялись. Но в данном случае складывалась особая ситуация. Во-первых, бомба создавалась в условиях войны против общего врага, когда между союзниками широко практиковался обмен военной информацией, образцами новейших видов оружия. Радар, сложные системы связи, ракетная техника, современные модели танков, самолетов — все это и многое другое стало как бы общим достоянием. Почему же делается исключение для атомной бомбы? Во-вторых, не только США, но и Англия, то есть двое из трех главных участников коалиции, знали о работе над бомбой. Сокрытие от третьего партнера выглядело весьма зловеще. В-третьих, и это отлично понимали ученые, в данном случае возникал принципиально новый вид оружия. Его создание требовало нестандартного подхода, а по существу, совершенно нового мировоззрения. Но могли ли такие новые взгляды появиться в тех условиях? Вряд ли. Ведь понадобилось почти полвека, прежде чем новое мышление во внешней политике начало пробивать себе дорогу.

Хотя в Вашингтоне и Лондоне, сохраняя секрет бомбы, чувствовали неловкость, там решили не поддаваться на уговоры «наивных» ученых мужей. В какой степени соображения, связанные с послевоенным отношением к Советскому Союзу, повлияли на позицию Рузвельта и Черчилля? Не менее важен

вопрос: чем руководствовались в Вашингтоне при решении использовать бомбу в войне против Японии? Все это касается не только американской дипломатии военного времени, но и последующего периода, так же как и причин возникновения «холодной войны».

Думаю, дело тут в том, что лидеры США и Англии уверовали: обладание атомной монополией даст им небывалый статус в мире, позволит добиться тех или иных уступок от других стран, в том числе и от Советского Союза.

Это нашло отражение и в том, как понимал свою задачу начальник Манхэттенского проекта генерал Гровс: «Спустя две недели после того, как я возглавил этот проект, у меня не было никаких сомнений, что Россия наш враг, и Манхэттенский проект осуществлялся на этой основе. Я вовсе не придерживался распространенного в стране мнения о России как о доблестном союзнике… Конечно, об этом докладывалось президенту».

И что же? Верховный главнокомандующий не дезавуировал своего подчиненного.

В заключенном летом 1943 года на Квебекской конференции соглашении, подписанном Рузвельтом и Черчиллем, отмечалось, что атомная бомба явится «решающим фактором в послевоенном мире и даст абсолютный контроль тем, кто обладает ее секретом». Президент и премьер-министр обязались не передавать третьей стороне никакой информации «без взаимного согласия».

Напомним, что встреча в Квебеке состоялась в период подготовки к Московской конференции министров иностранных дел трех держав — СССР, США и Великобритании, и к первой встрече «большой тройки» в Тегеране. В Москве государственный секретарь США Корделл Хэлл много говорил о важности послевоенного сотрудничества Соединенных Штатов и Советского Союза, об ответственности великих держав за поддержание мира. В Тегеране в беседах со Сталиным президент Рузвельт неоднократно указывал на важность американо-советского сотрудничества после победы над фашизмом как решающего фактора поддержания мира и обеспечения международной безопасности. И все это происходило на фоне Манхэттенского проекта. Рузвельт рассуждал о «четырех полицейских» — США, СССР, Великобритании и Китае, — обязанных охранять всеобщий мир, но умолчал, что из этих «четырех полицейских» только два будут обладать атомным оружием.

Уже на этой стадии Вашингтоном и Лондоном предпринимались меры к тому, чтобы перекрыть другим странам доступ к расщепляющимся материалам. 13 июня 1944 г. Рузвельт

и Черчилль подписали Декларацию об опеке, где указывалось, что США и Великобритания будут сотрудничать в целях установления контроля над имеющимися запасами урана и тория как во время, так и после войны. Далее объявлялось намерение обоих правительств «контролировать возможно более полным образом снабжение урановой и ториевой рудой в пределах границ регионов, находящихся под их соответствующей юрисдикцией, а также в других районах за пределами контроля двух правительств и правительств доминионов Индии и Бирмы».

Датский физик Нильс Бор — один из создателей американской атомной бомбы предпринял в июне 1944 года последнюю попытку убедить Рузвельта в необходимости проинформировать Москву о работе над новым оружием. Президент обещал обдумать этот вопрос. Однако, встретившись с Черчиллем в середине сентября в своем поместье в Гайд-Парке, президент США совместно с премьером Англии подтвердил неизменность решения о соблюдении секретности. Более того, оба лидера пришли к выводу, что Бору «не следует доверять». В последнем абзаце документа, подписанного 19 сентября 1944 г., говорится: «Необходимо расследовать деятельность профессора Бора и принять меры к тому, чтобы через него не произошло утечки информации, в особенности русским». Что же касается существа предложения Бора, то на него был дан недвусмысленный ответ в первом абзаце: «Предложение, чтобы мир (а по сути Советский Союз. — В. Б.) был информирован о «сплаве» (кодовое название атомной энергии. — В. Б.; fusion Hoaxer) с целью международного соглашения о контроле над ним и его использовании, неприемлемо. Это дело должно оставаться совершенно засекреченным».

В Ливадии, во время Крымской конференции руководителей трех держав в феврале 1945 года, Рузвельт спросил Черчилля, не следует ли на этой встрече сообщить Сталину о Манхэттенском проекте. Черчилль решительно возразил, заявив, что «шокирован» подобным предложением. Рузвельт не настаивал. Так была упущена последняя возможность создать более благоприятную атмосферу для послевоенного сотрудничества с Советским Союзом.

К сказанному добавим, что советское руководство уже на ранней стадии работы, проводимой над Манхэттенским проектом, имело об этом информацию от своих агентов. Возможно, Сталину следовало сообщить Рузвельту, что для него Манхэттенский проект не является секретом. Это, надо полагать, смутило бы наших партнеров по коалиции. А может быть, и побудило бы их обсудить проблему совместного контроля как над бомбой, так и

над атомной энергией.

Американцы были крайне заинтересованы во вступлении СССР в войну против Японии. В тихоокеанском регионе шли тяжелые бои. Положение союзников в Западной Европе также было нелегким. Накануне ялтинской встречи они даже просили Сталина пораньше начать новое советское наступление, что и было сделано. Конфронтация с Советским Союзом в тех условиях была не в интересах западных держав. В широкой общественности США и Англии были сильны настроения в пользу сохранения отношений дружбы и сотрудничества с СССР, и Рузвельт мог бы опереться на эти чувства, противодействуя нажиму крайне правых.

Молчание западных союзников Сталин воспринял как угрозу. Он поручил Берии руководство работой по созданию советского атомного оружия. Так было положено начало ядерной гонке. Заодно еще больше усилились подозрения Сталина, его сомнения в отношении возможного послевоенного сотрудничества.

В Главном Морском штабе

Подписание с гитлеровской Германией 23 августа 1939 г. пакта о ненападении было встречено советскими людьми со смешанным чувством. С одной стороны, шокировала договоренность с нацистами. Крутой поворот от крайней враждебности к сотрудничеству никак не укладывался в нашем сознании, впитавшем многолетнюю антифашистскую риторику.

С другой стороны, как это ни парадоксально, нормализация, пусть даже временная, отношений с немцами вызывала и чувство облегчения. Тревога по поводу неотвратимо надвигавшейся войны, холодное отношение к нам со стороны западных демократий, враждебность гитлеровцев, военные наскоки японских милитаристов рождали ощущение одиночества, зловещей изоляции, предвещавшей новые жертвы, страдания и невзгоды.

Устранение непосредственной угрозы фашистского нападения у многих породило надежды на возможность для нашей страны хоть на время остаться вне войны. Теперь, когда Гитлер обратил свой кровожадный взор в другую сторону, нам, казалось, можно было рассчитывать на продолжение мирной передышки. Война на Западе, если ее развяжет Германия, продлится, как полагали, многие месяцы, а то и годы, а мы будем в стороне. Никто тогда не мог предвидеть, что Франция будет разбита за несколько недель и что к лету 1940 года почти вся Западная Европа окажется под пятой нацистов.

Наша страна — единственное в то время государство, провозгласившее строительство социализма, — могла к тому же получить немалые выгоды. Советско-германское торговое соглашение, заключенное за несколько дней до подписания пакта о ненападении, предусматривало поставки в Советский Союз современного оборудования и новой технологии, в которой был заинтересован и наш военно-морской флот. Именно это обстоятельство сыграло роль и в моей судьбе, положив начало целой цепочке невероятных событий, вытолкнувших меня матроса Тихоокеанского флота — к самой верхушке сталинской административной пирамиды.

Понадобились люди, владеющие немецким языком. Кто-то из моих бывших владивостокских «учеников» предложил мою кандидатуру — и я был отозван в Москву.

Ярославский вокзал, куда поезд из Владивостока прибыл поздним вечером, был забит транзитными пассажирами. На скамьях теснились многодетные семьи. На полу, подложив под

голову свой скарб, расположились одиночки. Мне с трудом удалось найти в одном из залов свободный угол, где я и устроился на ночь. Газета послужила простыней, а вещевой мешок — подушкой. К тому времени я уже привык к подобным ситуациям.

Спать на каменном полу было, конечно, не очень-то удобно. К тому же донимали заботы — как бы не украли бескозырку с гордой надписью «Тихоокеанский флот» и с ног не сняли казенные ботинки. Да и не покидала мысль о том, что ждет меня в столице и зачем вообще меня сюда вызвали.

Наутро, отряхнув пыль и наскоро побрившись в привокзальном туалете, отправился на Гоголевский бульвар, где находился Наркомат военно-морского флота. Позвонил из автомата по указанному мне телефону и стал ждать в помещении бюро пропусков. Спустя минут десять открылась ведущая внутрь здания дверь и на пороге появился плотно сколоченный средних лет мужчина в форме капитана 2 ранга. Я вскочил и отдал честь:

— По вашему приказанию явился…

— Вольно, — прервал меня приятный низкий голос. Я же продолжал неподвижно стоять, чувствуя, что сейчас должно решиться что-то для меня очень важное.

— Садитесь, давайте поговорим…

Приветливый тон, обходительные манеры сняли мое внутреннее напряжение. Мы устроились на скамейке у небольшого столика.

Потом я узнал, что со мной беседовал Елизар Александрович Зайцев, участник испанской войны, где за боевые заслуги был удостоен редкого тогда ордена Красного Знамени. В годы Отечественной войны капитан 2 ранга Зайцев был начальником отдела внешних сношений Наркомата военно-морского флота и, естественно, поддерживал тесную связь с американскими и английскими военными представителями. Впоследствии Берия объявил Зайцева английским шпионом и отправил в тюрьму, откуда Зайцев вышел только после XX съезда партии больным и морально разбитым человеком.

В благожелательном тоне Зайцев расспросил меня о том, как проходила моя служба на Тихоокеанском флоте, что я окончил до призыва в армию, где изучал иностранные языки. Узнав о том, как я провел ночь, сказал, что мне предоставлена койка в общежитии матросов караульной службы, расположенном неподалеку от Павелецкого вокзала. Пояснил, что вопрос о моих новых обязанностях будет решен в ближайшие дни, и порекомендовал использовать свободное время для знакомства с Москвой. Он тут же выдал мне временное удостоверение, которое

служило пропуском в общежитие и в здание наркомата, где я мог питаться в краснофлотской столовой.

Вскоре меня вновь вызвал Зайцев. На этот раз он принял меня в своем рабочем кабинете, обставленном моделями различных боевых кораблей. Тут я узнал, что прикомандирован к Главному морскому штабу в качестве оперативного работника.

Зайцев сообщил далее, что ему предстоит выполнить важное поручение, к которому он решил привлечь и меня. На этот раз Зайцев был одет в штатский костюм. Он пояснил, что ему нередко приходится выполнять задания, где военная форма нежелательна. И сейчас мы оба должны были быть в штатском.

— У вас, конечно, нет никакой подходящей одежды, — полувопросительно, полуутвердительно произнес он.

— Так точно, товарищ капитан второго ранга.

— Зачем же столь официально! Вам следует привыкать к роли штатского человека. Обращайтесь ко мне по имени-отчеству.

— Слушаюсь, Елизар Александрович.

— Ну вот, так-то лучше, и можно обойтись без «слушаюсь». Теперь займемся вашей экипировкой.

Зайцев вызвал машину, и мы отправились на склад одежды специального назначения.

Зайцев выбрал для меня синий в полоску костюм, полдюжины белых и голубых рубашек, несколько комплектов нижнего белья, носовые платки, носки, черные туфли и небольшой кожаный чемоданчик. Все это было иностранного происхождения.

— Завтра вечером, — сказал Зайцев, — мы выезжаем «Красной стрелой» в Ленинград. Вам следует облачиться в штатское, освоиться с новой одеждой, захватить чемодан и быть в наркомате в 22.00.

«Бремен» в Мурманске

В поезде у нас было двухместное купе в спальном «международном» вагоне. Я полагал, что за чаем Зайцев посвятит меня в существо предстоявшего задания. Но он ограничился рассказом о Париже, а затем дал мне несколько советов, как держаться с иностранцами. Я поблагодарил, добавив, что имею некоторый опыт в этом отношении по работе гидом в «Интуристе» в Киеве в 1934 и 1935 годах.

— Знаю, — сказал Зайцев, — поэтому я вас и взял с собой.

Из всего сказанного можно было сделать лишь один вывод: предстоят встречи с иностранцами.

В Ленинграде, в штабе Балтийского военно-морского флота, нас встретил капитан 3 ранга Наум Соломонович Фрумкин. Он в общей форме рассказал об обстановке на Балтике после вторжения гитлеровской Германии в Польшу и о мерах, принятых командованием Балтфлота по обеспечению безопасности морских границ СССР. Здесь же из дальнейшей беседы Фрумкина с Зайцевым для меня несколько прояснилась цель нашей поездки. Оказывается, в Мурманск должен прибыть лайнер германского пассажирского флота «Бремен», курсировавший по линии Гамбург — Америка и оказавшийся в Нью-Йорке в день начала войны.

«Бремен», как и другое аналогичное судно — «Европа», являлся наиболее современным и комфортабельным лайнером, успешно конкурировавшим с британскими и французскими пассажирскими судами. Теплоходы служили в то время основным видом транспорта между Европой и Америкой.

После объявления Англией и Францией войны Германии британские власти попросили американцев наложить арест на «Бремен» в счет каких-то германских долгов. Портовая администрация уведомила капитана «Бремена» Аренса, что его корабль находится под арестом, — и тем ограничилась. Но капитан Арене воспользовался беспечностью американцев. Ночью «Бремен» незаметно отшвартовался, вышел из Гудзона и исчез в водах Атлантики. Англичане организовали погоню, но тщетно. Потом выяснилось, что «Бремен» круто повернул на север, в густом тумане счастливо миновал айсберги и, осторожно продвигаясь за Полярным кругом, добрался до советских территориальных вод. Уже на подходе к Мурманску капитан Арене прервал наконец радиомолчание и связался с Берлином. Оттуда обратились в Москву, сразу же получив согласие на заход германского лайнера в советский порт.

К моменту появления «Бремена» на горизонте мы с Зайцевым,

начальником мурманского порта и представителями местных властей уже стояли на пирсе. Огромное судно водоизмещением 34 тысячи тонн, заполонив чуть ли не весь залив, застыло на рейде.

Вместе с представительницей германского посольства в Москве госпожой Хэрварт мы добрались до судна на катере. Трап был спущен. Мы поднялись на главную палубу.

Капитан Арене поблагодарил за предоставленную возможность укрыться в Мурманске, угощал пенистым мюнхенским пивом из бочонка и ароматными сосисками с квашеной капустой. Затем нам устроили экскурсию по судну. Роскошные рестораны, музыкальные салоны, курительные комнаты, плавательный бассейн, закрытые и открытые прогулочные палубы с рядами шезлонгов, площадки для спортивных игр и, наконец, со вкусом обставленные каюты со всеми удобствами весь этот комфорт говорил об исключительной заботе о путешественниках. Но пассажиров на борту не было. Зато команда состояла почти из тысячи человек. Она оставалась на судне, пока подготавливалась и оформлялась их эвакуация. Вечерами моряков с «Бремена» доставляли катерами на берег, где они могли коротать время в мурманском интерклубе. Такие клубы для иностранных моряков работали практически во всех советских портах.

Мы тоже несколько раз посещали мурманский интерклуб. Интересная атмосфера царила там. В интерклубе завсегдатаями были норвежские, шведские, датские, голландские моряки с судов, заходивших в Мурманск. Хотя в клубе имелся небольшой читальный зал, где на столах раскладывали издававшиеся на английском языке «Московские новости» и «СССР на стройке», а также рекламные брошюрки «Интуриста», основное развлечение сводилось к выпивке и танцам. Украшали общество местные девицы, державшие себя весьма развязно. Бывали и потасовки, и тогда драчунов вежливо, но твердо разводил постоянно дежуривший у интерклуба военно-морской патруль.

Посещение интерклуба предоставляло возможность ближе познакомиться с моряками, побеседовать с ними за кружкой пива. Мне, со знанием немецкого и английского языков, не представляло труда завязать такую беседу. Хотя бы на одном из этих языков изъяснялся любой моряк. Помогал я и Зайцеву, не владевшему иностранными языками, вести беседы в интерклубе. Его интересовали отношение нейтралов к войне, сведения, которыми они могли располагать, о приготовлениях англичан и французов к активным военным действиям против Германии. Все это, вернувшись ночью в гостиницу, Зайцев тщательно заносил в

толстый блокнот, который всегда держал при себе.

Наконец настал день, когда на пирсе появились два железнодорожных состава из купированных жестких вагонов. К тому времени были уточнены списки немецких моряков, оформлены проездные документы. «Бремен» покинули почти все, кроме капитана Аренса, двух его помощников и небольшой группы механиков и матросов, необходимых для поддержания судна в рабочем состоянии. Эвакуируемые моряки разместились в вагонах, и поезда с небольшим интервалом двинулись в путь. Зайцев поручил мне сопровождать немецких моряков до границы, а сам вернулся в Москву. Я ехал во втором составе и помогал начальнику поезда общаться с немцами, да и сам старался быть заботливым хозяином. Ходил из купе в купе, справлялся о самочувствии, улаживал недоразумения в вагоне-ресторане и за дорогу сдружился со многими моряками. Это общение было и неплохой языковой практикой.

«Бремен» до середины декабря оставался в Мурманске, а затем под покровом полярной ночи добрался вдоль побережья нейтральной Норвегии к немецким территориальным водам и вернулся в порт приписки — Гамбург. Здесь судно было переоборудовано в плавучий госпиталь, но в этом качестве служить ему оставалось недолго. Вскоре его потопила британская авиация.

Укрытие «Бремена» в Мурманске — одна из первых важных услуг, оказанных советской стороной Германии после подписания пакта о ненападении. Вообще выгоды, которые Гитлер получил от улучшения отношений с СССР, были весьма значительны.

Опыт Ялты

Вторая встреча «большой тройки», состоявшаяся 4–11 февраля 1945 г. в Крыму, ознаменовала важнейший этап в истории антигитлеровской коалиции. Она подняла на новую ступень также и личные отношения Сталина и Рузвельта. Поездка президента на автомашине от аэродрома Саки, близ Симферополя, до Ялты позволила ему увидеть собственными глазами масштабы разрушений на оккупированных гитлеровцами советских территориях. Мне представляется, что он вполне искренне говорил тогда Сталину, что стал «более кровожадным» по отношению к нацистам. Президент также подчеркивал, что после победы Соединенные Штаты должны оказать экономическую помощь прежде всего Советскому Союзу. Если бы план Рузвельта осуществился, если бы к нам поступало американское оборудование и американские специалисты помогали осваивать новую технику, отношения между нашими странами могли бы сложиться по-другому. И когда в Ливадии в беседах с глазу на глаз со Сталиным президент развивал планы о будущем, он, похоже, исходил из возможности советско-американского послевоенного сотрудничества. Сталин тоже приветствовал такую возможность.

В целом атмосфера Ялтинской конференции была благоприятной, что способствовало достижению договоренности по вопросам, стоявшим на повестке дня.

В то же время с приближением окончания войны все больше давали себя знать и противоречия внутри коалиции. Рузвельт в беседах со Сталиным неоднократно подчеркивал, что с наступлением мирного периода активизируются силы, выступающие против сотрудничества США с СССР в послевоенное время. Поэтому президент продвигал идею послевоенного устройства и форсировал разработку принципов, на основе которых должна действовать новая организация международной безопасности.

Тогда все три лидера заявляли, что считают особенно важным сохранение единства великих держав, обеспечение механизма, который позволил бы им совместно действовать с целью поддержания прочного мира.

Верили ли они в такую возможность? Или же провозглашенные цели далеко не во всем отвечали их подлинным замыслам?

Сталин с подозрением воспринял формулу, выдвинутую англичанами и поначалу поддержанную американцами, о

правилах голосования в Совете Безопасности, новой международной организации. Он настаивал на сохранении права «вето», и когда вскоре после Ялты была достигнута договоренность о приемлемой процедуре, советская сторона расценила это как признак готовности Вашингтона строить послевоенные отношения с Москвой на основе равенства.

О Ялтинской конференции существует много литературы. Проблемы, которые там обсуждались, так же как и принятые решения, хорошо известны. И все же оказался живучим миф о том, будто в Крыму произошел раздел Европы. Ничего подобного там не было. Разговор шел лишь о разделе Германии. Причем на этот раз Рузвельт и Черчилль, которые еще в Тегеране энергично выступили в пользу расчленения Германии на несколько мелких государств, отстаивали свой план довольно вяло.

С советской стороны выражалось сомнение в реалистичности идеи раздробления Германии. В итоге в Ялте было решено передать этот вопрос на рассмотрение Европейской консультативной комиссии. В дальнейшем он был вообще снят с повестки дня. Что касается остальных восточноевропейских государств, то о них, кроме уже упоминавшегося польского вопроса, вообще не было речи в плане раздела сфер.

Из территориальных проблем было принято лишь решение о передаче Советскому Союзу Кенигсберга и прилегающего района Восточной Пруссии, а также достигнута договоренность об условиях (включая передачу Южного Сахалина и Курильских островов), на которых СССР вступит в войну с Японией.

Интересно, что и Сталин, и Рузвельт очень высоко оценили Ялтинскую конференцию. Оба они охарактеризовали ее как пример равноправных отношений. Президент Рузвельт говорил о «поворотном моменте» в истории США и всего мира. Он заявил, что эта встреча должна подвести черту под системой односторонних действий, замкнутых союзов, сфер влияния. Всему этому, сказал президент, предлагается замена — всемирная организация, в которой все миролюбивые государства смогут принять участие.

Мне представляется, что опыт Ялты, определенная степень доверия, обнаружившаяся тогда между Сталиным и Рузвельтом, могли привести к серьезным изменениям к лучшему в международных делах и во взаимоотношениях СССР и США. Ялта, казалось, открыла к этому путь. Такое ощущение было, во всяком случае, в Москве. Но оно длилось недолго.

Днепровская флотилия

Наш совместный с Зайцевым отчет о командировке в Мурманск был одобрен в Главном морском штабе, и я тут же получил новое задание — отправиться в Киев в распоряжение Днепровской военной флотилии.

Возможность побывать в Киеве очень обрадовала. Более года я там не был и теперь мог снова увидеть родителей, пообщаться с друзьями.

Но моя радость была преждевременной. В полученной инструкции значилось, что я, ни с кем не встречаясь, должен незамедлительно явиться в штаб флотилии, где мне дадут подробные разъяснения. Было сказано также, что речь идет о строго секретной операции и мне следует держаться соответственно. На этот раз я должен был ехать в военно-морской форме, но не краснофлотца, каким я проходил службу на флоте, а старшего лейтенанта. Так и значилось в выданном мне вместе с формой удостоверении. Впрочем, меня сразу же предупредили, что ранг присваивается мне только на время данной командировки.

Поезд пришел в Киев рано утром. Привокзальная площадь была пустынной. Я смотрел на так хорошо знакомый мне фасад здания вокзала, построенного в середине 30-х годов в стиле модернизированного украинского барокко. Моросил дождь, было зябко. Сколько раз я бывал здесь, встречая и провожая иностранных туристов! Я знал тут каждый закоулок, каждый переход, ведущий к платформам. И мне вспомнился летний солнечный день, ярко-желтый открытый автобус с разодетыми в пестро-заграничное веселыми юношами и девушками, прибывшими в столицу Советской Украины.

Подкатил зеленоватый «газик» с брезентовым верхом в темных потеках от дождя, и видение беззаботного лета 1935 года исчезло. Я устроился на заднем сиденье, поднял воротник плаща и надвинул на глаза фуражку, чтобы меня случайно не узнал кто-нибудь.

В штабе флотилии на Подоле меня ждали. Сообщили о цели командировки. Флотилия ушла вчера вверх по Днепру, а затем по Припяти к польской границе. Мы же — небольшая группа военных моряков, в которую входил и я, — должны были через несколько часов отправиться на катере тем же маршрутом.

17 сентября вместе с другими частями Красной Армии мы перешли советско-польскую границу и направились в сторону Пинска для участия в занятии города.

В секретном документе, с которым нас ознакомили, говорилось, что Красная Армия, выполняя приказ советского правительства, должна взять под защиту братское украинское и белорусское население, проживающее в восточных областях панской Польши. Нам разъяснили, что, хотя части Красной Армии и Флота вступают на территорию бывшей Польши как освободители, они должны решительно подавить любое сопротивление белополяков. Наконец, в документе отмечалось, что передовые советские части по-товарищески, в духе новых отношений с Германией встретятся с немецкими войсками на линии, указанной на соответствующих полевых картах.

Для меня все это было полной неожиданностью. Я никак не предполагал, что наша страна окажется соучастницей военных операций, проводимых гитлеровской Германией против Польши. Но зато теперь стало ясно, зачем меня к этой операции подключили. Предстояла «товарищеская» встреча с немцами на какой-то заранее согласованной линии, и вновь пригодилось мое знание немецкого языка. Стала также понятной и секретность, которой обставили мою командировку в Киев.

Еще перед рассветом 17 сентября мониторы и катера Днепровской военной флотилии двинулись вверх по Припяти и пересекли границу. Не ожидавшие нашего вторжения польские пограничники поначалу открыли огонь, но были быстро подавлены артиллерией флотилии. Потом произошло несколько столкновений с отступавшими на Восток под напором вермахта польскими войсками. Но их сопротивление было беспорядочным и вялым. К тому же наши листовки и радиорупоры обещали сдавшимся мир, доброе отношение и скорое возвращение к семьям. В действительности же большинство польских пленных попало не к семьям, а в трудовые лагеря, многие были расстреляны бериевскими палачами.

Мы дошли до Пинска фактически без потерь, если не считать нескольких легкораненых. Дальше река становилась мелкой, по ней могли двигаться лишь небольшие катера. Впрочем, до линии, на которой нам следовало встретиться с немцами, оставались считанные километры.

Встреча эта выглядела как свидание «товарищей по оружию». Наши и германские командиры поздравляли друг друга, пили за здоровье своих «вождей». По завершении операции в Пинске, Бресте и других пунктах состоялись совместные парады немецких и советских войск. Их принимали стоявшие рядом на импровизированной трибуне офицеры вермахта и Красной Армии. Каждому из нас было ясно, что без личного указания Сталина ничего подобного произойти не могло. Не было

сомнения и в том, что правительства СССР и Германии заранее договорились о линии разграничения на территории бывшей Польши и что такая договоренность, скорее всего, была достигнута во время визита в Москву гитлеровского министра иностранных дел Риббентропа.

В последнее время, особенно в связи с 50-летием начала второй мировой войны, шли горячие дискуссии вокруг оценок событий полувековой давности. Пишут о «разделе Польши» между Гитлером и Сталиным, об «оккупации» Прибалтийских государств, об «аморальном сговоре» двух диктаторов. Но мне, как свидетелю событий, происходивших осенью 1939 года, не забыть атмосферы, царившей в те дни в Западной Белоруссии и Западной Украине. Нас встречали цветами, хлебом-солью, угощали фруктами, молоком. В небольших частных кафе советских офицеров кормили бесплатно. То были неподдельные чувства. В Красной Армии видели защиту от гитлеровского террора. Нечто похожее происходило и в Прибалтике. Многие бежали от наступавшего вермахта на Восток, ища спасения на территории, контролировавшейся Красной Армией.

Признание миссис Пайпс

Как-то в начале 80-х годов меня пригласили выступить на международном форуме в Уэлсли-колледже, близ Бостона в США. Моим оппонентом был известный американский историк профессор Ричард Пайпс, ставший одним из помощников президента Рейгана.

Приглашение выступить на форуме по проблемам советско-американских отношений поступило от профессора Нины Тумаркиной, ведущей в колледже курс средневековой истории России, в частности эпохи Ивана Грозного. Нина, как она мне впоследствии рассказала, происходит из семьи крупных петербургских заводчиков, владевших макаронными фабриками и особенно гордившихся тем, что они находились среди «поставщиков двора его величества». Но главный доход давала монополия на снабжение макаронами и мучными изделиями русской армии. После революции Тумаркины эмигрировали, и Нина родилась в Соединенных Штатах.

— Когда в 50-е годы я впервые приехала в СССР учиться в Ленинградском университете, — вспоминала Нина, — то сразу отправилась по имевшемуся у меня адресу посмотреть, как выглядит наша семейная фабрика. Судя по знакомым мне фотографиям, внешне она все такая же, только на давно не ремонтировавшемся фасаде главного здания новая вывеска: «Красный макаронщик». Родители говорили, что наши изделия пользовались большой славой. Впрочем, макароны, которые я пробовала в студенческой столовой, показались мне неплохими…

Пайпса Нина пригласила потому, что в свое время слушала его лекции об эпохе Ивана Грозного.

После дискуссии был устроен ужин, где я оказался за одним столом с супругой моего оппонента. Сначала разговор с миссис Пайпс носил светский характер. Затем перешли к теме форума, и тут я услышал от моей собеседницы нечто неожиданное. Она выразила сожаление по поводу резкостей, которые позволил себе ее супруг по отношению к СССР. Я заметил, что, зная взгляды профессора Пайпса, не ожидал иного.

— Но мне, — настаивала миссис Пайпс, — всегда в таких случаях неловко.

— Вот как? — меня и впрямь поразило такое признание.

Моя собеседница пояснила:

— Я всегда буду благодарна Красной Армии, спасшей жизнь мне и моим родным в 1939 году. Я была еще совсем маленькой. Мы жили в Варшаве и, когда Германия напала на Польшу, бежали

на Восток. Оказались в районе Пинска в расположении Красной Армии, вступившей в Западную Белоруссию. Никогда не забуду, как хорошо отнеслись к нам и другим беженцам ваши офицеры и солдаты. Нас накормили, дали кров. Потом советские власти помогли переправиться в Вильнюс — тогда Литва была еще буржуазной республикой. Родители списались с родственниками в Америке. Так мы оказались здесь. Если бы не Красная Армия, мы бы погибли. Все наши близкие, оставшиеся в Варшаве, были уничтожены нацистами в гетто. Ричард тоже выбирался из Польши через Прибалтику, но он не любит вспоминать об этом…

Тогда, в Пинске и в других местах, мы действительно помогли спастись многим, бежавшим от нацистов. В связи со знанием иностранных языков меня задержали в Западной Украине для работы с беженцами, которых во Львове оказалось великое множество. Мы, например, помогли известному американскому трубачу Эдди Рознеру, которого вместе с его джаз-оркестром гитлеровское вторжение застало на гастролях в Польше. Он изъявил желание перебраться в Советский Союз, где поначалу имел большой успех. Помогли мы устроиться во Львове и всемирно известной певице Еве Бандровской-Турской. Старались облегчить участь многих других беженцев. Но я никак не ожидал, что среди тех, кому мы помогали в Пинске, были члены семьи будущего помощника президента США.

Судьба этих беженцев сложилась по-разному. Профессор Пайпс и его супруга стали американскими гражданами, оказались в высших слоях так называемого «среднего класса» Соединенных Штатов. А Эдди Рознеру и его коллегам вскоре пришлось познакомиться с прелестями лагерной жизни в Магадане — «столице Колымского края». Правда, там ему дали возможность виртуозной игрой на трубе услаждать слух лагерного начальства.

Встреча с Евой Бандровской-Турской была для меня особым событием. Весной 1937 года она приезжала на гастроли в Киев, где дала несколько концертов в зале бывшего купеческого собрания. Вместе с другими ее молодыми обожателями я пробрался за кулисы с букетом красных роз и был допущен к ее ручке. Как ни странно, она запомнила этот мимолетный эпизод и очень обрадовалась, увидев меня во Львове. Я пригласил ее на выступление красноармейской самодеятельности, достав билеты в первый ряд. Это оказалось опрометчиво с моей стороны, ибо, подойдя к своим креслам, мы увидели рядом начальника львовской госбезопасности Серова. Привстав, он приветствовал актрису нагловатой усмешкой. Она слегка кивнула, затем, когда погас свет, шепнула мне:

— Меня с ним знакомили… Я его боюсь.

В антракте, как и вся публика, мы прогуливались в гостиной, примыкавшей к зрительному залу. Не успели сделать и двух кругов, как к нам подошел молоденький офицер в форме внутренних войск.

— Прошу прощения, — обратился он ко мне, — вас просит на минуточку генерал Серов.

Я извинился перед Бандровской-Турской и последовал за офицером. Пройдя полутемный коридор, вошли в небольшую комнату. Посредине стоял стол с напитками и закуской, вокруг него подкреплялось несколько работников НКВД. Генерал Серов стоял в сторонке. Я подошел к нему:

— Слушаю вас, товарищ генерал.

— Какое отношение имеете вы к Еве Турской?

Я объяснил, что познакомился с ней во время ее гастролей в Киеве два года назад и теперь случайно встретил среди других беженцев.

— Так вот, это ваше знакомство следует немедленно прекратить! — строго сказал генерал.

— Почему?

— Это не ваше дело, и вообще вам не по чину задавать мне вопросы.

Если бы он только знал, что с ним разговаривает не старший лейтенант, а простой краснофлотец, он бы упек меня на гауптвахту. Но я не сдавался.

— Мне непонятно, что предосудительного в том, чтобы поддерживать в это трудное для нее время старое знакомство?

— Если непонятно, я объясню: мы намерены работать с ней, и никто тут не должен вмешиваться. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал, — ответил я, чувствуя, что это может плохо для меня обернуться.

После окончания концерта я проводил певицу до гостиницы и обещал позвонить в ближайшие дни. Но не сделал этого.

Генерал Серов не ограничился разговором со мной. На следующий день ко мне поступила шифровка от начальства из Москвы: прекратить всякий контакт с Евой Бандровской-Турской.

Не знаю, к чему привело намерение генерала Серова «работать» с Евой Бандровской-Турской. Вскоре ее отправили в Киев, и я потерял ее из виду. Но потом мне где-то попадались афиши с ее именем.

После объединения с БССР и УССР атмосфера в Западной Белоруссии и Западной Украине стала меняться к худшему. Связано это было с решением Сталина провести ускоренную советизацию новых территорий. Начались раскулачивание, насильственная коллективизация, ликвидация частных

предприятий и кустарных мастерских. Особенно ударило по местному населению то, что рубль приравняли к польскому злотому, который в действительности котировался куда дороже. Цены на многие товары в Советском Союзе были гораздо выше, чем в западных областях. Скажем, наручные часы в Москве стоили 300–400 рублей, а во Львове — 30 злотых. Аналогичный разрыв в ценах был и на другие предметы. В итоге буквально за несколько недель опустели полки в промтоварных магазинах. Наши офицеры и работники различных советских ведомств, нахлынувшие в освобожденные районы, скупали все, что в Москве являлось дефицитом. Мелкие лавочки и кустари разорились. Цены на все, включая и продовольствие, подскочили до небес, а заработная плата у местного населения все еще оставалась прежней и выплачивалась в злотых.

Все это, естественно, вызвало протесты. Вспыхнули студенческие демонстрации. Недовольство носило главным образом экономический характер. Но наши органы безопасности, возглавлявшиеся бериевским сатрапом генералом Серовым, объявляли эти в общем-то обоснованные протесты контрреволюционными, антисоветскими вылазками. Начались аресты, жестокие расправы с участниками демонстраций, депортации, что еще больше обострило ситуацию.

По разным делам, связанным с положением беженцев, мне несколько раз приходилось бывать в ведомстве Серова. Стало обычным, что наши органы госбезопасности занимали в освобожденных районах помещения бывшей жандармерии, что многим украинцам и белорусам, ненавидевшим секретную службу панской Польши, представлялось особенно зловещим. Использовать такие здания было, видимо, удобно, ибо там имелись подземные тюрьмы. Однако с политической точки зрения это было, конечно же, недопустимо, ибо оскорбляло чувства населения. Но кто тогда думал о таких тонкостях!

И вот в серовском управлении я видел избитых в кровь юношей в изорванной студенческой форме. Они лежали на голом полу в полуобморочном состоянии. Видимо, в подземельях уже не хватало места. Жертв серовского террора выволакивали из кабинетов следователей в коридор.

В сентябре 1939 года советских солдат встречали как освободителей — с цветами и хлебом-солью. А в июне 1941 года в Западной Украине и Западной Белоруссии так поначалу встречали уже немцев. С нашими неумелыми и жестокими действиями в конце 1939 и в 1940 годах была связана и длительная послевоенная борьба с бендеровцами в Закарпатье.

Несмотря на ускоренную советизацию, во Львове в конце

1939 года еще сохранялись «остатки прежней роскоши». В гостинице «Жорж», где я остановился, в ресторане играл гигантский джаз и вышколенные официанты подавали польские и французские блюда. Каждый вечер публика валила в кафе «Голебник» («Голубятня»), расположенное под крышей большого универмага. А любители экзотики могли посидеть за бокалом шампанского в полумраке ночного клуба «Багатель», где стены, ложи и кресла были обиты бордовым бархатом и полуголые танцовщицы поочередно с певцами, исполнявшими французские романсы, развлекали посетителей. Магазины, впрочем, уже встречали покупателей пустыми полками, но в крытом застекленном пассаже весь день шла бойкая торговля самыми модными вещами по спекулятивным ценам, которые все же были ниже московских.

В то время Львов мог похвастаться и оживленной культурной жизнью. Небольшие картинные галереи с современными полотнами, всевозможные выставки и экспозиции — все это привлекало публику. Известные польские труппы, спасаясь от нацистов, бежали на Восток и теперь осели во Львове. Недаром тогда была популярной польская песенка «Тилько ве Львове» («Только во Львове»)…

Было тут немало театральных коллективов из Швейцарии, Норвегии, Дании, гастролировавших в Польше и застигнутых войной. Мы помогли многим из них вернуться через Советский Союз на родину.

Мне пришлось недолго пробыть в этой неповторимой призрачной атмосфере. Пришел вызов в Москву. Там велись интенсивные переговоры с немцами по выработке нового торгового соглашения. В них принимали участие и представители Наркомата военно-морского флота. Я им понадобился как переводчик.

Отчий дом

По пути в Москву я остановился в Киеве. На сей раз можно было задержаться там на несколько дней. Я воспользовался этим, чтобы встретить новый, 1940 год с родителями и друзьями.

Киев как бы приветствовал меня солнечным морозным утром. За окном вагона мелькали знакомые с детства названия — Ирпень, Пуща-Водица, Пост-Волынский. Вот и киевский вокзал. Сердце радостно екнуло, когда на перроне увидел отца. Он сообщал в письмах, что чувствует себя неважно, но все же пришел меня встретить. Отец сильно постарел, некогда черные как смоль волосы стали совсем белыми. На нем были поношенное осеннее пальто и старая, еще дореволюционная фуражка с эмблемой дипломированного инженера. Мне стало как-то неловко. Во Львове я приоделся и вышел из «международного» вагона франтом, в модном, подбитом мехом, плаще, английской фетровой шляпе, благоухая японскими мужскими духами. После объятий и поцелуев отец даже как-то неодобрительно на меня поглядывал: мой вид казался ему вызывающим и неуместным среди серой массы людей, толпившихся на вокзале. Но дома отец быстро оттаял, и мы провели вместе несколько чудесных дней.

Нет ничего радостнее возвращения в отчий дом после долгой разлуки. Мама приготовила новогодний ужин с украинской спецификой: кутья, взвар, домашняя колбаса, окорок, запеченный в тесте, фаршированная щука и, наконец, ее коронные блюда — «хворост» и торт «Наполеон» с ароматным кремом между тонкими хрустящими прослойками. В киевских магазинах еще можно было тогда купить хорошие продукты, хотя уже появились наши знаменитые «перебои в снабжении».

Под Новый год собрались старые приятели. Пахло хвоей от свежесрубленной елки. Потрескивали свечи.

В графине янтарными блестками переливалась неизменная отцовская настойка на стеблях зубровки. Было и традиционное трио: отец — скрипка, мой школьный товарищ Георг Фибих — виолончель и я — рояль. Когда-то, в середине 30-х годов, казавшихся теперь такими далекими, в теплые летние вечера на тротуаре под цветущими липами у нашего открытого окна останавливались прохожие послушать любительские домашние концерты.

И вот мы снова вместе. Какое душевное тепло, спокойствие! Вспомнили разученный еще в немецкой школе рождественский хорал: «Тихая ночь, святая ночь…»

Мы никогда не были очень близки с отцом. Он днями и

вечерами пропадал на службе, а по ночам корпел над чертежами, чтобы подзаработать. Он был виртуозный чертежник и талантливый инженер старой петербургской школы. А я днем работал на заводе, затем занятия на вечернем отделении Политехнического института, в «Интуристе». Выходные дни каждый проводил по-своему. Но в те несколько последних дней 1939 года нас что-то неудержимо тянуло друг к другу. И расставание в первый день нового, 1940 года было очень тяжелым — как будто оба мы предчувствовали, что никогда больше не увидимся…

За время моего отсутствия жизнь в Москве стала заметно труднее. Город выглядел неухоженным, кое-где перед магазинами выстраивались очереди. Из-за наших неудач в войне с Финляндией настроение в столице было подавленное. Самонадеянное намерение Сталина с наскока покончить со строптивыми финнами обернулось кровавой эпопеей и позорным топтанием на месте. Пришлось мобилизовать новые силы, чтобы осуществить прорыв обороны противника. Транспорт был забит военными грузами, и это сразу сказалось на снабжении городов.

Мне предоставили койку в офицерском общежитии на углу Арбата и улицы Веснина. В небольшой комнате нас было четверо. Зато было чисто, тепло и тихо заботами тети Нюси, следившей за порядком. В коридоре стоял титан с кипятком, рядом на столике — все необходимое для заварки чая.

Моими соседями оказались знакомые ребята. Они сразу же ввели меня в курс нелегкой московской жизни.

Переговоры с немцами о новом торговом соглашении близились к завершению. Они проходили в Наркомате внешней торговли. Туда же приезжала и наша группа работников Наркомата военно-морского флота. Шел упорный торг с германской делегацией, возглавлявшейся посланником Шнурре. Одновременно формировался состав советской закупочной комиссии, которая должна была отправиться в Германию для наблюдения за ходом реализации договора и приемки немецких поставок. В комиссию был включен и я, видимо, потому, что уже имел некоторый опыт работы в инженерном отделе Тихоокеанского флота, а главное, владел немецким языком.

11 февраля 1940 г. новое торговое соглашение наконец подписали, и мы вскоре отбыли в Берлин. Закупочную комиссию возглавил член ЦК партии, нарком судостроительной промышленности И. Ф. Тевосян, человек близкий к наркому внешней торговли, члену политбюро А. И. Микояну и даже, как полагали, к самому Сталину.

Предсмертная телеграмма Рузвельта

В последние недели жизни Рузвельта его отношения со Сталиным были омрачены происходившими в Берне переговорами английских и американских представителей с руководителем гестапо в Италии генералом СС Карлом Вольфом. В них участвовал и американский резидент в Швейцарии Аллен Даллес, что придавало им особый характер. Об этих контактах посол США в Москве Гарриман проинформировал Молотова только 12 марта 1945 г., хотя переговоры в Берне велись в середине февраля.

Сталин очень резко реагировал на эти переговоры. Он усмотрел в них нечто похожее на попытку сепаратной сделки западных союзников с немцами за спиной СССР. Требование советского правительства о том, чтобы в переговорах приняли участие представители военного командования Советского Союза, было отклонено.

Поскольку дело приобрело скандальный характер, к нему подключили Рузвельта. 25 марта в Кремль поступило личное послание президента. В нем Рузвельт, сославшись на обмен письмами по данному вопросу между Гарриманом и Молотовым, убеждал Сталина, что «в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены Вам правильно». Рузвельт завершил свое послание на примирительной ноте: «… надеюсь, что Вы разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя».

29 марта Сталин сообщал президенту США, что он не только не против, но, наоборот, целиком стоит за капитуляцию немецких армий на том или ином участке фронта. «Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, — продолжал Сталин, — если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего на советский фронт».

У Сталина имелись сведения, что под прикрытием переговоров в Берне гитлеровское командование начало перебрасывать войска из Италии на советско-германский фронт. Дело приняло серьезный оборот. На резкую реакцию Москвы

Рузвельт ответил 1 апреля 1945 г. В послании говорилось, что вокруг переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии «создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия».

Нельзя исключать, что президент Рузвельт мог не знать всех подробностей бернских переговоров и что суть дела от него скрыли. Есть немало данных о различных тайных «инициативах» американских секретных служб. Так, в октябре 1943 года выдававший себя за журналиста американский разведчик Теодор А. Морде встретился в Турции с германским послом фон Папеном и передал ему документ, который должен был стать основой политического соглашения между США, Англией и Германией. В частности, там выражалась готовность признать господствующее положение Германии в «континентальной Европе», включая Польшу, Прибалтику и Украину.

Составители этого документа предлагали осуществить расчленение Советского Союза и передать Германии часть его территорий. За это немцы обещали открыть американцам и англичанам фронт на Западе.

Узнав об этом, Рузвельт запретил дальнейшие зондажи и распорядился отобрать заграничный паспорт у Морде. Однако и после этого тайные контакты американской разведки с вражескими эмиссарами не прекращались.

Последнее послание Рузвельта Сталину по поводу бернского инцидента поступило в Москву 13 апреля 1945 г., то есть на следующий день после кончины президента. В телеграмме отмечалось, что вся эта история «поблекла и отошла в прошлое, не принеся какой-либо пользы… Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».

Этим, оказавшимся предсмертным, посланием Рузвельт подчеркивал важное значение доверительных отношений, элементы которых, несмотря на все сложности, просматривались во взаимоотношениях Рузвельта и Сталина.

Если бы Рузвельт прожил дольше, то, возможно, отношения в послевоенный период сложились бы более благоприятно. Не исключено, что при наличии известной степени доверия между Рузвельтом и Сталиным удалось бы избежать крайностей и опасных конфронтации «холодной войны». Преждевременная смерть Рузвельта и приход в Белый дом Трумэна коренным образом изменили ситуацию, вызвав соответствующую реакцию

советской стороны.

Глава шестая

Сталин и Черчилль

Первая встреча Сталина с Черчиллем произошла в весьма неблагоприятной обстановке. Британский премьер прибыл в Москву, чтобы сообщить главе советского правительства об отказе от данного западными союзниками каких-нибудь два месяца назад обещания открыть второй фронт во Франции в 1942 году. Обязательство это было сформулировано в официальном коммюнике, во время визита Молотова в Лондон и Вашингтон в мае — июне 1942 года. «Достигнута договоренность, — гласил опубликованный документ, — в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».

Для Советского Союза это был очень трудный период. Хотя гитлеровский «блицкриг» не состоялся, а поражение немцев под Москвой в декабре 1941 года показало, что Красная Армия способна наносить захватчикам чувствительные удары, нацистская Германия все еще обладала огромной мощью. Отсутствие второго фронта позволило командованию вермахта сосредоточить на советско-германском фронте к весне 1942 года гигантские силы. На юге германские войска в течение лета стремительно продвигались к Волге и Кавказу. Советские части в кровавых боях вынуждены были отдавать врагу все новые пространства. В Москве опасались нового прорыва фронта гитлеровцами.

Молотов, прибыв в Лондон, задал Черчиллю вопрос: какова будет реакция Британии, если Красная Армия не устоит в 1942 году? Премьер ответил, что в конечном счете объединенная мощь Великобритании и Соединенных Штатов возьмет верх, но добавил: «Британская нация и армия мечтают сразиться с врагом как можно скорее и таким образом оказать помощь доблестной борьбе Советской Армии и народа». Такое заявление можно было интерпретировать как готовность английского правительства отвлечь на себя часть германских дивизий. Подписанный тогда же Молотовым и Иденом Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании о союзе и войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны представлялся важным обязательством сторон предпринимать совместные действия против общего врага.

Еще больше ободрили Молотова беседы с Рузвельтом в Вашингтоне и твердое обещание президента открыть второй фронт в 1942 году. Забрезжившая наконец надежда на создание второго фронта ободрила фронтовиков и тружеников тыла.

Возродилась вера в победу, прибавив новые силы людям, обескураженным бесконечными поражениями и отступлением. Теперь им предстояло испытать новый моральный удар. Черчилль не мог не думать обо всем этом, направляясь в Москву.

Во второй половине дня 12 августа 1942 г. в Центральном аэропорту на Ленинградском проспекте собралась, как обычно в таких случаях, группа советских руководителей во главе с Молотовым. Среди встречавших находился также начальник Генерального штаба Красной Армии маршал Шапошников. Было жарко и безветренно. Все расположились под навесом небольшого здания аэровокзала. В воздухе ощущался аромат разогретой полыни, слышалось жужжание пчел, щебетание птиц. Но эта казавшаяся безмятежной картина не настраивала присутствовавших на беззаботный лад. Шел второй год жестокой войны, которую советский народ вел фактически один против сильного и беспощадного врага. Собравшиеся в аэропорту штатские и военные имели непосредственное отношение к организации отпора гитлеровским захватчикам. Они лучше, чем кто-либо другой, знали, насколько отчаянно обстояли дела, и потому с тем большим напряжением всматривались в небо в ожидании высокого гостя из Великобритании. Зачем ему понадобился столь внезапный визит? Что везет он в своем портфеле?

В небе появилась черная точка. Очерчивая большой полукруг, она быстро увеличивалась и вскоре приняла очертания самолета. Проскользнув над крышами домов, он коснулся бетонной дорожки и, притормозив, съехал на траву. Плавно перекачиваясь, пересек зеленое поде и остановился неподалеку от нас.

Самолет казался необычно грузным, фюзеляж чуть ли не касался земли. Я ожидал, что в борту откроется дверца, но вместо этого из люка в брюхе самолета спустили на траву металлическую лесенку, и по ней сразу же стали спускаться ноги в тяжелых ботинках и изрядно помятых брюках. Ноги как бы присели, дав возможность объемистому туловищу выбраться из кабины. Вот и голова Черчилля. Придерживая рукой шляпу, он настороженно огляделся вокруг, как бы оценивая ситуацию. Нешуточное дело! Он впервые оказался в стране большевиков, которую после Октябрьской революции пытался «задушить в колыбели», против которой организовал интервенцию держав Антанты. Да и нынешняя его миссия не из приятных.

При первой своей встрече со Сталиным ему предстоит объяснить, почему обещанная высадка во Франции не состоится. Дело не в том, что подумает о нем Сталин. Его, отпрыска старинного гордого рода Мальбруков, мало заботит мнение этого

сына нищего сапожника, семинариста-недоучки, кровавого диктатора. Советская печать не воспроизвела полностью его, Черчилля, речь по радио в день нападения Германии на Советский Союз. Народ России лишь узнал, что Англия готова поддержать его в борьбе против гитлеровских захватчиков. Но Сталин, конечно же, знает весь текст, включая и пассаж, где говорится, что «нацистский режим не отличим от худших черт коммунизма» и что никто не был более последовательным, чем он, Черчилль, противником коммунизма на протяжении двадцати пяти лет. Черчилль не отказался ни от одного своего слова.

Сталин пропустил все это мимо ушей. Более того, он в первой же своей после гитлеровского вторжения речи, произнесенной 3 июля 1941 г., назвал выступление Черчилля «историческим», заявив, что готовность Великобритании оказать помощь может «вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза». Впрочем, сам Черчилль тоже считал, и об этом он не раз говорил своим коллегам, что сейчас не время вспоминать о советской системе, о Коминтерне. Надо протянуть руку помощи стране, оказавшейся в беде.

Сталин сумел продержаться в войне более года, Красная Армия, хотя и несет огромные потери, все же перемалывает германскую военную машину. Важно не слишком обескуражить русских. Их сопротивление жизненно необходимо для Британии и Америки. Оно позволяет накопить силы, чтобы в подходящий момент ударить по Гитлеру…

К тому времени как Черчилль выбрался из-под фюзеляжа, перед ним уже стоял Молотов. Они поздоровались как старые знакомые. Нарком представил премьеру маршала Шапошникова. Черчилль тут же пояснил, что не может сейчас познакомить маршала со своими военными экспертами, так как самолет, на котором они вылетели из Тегерана, вынужден был из-за неисправности вернуться обратно, и они, так же как и находившийся в этом самолете постоянный заместитель министра иностранных дел Кадоган, прибудут только завтра. Вместе с Черчиллем находился Гарриман в качестве личного представителя президента Рузвельта. Встречающие знали его по прошлому приезду в Москву. Британский премьер выступил перед микрофоном с хвалой героическому сопротивлению советского народа гитлеровскому вторжению, обещанием поддержки и выражением уверенности, что совместные усилия союзников приведут к полному разгрому нацизма.

Оркестр исполнил гимн Великобритании и советский гимн «Интернационал». Черчилль и Молотов обошли строй почетного караула. Солдаты в стальных шлемах и полной выкладке стояли

не шелохнувшись, лишь поворачивая головы вслед за премьером, который пристально всматривался в их лица, словно хотел удостовериться в их стойкости.

С аэродрома Черчилля доставили в отведенную ему резиденцию в Кунцево. Гарриману был предоставлен особняк на улице Островского. Остальные члены делегации разместились в гостинице «Националь». Черчилля поразили удобства этой виллы, чего он никак не ожидал в осажденной Москве. Ему сразу же приготовили горячую ванну, в которой он долго нежился после длительного и утомительного перелета. В столовой был сервирован изысканный ланч. Вышколенные официанты, разнообразные закуски, красная и черная икра, холодный поросенок, блюда кавказской, русской и французской кухни, вина, крепкие и прохладительные напитки, дорогая сервировка — всего этого лидер тори не рассчитывал встретить в стране большевиков. Он на всякий случай даже захватил с собой из Лондона сандвичи, полагая, что в Кремле живут впроголодь. Позже, сказав об этом Сталину, он признался, что не надеялся на столь обильное угощение, съел в самолете несколько бутербродов, испортив себе аппетит. А Сталин впоследствии, в узком кругу, рассказывал об этом, приговаривая:

— Что за лицемер Черчилль! Хотел меня убедить, будто с такой комплекцией сидит в Лондоне только на сандвичах…

Молотов заметил, что когда весной 1942 года в английской столице Черчилль пригласил его на ланч, то, кроме овсяной каши и ячменного эрзац-кофе, ничего не подавали.

— Все это дешевая игра в демократию, Вячеслав. Он тебя просто дурачил, убежденно сказал Сталин. Он не мог себе представить, чтобы где-то руководители делили тяготы со своим народом.

Черчилль недолго наслаждался прелестями своей резиденции. В тот же вечер состоялась его первая беседа со Сталиным.

«Не бойтесь немцев!»

Вскоре после семи часов машина Черчилля, миновав Красную площадь, въехала через Спасские ворота в Кремль и остановилась у здания Совета Народных Комиссаров под вычурным навесом крыльца, через которое обычно входил в свои апартаменты Сталин. Британского премьера сопровождали Аверелл Гарриман, посол Великобритании в СССР Арчибальд Кларк Керр и переводчик Денлоп. Павлов в качестве официального переводчика с советской стороны встретил всю группу у входа, провел на второй этаж и дальше по коридору в кабинет главы советского правительства. Меня тоже вызвали туда для записи беседы незадолго до прибытия гостей. Мое появление служило своеобразным сигналом о том, что иностранцы явятся с минуты на минуту. Сталин и Молотов прервали беседу, связанную с визитом британского премьера. Я услышал лишь последние слова Сталина:

— Ничего хорошего ждать не приходится.

Он выглядел угрюмым и сосредоточенным. На нем был обычный китель полувоенного покроя, к брюкам, заправленным в кавказские сапоги, давно не прикасался утюг.

Открылась дверь, и в проеме появилась тучная фигура Черчилля. Он на мгновение задержался, огляделся вокруг. Его взгляд скользнул по висевшим на стене портретам прославленных русских полководцев — Александра Невского, Кутузова, Суворова, по увеличенной фотографии Ленина и, наконец, остановился на Сталине, неподвижно застывшем у своего письменного стола и внимательно рассматривавшем заморского гостя. О чем он мог думать в этот, несомненно, исторический момент? Испытывал ли он удовлетворение от того, что к нему в Кремль пожаловал лидер британских тори, никогда не скрывавший неприязни к созданной Сталиным системе?

Разумеется, только чрезвычайные обстоятельства вынудили Черчилля приехать в Москву. До нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Великобритания находилась в отчаянном положении. Сам Черчилль допускал возможность оккупации нацистами английских островов, обещая в таком случае продолжение борьбы с территории Канады.

Советско-германский вооруженный конфликт коренным образом изменил обстановку. В Лондоне вздохнули с облегчением. Чем дольше этот конфликт продлится, тем больше у Англии шансов избежать вторжения и в конечном счете оказаться в числе победителей. Но пусть Черчилль не обольщается — так

просто русские не гарантируют успех. Ему придется тоже потрудиться и пролить кровь. Если он собирается торговаться о втором фронте, надо ему показать, что это чревато опасностью и для Британии.

Сохраняя суровое выражение лица, Сталин медленно двинулся по ковровой дорожке навстречу Черчиллю. Вяло протянул руку, которую Черчилль энергично потряс.

— Приветствую вас в Москве, господин премьер-министр, — произнес Сталин глухим голосом.

Черчилль, расплывшись в улыбке, заверил, что рад возможности побывать в России и встретиться с ее руководителями. Улыбка премьера мне показалась деланной, плохо скрывающей его нервозность. Нередко приходилось наблюдать подобную реакцию иностранных посетителей при встрече со Сталиным. Несомненно, большинство из них считали его беспощадным, кровавым тираном, осуждали его жестокое, бесчеловечное правление. Но при контакте с ним многие не могли избавиться от некоего своеобразного пиетета. Быть может, ощущение безграничной власти, которой он обладал над миллионами своих подданных, независимо от того, какими методами такая власть была достигнута, создавало вокруг «вождя народов» подобие ореола, вызывавшего помимо воли человека нечто похожее на подобострастие. А может быть, это было непроизвольное проявление страха перед чудовищем. Способность Сталина играть роль любезного хозяина, его умение очаровывать собеседника вызывали готовность искать с ним общий язык.

Сталин предложил всем расположиться за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Сам он занял место с торца. Черчиллю предложил сесть справа от него, Гарриману — слева. Остальные заняли места дальше, по обе стороны стола. После нескольких вежливых вопросов о самочувствии Черчилля, о том, как прошел полет, устраивает ли премьера отведенная ему резиденция, Сталин перешел к делу. Свой угрюмый облик он дополнил не менее мрачными высказываниями о положении на фронте.

— Вести из действующей армии неутешительны, — начал он. — Немцы прилагают огромные усилия для продвижения к Баку и Сталинграду. Нельзя гарантировать, что русские устоят перед их новым натиском. На юге Красная Армия оказалась не в состоянии остановить наступление немцев…

Черчилль, желая, видимо, ободрить собеседника, заметил, что, не обладая достаточными силами в воздухе, немцы вряд ли смогут развернуть новое наступление в районе Воронежа или

севернее его.

— Это не так, — возразил Сталин. — Из-за большой протяженности фронта Гитлер вполне в состоянии выделить двадцать дивизий и создать сильный наступательный кулак. Для этого вполне достаточно двадцати дивизий и двух или трех бронетанковых дивизий. Учитывая то, чем располагает сейчас Гитлер, ему нетрудно выделить такие силы. Я вообще не предполагал, что немцы соберут так много войск и танков отовсюду из Европы…

Это уже был прямой намек на отсутствие второго фронта в Европе. Дальше тянуть с заявлением, ради которого он совершил поездку в Москву, Черчилль не мог.

— Полагаю, вы хотели бы, чтобы я перешел к вопросу о втором фронте? спросил британский премьер.

— Это как пожелает премьер-министр, — уклончиво ответил Сталин.

— Я прибыл сюда говорить о реальных вещах самым откровенным образом. Давайте беседовать друг с другом, как друзья. Надеюсь, вы с этим согласны и так же откровенно скажете, что вы в настоящее время считаете правильным.

— Я готов к этому, — заявил Сталин.

Напомнив, что во время недавнего пребывания Молотова в Лондоне и Вашингтоне обсуждался вопрос об открытии второго фронта, Черчилль принялся рассуждать о том, что недостаток войск и десантных средств вынудил американцев и англичан прийти к выводу, что они не в состоянии предпринять операции в сентябре, который является последним месяцем с благоприятной для высадки погодой. Затем премьер стал излагать подробные выкладки, которые должны были подкрепить решение западных союзников.

Сталин все более мрачнел и наконец прервал собеседника вопросом:

— Правильно ли я понял, что второго фронта в этом году не будет?

— А что вы понимаете под вторым фронтом? — спросил Черчилль, явно стараясь оттянуть неприятное объяснение.

— Под вторым фронтом я понимаю вторжение большими силами в Европу в этом году, — не без раздражения ответил Сталин.

— Открыть второй фронт в этом году в Европе англичане не в состоянии. Но они полагают, что второй фронт может быть создан в другом месте. Операция на французском побережье в этом году принесла бы больше вреда, чем пользы, и отрицательно отразилась бы на приготовлениях к операции большого масштаба

в 1943 году. Боюсь, что это для вас будет неприятным известием, но должен заявить, что, если бы операция в нынешнем году могла оказать помощь нашему русскому союзнику, мы бы не остановились перед большими потерями, чтобы отвлечь от него силы противника. Однако если бы это предприятие не привело к отвлечению никаких сил, то оно испортило бы перспективы операции в будущем и, следовательно, было бы большой ошибкой…

Черчилль попросил высказать свое мнение Гарримана, который тут же присоединился к позиции премьера. Стало ясно, что от обещания открыть второй фронт в 1942 году отказывается и президент Рузвельт. Медленно выговаривая слова, возможно, даже с нарочито подчеркнутым грузинским акцентом, Сталин произнес:

— У меня другой взгляд на войну. Тот, кто не хочет рисковать, не выигрывает сражений. Англичанам не следует бояться немцев. Они вовсе не сверхчеловеки. Почему вы их так боитесь? Чтобы сделать войска настоящими, им надо пройти через огонь и обстрелы. Пока войска не проверены на войне, никто не может сказать, чего они стоят. Открытие сейчас второго фронта предоставляет случай испытать войска огнем. Именно так я и поступил бы на месте англичан. Не надо только бояться немцев…

Эти замечания Черчилль счел оскорбительными. Дымя сигарой, он в волнении стал говорить о том, что в 1940 году Англия стояла одна перед угрозой гитлеровского вторжения. Тем самым он довольно прозрачно намекнул на то, что тогда Москва поддерживала «дружеские» отношения с Германией. Однако, продолжал британский премьер, англичане не дрогнули, а Гитлер не решился осуществить высадку из-за успешных действий британской авиации.

Но тирада Черчилля не произвела впечатления на Сталина. Он напомнил, что, хотя тогда Англия действительно одна противостояла. Германии, она бездействовала. Не пришла сразу же на помощь Польше, никак не реагировала на захват Гитлером Норвегии и Дании, активно не вмешалась во время балканской кампании немецких и итальянских фашистов весной 1941 года. Действовала только британская авиация, но этого мало.

Изложенные Черчиллем планы высадки американских и английских войск в Северной Африке несколько смягчили атмосферу. Сталин даже увидел некоторые положительные стороны этой операции. Но все же горечь в связи с отказом от вторжения во Францию доминировала в кремлевской атмосфере почти до самого конца визита Черчилля. Не изменилась она и

после банкета, устроенного Сталиным в Екатерининском зале Кремля в честь гостя. Черчилль, сославшись на усталость, отказался от традиционно следовавшего после ужина кинопросмотра, что в кулуарах восприняли как знак натянутых отношений между союзниками. Возможно, что именно это побудило Сталина сделать крутой поворот. Он понимал, что не может ничего изменить, что он не в состоянии заставить Англию и США выполнить обещание о втором фронте и что дальнейшее обострение отношений может иметь лишь отрицательные последствия. Нельзя было не считаться и с тем, что сведения о разладе в стане союзников могут просочиться вовне и будут использованы геббельсовской пропагандой. Раз ничего поделать нельзя, надо идти на примирение, решил Сталин. Придется продемонстрировать перед всем миром единство трех великих держав, показать, что они намерены действовать совместно против общего врага. Да и высадка в Северной Африке, если она произойдет, не может не затруднить положение немцев, а быть может, заставит их оттянуть какие-то части с советского фронта. Словом, нет смысла дальше ссориться с Черчиллем. Этим дела не поправишь.

В квартире Сталина

Обстановка последней встречи двух лидеров 15 августа, накануне вылета Черчилля из Москвы, была прямо-таки дружеская. Сталин излучал любезность и предупредительность, что поначалу ошарашило Черчилля. Но вскоре и он включился в игру в «дружбу» с «хозяином» Кремля. Говорили о многом. Сталин вновь подчеркнул важное значение высадки союзников в Северной Африке, давая понять, что примирился с неизбежным, и заключил эту часть беседы словами:

— Да поможет вам Бог…

— Бог, конечно, на нашей стороне, — согласился Черчилль.

— Ну а дьявол, разумеется, на моей, и объединенными усилиями мы победим врага, — подхватил Сталин, намекая на объявленную некогда Черчиллем готовность заключить союз с дьяволом, если тот будет воевать против Гитлера.

Затем Черчилль напомнил, что предупреждал через посла Криппса Москву о готовившемся нападении Германии на Россию. Сталин никак не реагировал на это, заметив лишь, что всегда ожидал нападения, но полагал, что его удастся оттянуть до весны 1942 года. Не мог же он признаться, что на протокольной записи беседы Вышинского с Кригшсом собственноручно начертал: «Очередная британская провокация».

Поговорили о предвоенном периоде, причем Черчилль согласился, что англо-французская делегация, которая вела в Москве переговоры в 1939 году, была недостаточно представительной и не имела необходимых полномочий заключить серьезное соглашение. Сталин рассказал в общих чертах о поездке Молотова в Берлин, его переговорах с Гитлером и Риббентропом и о том, как во время последней беседы с германским министром иностранных дел в столице рейха была объявлена воздушная тревога.

— Зачем вы тогда бомбили моего Вячеслава? — шутливым тоном спросил Сталин своего гостя.

— Я всегда считал, что никогда не следует упускать счастливую возможность, — в тон ему ответил британский премьер.

Время уже приближалось к полуночи. Рано утром Черчилль должен был отправляться на аэродром. Но Сталин не хотел его отпускать.

— Почему бы нам не зайти в мою кремлевскую квартиру и не выпить по рюмочке? — спросил Сталин.

— Я никогда не отказываюсь от подобных предложений, —

согласился Черчилль.

И они тут же отправились по переходам Кремля, вышли в небольшой дворик, пересекли проезжую часть и оказались в квартире Сталина, которую британский премьер назвал «скромной и умеренной по размерам»: столовая, гостиная, кабинет и большая ванная комната. Сталин не сказал гостю, что в прошлом это была квартира Бухарина. Они обменялись жильем после самоубийства жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Пригласив Черчилля к себе на квартиру, Сталин оказал ему исключительное внимание. До сих пор ни один иностранный политический деятель не удостоился такого жеста. Сталин, несомненно, хотел этим подчеркнуть, как он, несмотря на происшедшее столкновение из-за второго фронта, дорожит сотрудничеством с Великобританией и тем, что в Лондоне готовы рассматривать Советский Союз равноправным партнером. Чтобы еще больше подчеркнуть свое расположение к высокому английскому гостю и сделать этот вечер поинтимнее, он позвал дочь школьницу Светлану, которая, хлопоча у стола, выполняла роль хозяйки. Через некоторое время появился и Молотов. Взяв на себя функции тамады, он принялся произносить многочисленные тосты.

— Одного не отнимешь у Молотова, — весело заметил Сталин. — Он специалист по проведению застолий, да и сам умеет пить…

На столе появлялись все новые блюда и разнообразные напитки. Черчилль понял, что предстоит обильный долгий ужин.

Среди других тем был затронут и вопрос о коллективизации в Советском Союзе.

— Скажите, — поинтересовался Черчилль, — напряжение нынешней войны столь же тяжело для вас лично, как и бремя политики коллективизации?

— О нет, — ответил «отец народов», — политика коллективизации была ужасной борьбой…

— Я так и думал. Ведь вам пришлось иметь дело не с горсткой аристократов и помещиков, а с миллионами мелких хозяев…

— Десять миллионов, — воскликнул Сталин, возведя руки. — Это было страшно. И длилось четыре года. Но это было абсолютно необходимо для России, чтобы избежать голода и обеспечить деревню тракторами…

Названная Сталиным цифра репрессированных крестьян в период коллективизации примерно совпадает с той, которая в последнее время упоминалась в советской прессе. Если признать, что около половины изгнанных с насиженных мест после

скитаний по стране пошли в колхозы либо на промышленные стройки, то погибли или были ликвидированы около пяти миллионов, что недалеко от шести миллионов, на которых сходится большинство исследований. Надо иметь в виду, что речь идет о наиболее трудолюбивых, умелых и способных землепашцах и скотоводах, имевших крепкие хозяйства, а потому энергично сопротивлявшихся экспроприации, за что и лишены были жизни. Понятно, что, понеся такие огромные потери, наша страна до сих пор не может выбраться из кризиса сельского хозяйства. Деревня, насыщенная тракторами, но лишенная подлинного хозяина земли, не в состоянии прокормить население…

— Что же, они все были кулаками? — спросил Черчилль.

— Да, — ответил Сталин и, немного помолчав, повторил: — Это было ужасно тяжело, но необходимо…

— И что же с ними произошло?

— Да что, — как бы отмахнулся вождь. — Многие из них согласились пойти с нами. Некоторым дали обрабатывать землю в районе Томска или Иркутска и дальше на Севере. Но там они не прижились. Их невзлюбили местные жители. В конце концов их же батраки расправились с ними.

Конечно же, не местные жители и не батраки, а специальные отряды Народного комиссариата внутренних дел ликвидировали несчастных крестьян — жертв насильственной коллективизации. Поверил ли Черчилль сталинской версии? Он ничего ему не возразил. А в своих мемуарах лишь отметил, что, выслушав объяснение Сталина, содрогнулся при мысли о миллионах мужчин, женщин и детей, погибших в леденящих просторах Сибири.

Сталин и Черчилль провели вместе в общей сложности почти семь часов. Только после трех ночи вернулся британский премьер на свою виллу, а в 5.30 утра 16 августа его самолет взмыл в воздух с Центрального московского аэродрома и взял курс на Тегеран.

Визит главы британского правительства закончился на примирительной, даже дружественной ноте. В опубликованном сразу же совместном коммюнике говорилось, что «беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности, дали возможность еще раз констатировать наличие тесного содружества и взаимопонимания между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с существующими между ними союзными отношениями».»:? Но все же в Москве остался неприятный осадок в связи с отказом западных держав открыть обещанный в 1942

году второй фронт на севере Франции. Сохранилось и недоверие Сталина к Черчиллю. Оно усилилось после резкого сокращения в 1942 году конвоев с военными поставками для СССР северным маршрутом.

На Тегеранской конференции в ноябре — декабре 1943 года между Сталиным и Черчиллем не ощущалось такой степени доверительности, какая сложилась у советского руководителя с президентом Рузвельтом. Правда, Черчилль предложил вполне устроившую Сталина идею «передвижки» Польши на Запад и установления советско-польской границы по «линии Керзона». Но глава английской делегации отчаянно сопротивлялся принятию решения о высадке союзных войск в Нормандии и всячески агитировал за продвижение через Балканы. Сталин разгадал замысел Черчилля, который не хотел допустить Красную Армию в Восточную Европу. Даже после того как при поддержке Рузвельта советской делегации удалось добиться обязательства о вторжении в Северную Францию, Черчилль попытался втянуть Турцию в войну и тем сорвать достигнутую в Тегеране договоренность.

Расчет британского премьера состоял в том, что после объявления Турцией войны Германии немцы атакуют Стамбул и, возможно, даже захватят его. Тогда союзникам ничего не останется, как срочно принять меры по спасению Турции, и высадка во Франции сама собой сорвется. В то же время развернутся военные действия на Балканах, чего и добивался Черчилль. Однако президент Турции Исмет Иненю, с которым Черчилль встречался по пути домой из Тегерана, не захотел объявлять войну Германии, и балканская авантюра британского премьера окончательно сорвалась.

Серьезные подозрения вызвала у Сталина и позиция английской делегации на конференции в Думбар-тон-Оксе (Вашингтон) летом 1944 года, где разрабатывался устав будущей международной организации безопасности. Англичане, перетянув на свою сторону американцев, выдвинули предложение, чтобы великие державы, они же постоянные члены Совета Безопасности ООН, не голосовали при возникновении споров, их касающихся. Поскольку тогда СССР был единственной некапиталистической державой, можно было предположить, что за этим кроется попытка навязать Москве неприемлемые для нее решения международной организации. Ведь тогда США и Англия обладали в этой организации абсолютным большинством, которое в любой момент могли противопоставить СССР. Советской стороне удалось отстоять право «вето» в Совете Безопасности, но Сталин, конечно, не забыл о попытке Лондона поставить СССР в уязвимое положение.

Второй визит Черчилля в Москву

В октябре 1944 года, казалось, открылся новый этап в отношениях советского и британского лидеров. Главной темой второго визита Черчилля в Москву была польская проблема. Британский премьер уверял главу советского правительства, что делает все возможное, чтобы убедить польское эмигрантское правительство, нашедшее убежище в Лондоне, принять советские требования. Это могло бы открыть путь к взаимоприемлемой договоренности и к созданию условий, которые позволили бы реорганизованному правительству Польши, готовому установить добрососедские отношения с СССР и признать советско-польскую границу по «линии Керзона», перебраться в Варшаву после ее освобождения Красной Армией. Нельзя с полной уверенностью сказать, что в таком случае развитие в Польше пошло бы по пути Финляндии или Австрии, но нет и оснований исключать подобную возможность. Однако премьер-министр польского эмигрантского правительства Миколайчик, который в дни пребывания Черчилля в Москве также находился в советской столице, не воспользовался предоставившейся возможностью договориться с советским руководством. Был ли британский премьер искренен, заявляя, что настоятельно рекомендовал польским эмигрантским деятелям пойти на соглашение с Москвой, или же он, подобно американцам, в закулисных переговорах советовал Миколайчику не идти на уступки? Представляется, однако, что Сталин тогда был склонен поверить Черчиллю. Во всяком случае, непринужденная атмосфера их тогдашних московских бесед, казалось, излучала взаимное доверие.

Именно в такой атмосфере британский премьер завел разговор на тему, которая до сих пор вызывает различные толкования и споры у историков и журналистов. Тем более важно воспроизвести здесь подробнее то, что произошло 9 октября 1944 г. в кабинете Сталина.

К тому времени Гарриман был уже послом США в Советском Союзе, и Рузвельт поручил ему роль наблюдателя на встрече Черчилля со Сталиным. При этом президент в послании советскому руководителю подчеркнул, что Гарриман не должен принимать участия в переговорах и что Соединенные Штаты не будут считать себя причастными к любым договоренностям, которые могут быть достигнуты на этой встрече. Поэтому Гарриман присутствовал далеко не на всех беседах, хотя британский премьер держал его в курсе происходящего.

На встрече, о которой идет речь, не было не только американского посла, но и английского министра иностранных дел Идена, сопровождавшего премьера в этой поездке. Советский и британский руководители встретились с глазу на глаз в присутствии одних лишь переводчиков.

Черчилль начал с того, что ему представляется важным внести ясность в некоторые вопросы, по которым оба лидера вели друг с другом переписку на протяжении последнего времени.

— Я готов обсуждать любые вопросы, — сказал Сталин.

— Есть две страны, о которых нам надо поговорить, — принялся развивать свою мысль Черчилль. — Одна из них — Греция. Другая — Румыния. Насчет нее у англичан нет особого беспокойства. Другое дело — Греция. Британия должна быть ведущей державой Средиземноморья, и я надеюсь, что маршал Сталин признает за нами решающее слово в Греции, так же как и я готов признать решающее слово маршала Сталина в отношении Румынии.

Сталин отнесся с пониманием к позиции правительства Великобритании, сказав, что у Англии возникла бы серьезная проблема, если бы Средиземное море оказалось не в ее руках. Поэтому он согласен с тем, чтобы Черчилль имел решающее слово в Греции.

— Полагаю, — продолжал британский премьер, — что нам следует выразить эти вещи в дипломатических терминах, избегая формулы о «разделе сфер влияния», поскольку это шокировало бы американцев. Но когда мы с вами придем к взаимопониманию, я сумею объясниться с президентом…

Сталин напомнил о пожелании Рузвельта, чтобы любые решения нынешней встречи считались «предварительными».

— Но ведь у нас с вами, — подхватил премьер, — нет секретов от президента. Я даже приветствую присутствие Гарримана на ряде наших переговоров. Однако это не должно препятствовать нам с вами вести интимные беседы.

— Мне кажется, — понимающе заметил Сталин, — что Соединенные Штаты претендуют на слишком большие права для себя, оставляя Советскому Союзу и Великобритании ограниченные возможности. А ведь у нас с вами есть договор о взаимопомощи…

После этого весьма доверительного и не лишенного подтекста обмена мнениями Черчилль сказал:

— Здесь у меня имеется один грязный документ, содержащий соображения некоторых лиц в Лондоне. — Черчилль извлек из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок бумаги. Расправив листок на столе, он пододвинул его Сталину.

Текст не требовал перевода. Все, что было на листке, сводилось к нескольким строкам:

Rumania
Russia — 90 %
The others. - 10 %
Greece
Great Britain (in accord with USA) — 90 %
Russia — 10 %
Yugoslavia
50–50 %
Hungary
50–50 %
Bulgaria
Russia — 75 %
The others — 25 %

Сталин внимательно посмотрел на цифры, взял из бронзового стаканчика один из своих любимых толстых двухцветных карандашей и поставил в верхнем углу небольшую синюю галку. Затем, ничего не говоря, отодвинул листок.

Наступила длительная пауза. Первым нарушил молчание Черчилль:

— Не будет ли сочтено слишком циничным, что мы так запросто решили вопросы, затрагивающие судьбы миллионов людей? Давайте лучше сожжем эту бумагу…

— Нет, держите ее у себя, — сказал Сталин.

Черчилль сложил листок и спрятал в карман.

И снова долгое молчание.

По поводу этой немой сцены было написано немало. В Советском Союзе начисто отрицали ее интерпретацию как договоренность о «разделе сфер влияния» в Восточной Европе. В высоких инстанциях указывалось, что «социалистическая держава не могла быть причастна к сомнительным сделкам с империалистической Великобританией», это «противоречило бы основным принципам ленинской внешней политики Советского Союза». Примерно так аргументировал и я в одной из своих публикаций. Возможность докопаться до истины затруднялась недоступностью советских архивных материалов. В выпущенном в 1983 году МИД СССР сборнике документов «Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» вообще не содержатся записи бесед Сталина с Черчиллем, состоявшихся в октябре 1944 года. Хотя события, последовавшие за этой встречей, свидетельствовали о возможности какой-то негласной договоренности, окончательное

суждение было трудно вынести.

Теперь картина проясняется.

Уже из приведенного выше диалога двух лидеров, происходившего перед тем, как Черчилль показал Сталину свой листок, явствует, что оба они склонялись к определению преимущественного влияния сторон в Греции и Румынии. Еще больше высвечивает проблему беседа Молотова с Иденом, происходившая на следующий день. Я на этой беседе не присутствовал. Переводчиком с нашей стороны был Павлов. Ее запись также отсутствует в упомянутом выше сборнике МИД СССР, но она недавно опубликована в западной прессе.

Сославшись на встречу Сталина и Черчилля, Молотов заявил британскому коллеге, что предложение о процентах заслуживает внимания.

— Нельзя ли договориться, — продолжал Молотов, — чтобы не только в отношении Болгарии, но и Венгрии и Югославии соотношение было 75 на 25 процентов?

— Но это гораздо хуже, чем то, о чем шла речь накануне, — возразил Иден.

— Тогда пусть будет 90 и 10 для Болгарии, 50 на 50 для Югославии, а о Венгрии договоримся дополнительно…

— Мы готовы согласиться с вашим предложением о Венгрии, но хотели бы иметь большее влияние в Болгарии.

— Если для Венгрии соотношение будет 75 на 25, то пусть останется такое же соотношение и для Болгарии. Но тогда для Югославии должно быть 60 на 40. Это предел, дальше которого мы не пойдем.

Иден предложил 80 и 20 для Болгарии, но продолжал настаивать на 50 и 50 для Югославии. Молотов, в свою очередь, заявил, что если принять английскую позицию для Югославии, то для Болгарии должно быть 90 и 10. При этом он добавил, что, предлагая 60 и 40 для Югославии, он имеет в виду, что советскую сторону мало интересует побережье и что он хотел бы иметь больше влияния в центре страны. Примечательно, что Греция в этой дискуссии вообще не упоминалась. Следовательно, советская сторона не возражала против первоначального британского предложения.

Иден, утомленный торгом, заявил в конце концов, что его мало волнуют цифры. Он понимает советскую заинтересованность в Болгарии, и Британия готова с этим согласиться. Что же касается Югославии, то независимо от того, договорятся или нет Тито и югославское правительство в Лондоне, важно, чтобы союзники проводили там общую политику.

Во время ужина на даче у Черчилля Иден, докладывая о своей беседе с Молотовым, сказал, что то была «настоящая битва», в которой он не пожертвовал британскими интересами. Похоже, однако, что в принципе была достигнута договоренность о сферах влияния в Восточной Европе.

Проснувшись поздно на следующее утро и продолжая по обыкновению нежиться в постели, Черчилль продиктовал письмо, адресованное Сталину и содержащее изложение договоренности о процентных соотношениях. Чувствуя, видимо, неловкость, что сделка произошла за спиной Рузвельта, он показал набросок письма Гарриману, который зашел к премьеру.

Американский «наблюдатель» решительно возразил против отправки такого послания, сказав, что президент будет весьма недоволен всем этим делом.

Гарримана можно понять. Ведь в листке Черчилля, с которого все и началось, американская доля намечена довольно туманно, что, конечно, никак не устраивало Вашингтон. Послушавшись Гарримана, Черчилль так и не отправил этого письма, а в совместной телеграмме, которую Сталин и Черчилль за двумя подписями направили президенту Рузвельту, было лишь сказано: «Мы должны рассмотреть вопрос о том, как лучше всего согласовать политику в отношении Балканских стран, включая Венгрию и Турцию».

Что касается Турции, то о ней, видимо, упомянули в связи с обменом мнениями между Сталиным и Черчиллем о режиме проливов. При этом британский премьер благосклонно отнесся к пожеланию советского руководителя пересмотреть этот режим в пользу СССР.

Проблема проливов не давала Сталину покоя. Помня о том, что во время первой мировой войны западные союзники России обещали после победы над вражеской коалицией, в которую входила и Турция, передать царской империи Дарданеллы и Босфор, включая Константинополь, Сталин, уже присоединивший к своей империи Прибалтику, Бессарабию и часть Польши, не переставал мечтать о проливах. Он безрезультатно ставил это требование перед Гитлером, а теперь рассчитывал добиться своего с помощью союзников по антигитлеровской коалиции.

Эти расчеты не оправдались. Проливов Сталин так и не получил.

Последующие события в Греции, где англичане довольно жестоко расправились с отрядами Сопротивления, возглавлявшимися коммунистами, дают основание считать, что достигнутая в Москве договоренность соблюдалась. Сталин остался глух к призывам греческих коммунистов о помощи и

спокойно взирал на принимаемые против них Лондоном репрессивные меры. В свою очередь, и Черчилль игнорировал требования Форин офиса энергично реагировать на ситуацию в Румынии, где, по мнению британского дипломатического ведомства, Москва осуществляла грубое давление. В свете московской договоренности понятно также раздражение Сталина, когда позднее западные державы стали вмешиваться в события в Венгрии.

«Сердечное согласие»

Свидетельством того, что Сталина вполне устроила договоренность с Черчиллем, могут служить необычные почести, которые он расточал британскому премьеру в дни его пребывания в советской столице. Сталин не только снова пригласил Черчилля на ужин в свою кремлевскую квартиру, но и вообще вел себя совершенно необычно. Помнится, какая была суета у нас в секретариате Молотова и особенно в английском посольстве на Софийской набережной (затем набережная Мориса Тореза), когда Сталин принял приглашение Черчилля с ним там поужинать. Это казалось невероятным. Ведь «отец народов» до того никогда не посещал иностранные посольства. Вячеслав Михайлович заранее послал меня туда со списком главных гостей, чтобы посольство заготовило пригласительные карточки. С нашей стороны на ужине помимо Сталина были Молотов, Вышинский, Литвинов и Каганович.

Молотов, захвативший с собой нас с Павловым, прибыл раньше других. Мы стояли за спиной Черчилля, приветствовавшего гостей. Почему-то Молотову вздумалось представить и меня. Называя мое имя, он приговаривал:

— Вы о нем еще не слышали? Ничего, скоро услышите…

Что он этим хотел сказать, я так никогда и не узнал. Возможно, меня собирались передвинуть с должности помощника наркома иностранных дел на какой-то более заметный пост или перевести на ответственную дипломатическую работу за рубежом, и он хотел обратить внимание присутствовавших высокопоставленных лиц на молодого, малоизвестного человека, но уже находящегося в окружении Сталина. Так или иначе, ничего подобного со мной не произошло, возможно, из-за докладной записки Берии Сталину, о чем речь пойдет ниже.

Перед тем как подали ужин, официанты разносили напитки, и шла оживленная беседа. Черчилль проталкивался в толпе, обмениваясь с гостями двумя-тремя фразами, и мы с переводчиком премьера Бирзом следовали за ним. Павлов тем временем оставался рядом со Сталиным и Молотовым, которых окружали английские и американские дипломаты. Подойдя к наркому путей сообщения Кагановичу, премьер-министр поинтересовался, как ему удалось добиться эффективной работы транспортной системы России.

— Если машинист локомотива не выполняет своих обязанностей, я поступаю с ним вот так, — ответил Лазарь Моисеевич, проведя пальцем поперек горла и осклабившись.

Надо признать, в тяжелейший период войны, в условиях бомбежек, острой нехватки подвижного состава, недостатка топлива и квалифицированных кадров железнодорожный транспорт, хотя и со страшным напряжением, все же выдержал испытание. Но думаю, что железнодорожниками тогда владел не только страх, но и понимание своего долга перед фронтом и тылом.

Во время обеда послышались залпы орудий: Москва салютовала войскам Красной Армии, занявшим венгерский город Сегед. В дни пребывания Черчилля в Москве он неоднократно был свидетелем ликования москвичей, собиравшихся на Красной площади отметить очередную победу. Советские войска освободили Ригу, приближались к Восточной Пруссии. На Западе войска союзников, освободив Париж, двигались к Рейну. Все это создавало приподнятое настроение, сказавшееся и на атмосфере памятного ужина в британском посольстве.

Черчилль с вдохновением рассказывал Сталину о своей недавней поездке в Италию и о том, с каким энтузиазмом его приветствовал там народ.

Сталин охладил пыл премьера, заметив, что та же толпа совсем недавно славила Муссолини. Это не понравилось Черчиллю, и он перевел разговор на другую тему.

Черчилль принялся рассуждать о том, как важно сохранить сотрудничество трех держав в послевоенное время. Был ли он искренен? Думаю, вряд ли. Ведь именно он своей фултонской речью 1946 года, по сути дела, первым провозгласил начало «холодной войны». Но в 1944 году в обстановке, когда СССР нес главное бремя борьбы против гитлеровской Германии, важно было убедить Сталина в том, что его приняли в компанию западных демократий.

— В будущем мире, ради которого наши солдаты проливают кровь на бесчисленных фронтах, — говорил британский премьер своим, рассчитанным на историю, высокопарным слогом, — наши три великие демократии продемонстрируют всему человечеству, что они как в военное, так и в мирное время останутся верны высоким принципам свободы, достоинства и счастья людей. Вот почему я придаю такое исключительное значение добрососедским отношениям между возрожденной Польшей и Советским Союзом. Из-за свободы и независимости Польши Британия вступила в эту войну. Англичане чувствуют моральную ответственность перед польским народом, его духовными ценностями. Важно и то, что Польша католическая страна. Нельзя допустить, чтобы внутреннее развитие там осложнило наши отношения с Ватиканом…

— А сколько дивизий у папы римского? — внезапно прервал Сталин рассуждения Черчилля.

Британский премьер осекся. Он никак не ожидал такого вопроса. Ведь речь шла о моральном влиянии папы, причем не только в Польше, но и на всем земном шаре. А Сталин, еще раз подтвердив, что уважает только силу, вернул Черчилля на землю из заоблачных далей.

Затронули проблему Югославии. Сталин предупредил, что, по мнению Тито, хорваты и словены никогда не согласятся сотрудничать с королем Петром и его эмигрантским правительством, находящимся в Лондоне. Иден сказал, что король Петр весьма интеллигентен, а Черчилль добавил, что он очень молод и еще наберется опыта.

— А сколько ему лет? — спросил Сталин.

— Двадцать один, — ответил Иден.

— Двадцать один! — возбужденно воскликнул Сталин. — Петр Великий стал править Россией в семнадцать…

Наш вождь любил делать ссылки на царственных правителей Российской империи. Перед Потсдамской конференцией Гарриман, находившийся среди встречавших советскую делегацию на вокзале поверженной столицы «третьего рейха», спросил Сталина, приятно ли ему оказаться победителем в Берлине.

— Царь Александр до Парижа дошел, — невозмутимо ответствовал Сталин.

Была ли это шутка, или тут скрывался какой-то потаенный смысл? Вскоре после освобождения Франции руководитель французской компартии Морис Торез, приехав в Москву и встретившись со Сталиным, спросил его:

— Де Голль требует, чтобы участники Сопротивления сдали властям оружие. Как нам поступить?

— Прячьте оружие! — ответил «вождь народов». — Может случиться, что вы еще окажете нам поддержку…

Что имел в виду Сталин? Опасался ли он, что недавние западные союзники развяжут войну против Советского Союза? Или же сам мечтал двинуть Красную Армию к Атлантике?

Речь зашла о предстоящих в следующем году парламентских выборах в Англии. Сталин, желая польстить Черчиллю, сказал:

— У меня нет сомнений, что победят консерваторы.

То же самое он повторил и на Потсдамской конференции, прощаясь с Черчиллем перед его отъездом в Лондон. Когда премьер высказал неуверенность относительно того, вернется ли он в Цецилиенхоф или же его заменит Эттли, Сталин решительно заявил, что победитель не проигрывает и что избиратели

поддержат Черчилля как военного лидера. Что это — неправильная оценка ситуации, недостаток информации или же просто желание сказать Черчиллю приятное?

Посещение Черчиллем Большого театра также было обставлено с небывалой помпой. Зал украшали британские и советские флаги. Оркестр исполнил английский гимн. Когда Черчилль появился в центральной «царской» ложе, зрители обрушили на него шквал аплодисментов и приветственных возгласов. И на этот раз Сталин нарушил свои правила и тоже приехал в театр, правда, минут на пять позже британского премьера. Он подошел к Черчиллю из глубины ложи, и публика, несомненно заранее подобранная, увидев двух лидеров, разразилась бурным восторгом. Через несколько мгновений Сталин отошел в тень, чтобы все аплодисменты достались одному премьеру. Овации продолжались. Черчилль, заметив этот учтивый жест, повернулся и стал манить Сталина к себе. Тот снова приблизился к барьеру ложи, что вызвало новый взрыв аплодисментов.

Свет стал гаснуть, зал заполнили чарующие звуки увертюры. Программа вечера состояла из двух отделений. В первом отделении показали первый акт балета «Жизель», во втором — выступление Ансамбля песни и пляски Красной Армии.

Во время антракта в небольшой гостиной, примыкающей к центральной ложе, был приготовлен легкий ужин: холодные закуски, икра, крабы, сациви, молочный поросенок, водка, коньяки и вина, сладости, фрукты, чай и кофе. За столом царила самая непринужденная атмосфера. Обменивались тостами, шутили, рассказывали забавные истории. Кто-то, говоря о «большой тройке», сравнил ее со Святой Троицей. Сталин подхватил шутку:

— Если так, то господин Черчилль, конечно же, Святой дух, он летает повсюду…

Закончив трапезу, Черчилль и Иден попросили проводить их в туалет помыть руки. Уже раздался третий звонок, предупреждавший зрителей о начале второго отделения, а высокие гости все не возвращались. Сталин забеспокоился и послал меня за ними. Когда мы вернулись, Иден, заметив вопрошающий взгляд Сталина, пояснил:

— У премьер-министра там возникли некоторые новые идеи касательно Польши. Мы заговорились и не услышали звонков…

Это объяснение всех рассмешило. В ложу вернулись в еще более веселом настроении.

Когда через некоторое время Сталин пригласил Черчилля и Идена в свою кремлевскую квартиру на ужин, то, приветствуя

гостей в прихожей, указал на одну из дверей:

— Здесь ванная комната, где вы можете помыть руки, когда вам захочется обсудить важные политические проблемы…

При каждой встрече с Черчиллем Сталин не упускал случая выказать ему свое расположение. Возможно, он полагал, что лидер английских тори готов наконец строить отношения с Советским Союзом на основе взаимного доверия, готов относиться к нему, Сталину, как к равному. Немало заявлений и жестов, сделанных тогда Черчиллем, казалось, подтверждали такой вывод. Особенно размякал высокий британский гость после очередного обильного ужина в Кремле, когда оба лидера уединялись в небольшом, изящно обставленном и выдержанном в зеленых тонах кабинете, примыкавшем к Екатерининскому залу, где обычно происходили банкеты. За коньяком и кофе, дымя огромной бирманской сигарой, Черчилль не раз предавался самобичеванию, прося Сталина не таить зла за то, что Англия участвовала в интервенции против молодой Советской России.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — примирительно говорил Сталин.

— Но можете ли вы простить меня лично за организацию походов Антанты? продолжал настаивать Черчилль.

— Не мне вас прощать, — великодушно ответствовал «вождь народов». — Пусть прощает вас Бог…

Утром 19 октября, когда Черчилль собирался отправляться в аэропорт, ему доставили две большие картонные коробки и личную записку Сталина. В них были упакованы вазы с тонким рисунком: на одной, предназначенной для супруги премьера, был изображен «рулевой в лодке», вторая называлась «Охотник с луком против медведя». Был ли здесь заложен какой-то тайный смысл? В письмах, которыми супруги Черчилль обменивались в дни московских переговоров, они называли Сталина «старым медведем». Но как мог об этом узнать хозяин Кремля?

В аэропорт для проводов Черчилля я выехал пораньше. Погода стояла прескверная. Внезапно похолодало, моросил дождик. Небольшой навес аэровокзала не мог вместить всех собравшихся. Меня поразило большое число военных и штатских из правительственной охраны. Но не прошло и пяти минут, как стало ясно, зачем такие меры предосторожности. У навеса остановилась вереница машин. Из первой и третьей выскочили офицеры в длинных шинелях. Один из них открыл дверцу второго автомобиля — и мы увидели Сталина. Он был в зеленоватом плаще с погонами и в маршальской фуражке. Из-под плаща виднелись брюки навыпуск с ярко-красными лампасами. Его появление в аэропорту явилось еще одним необычным «жестом

гостеприимства, которое Сталин решил напоследок оказать Черчиллю.

Англичане еще не прибыли, и Сталин, отказавшись войти в помещение, ожидал, стоя под дождем. Наконец явился Черчилль со свитой. Одновременно с ним приехали Молотов и Гарриман.

Черчилль был приятно поражен, увидев Сталина. Оба лидера произнесли краткие речи, после чего британский премьер решил, в свою очередь, сделать любезный жест: пригласил Сталина и Молотова осмотреть кабину своего самолета. Она была прекрасно оборудована и благоустроена. Сталин не удержался от замечания, что теперь ему понятно, почему премьер-министр так любит летать по белу свету.

Еще раз Сталин продемонстрировал стремление сохранить доверительные отношения с Черчиллем в конце декабря 1944 года. В это время английские и американские войска попали в очень тяжелое положение в Арденнах. Немцы крупными силами контратаковали, отбросив союзников на Запад. Создалась опасность прорыва фронта и разгрома частей, которыми командовал генерал Эйзенхауэр. Черчилль взывал о помощи. Он направил в Москву главного маршала авиации Теддера, с тем чтобы тот обрисовал советским руководителям отчаянное положение, в котором оказались союзники, и выяснил, не может ли Красная Армия начать зимнее наступление раньше, чем намечалось. «На Западе идут тяжелые бои, — сообщал Черчилль Сталину. — Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление в районе Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января?.. Я считаю дело срочным».

Советское командование еще не закончило все необходимые приготовления. Погода стояла крайне неблагоприятная. Передвижка наступления на более ранний срок могла вызвать дополнительные трудности и потери. Но Сталин решил продемонстрировать союзникам «добрую волю», а заодно напомнить им, что, когда Красная Армия была в трудном положении летом 1942 года, Англия и США не поспешили ей на помощь. «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, — телеграфировал он британскому премьеру, — Ставка Верховного главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать, для того чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

Обещание это было выполнено. 12–15 января Красная Армия

широким фронтом протяженностью в 700 километров двинулась на Запад. К 1 февраля в направлении главного удара советские войска прошли 500 километров, освободили Варшаву и вышли на реку Одер, то есть на новую границу Германии. К 4 февраля — дню открытия Ялтинской конференции — советские войска находились в 60 километрах от Берлина. Союзников отделяли от него 500 километров.

На первом же пленарном заседании в Ливадии Черчилль поблагодарил Сталина за готовность помочь Эйзенхауэру и сообщил, что положение в Арденнах выправилось. Но дальнейший ход обсуждения важнейших проблем на Ялтинской конференции показал, что надежды Сталина на «взаимопонимание» с английским лидером оказались тщетны. По вопросу о репарациях с Германии, по польской проблеме, по проекту Устава ООН возникали споры и конфронтации. Сталину было гораздо легче иметь дело с Рузвельтом, чем с упрямым лидером консерваторов.

Уже накануне разгрома Германии ситуация омрачилась закулисными переговорами англичан и американцев в Берне с эмиссаром Гиммлера генералом СС Вольфом.

По этому поводу, как уже сказано выше, произошло резкое столкновение в переписке между Сталиным и Рузвельтом. Но в Кремле считали, что в действительности все это дело затеяли англичане и что Черчилль не случайно отмалчивается.

На Потсдамской конференции Сталин почувствовал, что президент Трумэн, враждебное отношение которого к Советскому Союзу не составляло секрета, нашел в Черчилле верного единомышленника. Особенно тревожила Сталина предпринятая в Потсдаме попытка шантажировать Москву атомной бомбой. На эту угрозу Сталин ответил усилением давления на восточноевропейские страны, что, в свою очередь, вызвало ответную резкую реакцию западных держав. Речь Черчилля в Фултоне, которой аплодировал Трумэн, показала, что надежды Сталина на «сотрудничество» с Черчиллем были иллюзией.

Смертный приговор Литвинову

Поначалу меня удивило, что по мидовскому реестру китайская провинция Синьцзян выделена в особую единицу и ее курирует замнаркома Деканозов. Однако вскоре узнал, что эта провинция фактически управляется Москвой. В том, что так сложилось, важную роль сыграл советский генконсул в Урумчи Апресян (Апресов). Он установил дружеские отношения с правителем Синьцзяна «дубанем» Шэнь Шицаем, добившись того, что тот превратил эту китайскую провинцию в советский район. Приезжая со всей семьей на лечение и отдых в СССР, Шэнь Шицай неоднократно встречался с «вождем народов». Однажды «дубань» попросил принять его в члены ВКП(б).

— Можете считать себя членом Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, — великодушно объявил Сталин. — Однако сейчас, по политическим соображениям, об этом говорить не следует…

И «дубань» действительно считал себя советским человеком, был дисциплинированным членом партии, беспрекословно выполнял указания Москвы, передал в распоряжение Кремля природные ресурсы своего богатого края. Сделка держалась тогда в строжайшей тайне.

Сталин высоко ценил деятельность генконсула Апресяна в Синьцзяне, осыпал его почестями, хвалил за то, что тот сумел привить в широких массах этой провинции «любовь» к Советскому Союзу. Позднее мне рассказал Микоян, что, когда наши отношения с гоминьдановским Китаем изменились и Синьцзян пришлось вернуть Чунцину, Сталин заметил в узком кругу: «Апресян слишком много знает». То был сигнал: заслуженный генконсул стал опальным. Его участь была решена. Но на сей раз «хозяин» хотел избежать излишнего шума. Он решил тихо убрать Апресяна. Дальше события развивались по отработанной схеме.

Приехав из Урумчи в очередной отпуск, Апресян отправился отдыхать в Абхазию. Там, на горной дороге, произошла автомобильная катастрофа, и Апресян погиб. Ни у кого из окружения «вождя» не было сомнения, что катастрофа подстроена самим Сталиным. Они ведь слышали приговор: «Слишком много знает!..»

В первые годы войны Деканозов несколько раз ездил к «дубаню» в Урумчи, где уже находился новый советский генконсул Бакулин, типичный аппаратный работник. Отношения при нем с Шэнь Шицаем стали ухудшаться, и поездки

заместителя наркома ничего не могли изменить.

Вскоре Чан Кайши по-своему расправился с «дубанем», приказав обезглавить его, и окончательно вернул Синьцзян Китаю.

Впоследствии у меня было несколько доверительных бесед с Анастасом Ивановичем Микояном. Они происходили как бы случайно, когда я приходил к нему по какому-нибудь конкретному делу. После того как интересовавший меня вопрос был решен, он обычно предлагал мне задержаться, посидеть, вспомнить старое. Заказывал чай с сушками. Мы располагались в креслах друг против друга, и он начинал рассказывать какую-либо захватывающую историю, связанную со Сталиным. Когда Микоян в 60-е годы занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, его секретарь меня предупреждал, что у Анастаса Ивановича для меня имеется не более пяти минут. Поэтому я старался укладываться в отведенное мне время и тут же собирался ретироваться. А когда Анастас Иванович задерживал меня, я ссылался на предупреждение его секретаря. А он с хитрой улыбкой говорил:

— Ничего там не случится, могут и подождать, — как бы подчеркивая этим, что хорошо понимает церемониальность своего поста.

Когда я в конце концов выходил из кабинета, на меня зверем смотрели собравшиеся в приемной посетители.

Беседа, о которой хочу здесь рассказать, была особенно длинной и предельно откровенной. Это произошло в 1972 году, когда Микояна освободили от председательского поста, но оставили членом Президиума Верховного Совета СССР. В это время журнал «США — экономика, политика, идеология», где я был главным редактором, готовил к опубликованию статью с воспоминаниями Микояна о его командировке в Соединенные Штаты в середине 30-х годов. Я пришел к Анастасу Ивановичу обсудить некоторые уточнения, предлагавшиеся редакцией. Когда со статьей было покончено, Микоян по обыкновению предложил посидеть, «поговорить о прошлом». На этот раз он поделился воспоминаниями о Литвинове и Чичерине.

— Литвинов, — начал свой рассказ Микоян, — был умным и тонким дипломатом, и Сталин к нему хорошо относился, правда, до определенного времени. Зато Молотов терпеть не мог Литвинова, ревновал, когда того хвалил Сталин, и, собственно, добился того, что Литвинова в конце 30-х годов убрали, хотя он мог еще принести много пользы стране, партии. Не любил Молотов и Чичерина. Именно он убедил Сталина убрать Чичерина. Да и самого Сталина Чичерин не устраивал. Жаль, что

опыт и знания этого человека не были полностью использованы. Он мог бы остаться хотя бы заместителем наркома или консультантом при Наркоминделе. Вместо этого Чичерин в одиночестве сидел на даче на Клязьме, играл на рояле и преждевременно умер от меланхолии и бездеятельности. Но все-таки умер своей смертью. Литвинова же постигла худшая участь…

Меня это последнее замечание насторожило. Что значит «худшая участь»? Ведь согласно официальной версии он скончался от болезней у себя на даче. Между тем Микоян продолжал:

— Верно, что Литвинова решили заменить, когда наметился пакт с Гитлером. Литвинов, как еврей, да еще человек, олицетворявший нашу борьбу против гитлеровской Германии в Лиге Наций и вообще на международной арене, был, конечно, неподходящей фигурой на посту наркома иностранных дел в такой момент. Однако он мог остаться замнаркома. Его опыт можно было бы использовать. Но Молотов добился того, чтобы его отстранили вовсе. Молотов слабо разбирался в международных делах и не хотел иметь рядом человека, который был в этом отношении более опытен и сведущ. В итоге Литвинов оставался до осени 1941 года не у дел. Только тогда, когда наши дела стали катастрофически плохи, когда Сталин был готов хвататься за любую соломинку, он решил снова использовать опыт Литвинова и направил его послом в Вашингтон. И Литвинов проделал там огромную полезную работу. Можно сказать, что он спас нас в тот тяжелейший момент, добившись распространения на Советский Союз ленд-лиза и займа в миллиард долларов. Теперь легко говорить, что ленд-лиз ничего не значил. Он перестал иметь большое значение много позднее. Но осенью 1941 года мы все потеряли, и, если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, теплые вещи для армии и другое снабжение, еще вопрос, как обернулось бы дело. И в этом заслуга Литвинова, который использовал личные к нему симпатии Рузвельта и других американских деятелей и помог наладить военное снабжение так же, как в свое время он сумел добиться признания Соединенными. Штатами Советского Союза и установления советско-американских дипломатических отношений. Но как только дела наладились, Молотов снова повел интриги. против Литвинова, и его отозвали из Вашингтона. Думаю, что этого не надо было делать. Литвинов еще мог быть полезным, и его не следовало заменять посредственным, безынициативным человеком. Вернувшись в Москву, Литвинов, хотя и получил формально; пост заместителя министра иностранных дел,

фактически оказался не у дел, а потом и вовсе был уволен в отставку. А кончил он жизнь вообще трагично. Автомобильная катастрофа, в которой он погиб, была не случайной, она была подстроена Сталиным.

Меня настолько потрясло заявление об автомобильной катастрофе, о чем я никогда не слышал, что я невольно воскликнул:

— Анастас Иванович, не может быть, я просто не в состоянии поверить этому… — и тут же извинился, что. прервал его.

Микоян невозмутимо продолжал:

— Я хорошо знаю это место, неподалеку от дачи Литвинова. Там крутой поворот, и когда машина Литвинова завернула, поперек дороги оказался грузовик… Все это было подстроено. Сталин был мастером на такие дела. Он вызывал к себе людей из НКВД, давал им задание лично, с глазу на глаз, а потом происходила автомобильная катастрофа, и человек, от которого. Сталин хотел избавиться, погибал. Подобных случаев было немало. Такая катастрофа произошла и с известным актером еврейского театра Михоэлсом, с советским генконсулом в Урумчи Апресовым и с другими.

— У Сталина была причина расправиться с Литвиновым, — продолжал Микоян. В последние годы войны, когда Литвинов был уже фактически отстранен от дел и жил на даче, его часто навещали высокопоставленные американцы, приезжавшие тогда в Москву и не упускавшие случая по старой памяти посетить его. Они беседовали на всякие, в том числе и на политические, темы.

В одной из таких бесед американцы жаловались, что советское правительство занимает по многим вопросам неуступчивую позицию, что американцам трудно иметь дело со Сталиным из-за его упорства. Литвинов на это сказал, что американцам не следует отчаиваться, что неуступчивость эта имеет пределы и что если американцы проявят достаточную твердость и окажут соответствующий нажим, то советские руководители пойдут на уступки. Эта, как и другие беседы, которые вел у себя на даче Литвинов, была подслушана и записана. О ней доложили Сталину и другим членам политбюро. Я тоже ее читал. Поведение Литвинова у всех нас вызвало возмущение. По существу, это было государственное преступление, предательство. Литвинов дал совет американцам, как им следует обращаться с советским правительством, чтобы добиться своих целей в ущерб интересам Советского Союза. Сперва Сталин хотел судить и расстрелять Литвинова. Но потом решил, что это может вызвать международный скандал, осложнить отношения между союзниками, и он до поры до

времени отложил это дело. Но не забыл о нем. Он вообще не забывал таких вещей. И много лет спустя решил привести в исполнение свой приговор, но без излишнего шума, тихо. И Литвинов погиб в автомобильной катастрофе…

Учитывая важность всего того, что Микоян тогда мне поведал, я спросил, могу ли я, разумеется, со ссылкой на него, использовать этот рассказ в одной из моих работ.

— Надеюсь, — ответил Анастас Иванович, — что я сам, когда подойду к этому периоду, все расскажу. Но если не успею, то вы можете, в зависимости от обстановки и по здравому суждению, воспользоваться данной информацией.

Вернувшись в редакцию, я сразу же записал беседу с Микояном самым подробнейшим образом, и все эти годы хранил запись в надежном месте. Микоян не успел выполнить свое намерение. Предавая теперь гласности эту беседу, я не нарушаю воли Анастаса Ивановича.

Что касается существа дела, то, думаю, нет оснований сомневаться в достоверности сказанного мне Микояном. Если это так, то к кровавому сталинскому мартирологу добавляется еще одна жертва, раскрывается еще одно чудовищное преступление.

Хочу добавить, что имеется и несколько другая версия причин освобождения Литвинова с поста посла СССР в США. Суть ее в следующем: во время поездки Молотова весной 1942 года в Лондон и Вашингтон западные державы, как уже сказано выше, дали обещание в том же году открыть второй фронт в Европе, но затем отказались осуществить вторжение. Это вызвало волну возмущения в общественных кругах Англии и США. В Америке проходили митинги протеста, выступить на которых приглашали и Литвинова. Естественно, что он критиковал поведение правительства США. В одной из бесед со Сталиным посол США Гарриман дал понять, что президент Рузвельт недоволен подобными выступлениями советского посла. Посол, добавил Гарриман, не должен допускать нападок на правительство, при котором он аккредитован.

Это выглядело как объявление Литвинова персоной нон грата. Для Сталина, недолюбливавшего Литвинова, нашелся повод отозвать его в Москву. Возможно, тут сыграли роль и интриги Молотова, на что указывает Микоян. Вместе с тем Сталин ощутил себя уязвленным тем, что его послу американцы указали на дверь. Видимо, в Вашингтоне полагали, что взамен Литвинова им пришлют из Москвы какого-либо высокопоставленного деятеля. Но тут Сталин решил щелкнуть Америку по носу и пошел на беспрецедентную акцию: попросту передвинул на кресло Литвинова советника посольства Андрея

Громыко.

Проверено — мин нет!

6 ноября 1943 г. Красная Армия освободила столицу Украины. Узнав об этом, я сразу же попросил у Молотова разрешения слетать в Киев, чтобы выяснить судьбу родителей, о которых не имел сведений с момента оккупации города гитлеровцами.

— Поезжайте, — сказал Молотов. — Пусть Козырев выяснит, когда обстановка позволит это сделать, и договорится с военными, чтобы вас взяли на попутный транспорт. Вы, конечно, поступили легкомысленно, не приняв в 1941 году мер к своевременной их эвакуации.

Ранее я уже объяснял Вячеславу Михайловичу, почему так получилось. Вернувшись из Германии, я сразу же дал родителям знать о себе, и потом мы регулярно переписывались. В первые недели войны никто не ожидал, что немцы захватят Киев. В письмах отца тоже чувствовалась уверенность, что столицу Украины ни в коем случае не сдадут. Генерал Тупиков, вместе с которым мы выбирались из Берлина, получил назначение на Юго-Западный фронт и стал начальником штаба фронта, оборонявшего город Киев. Я просил его позаботиться, в случае необходимости, о моих родителях. В единственной весточке, которую я от него получил, сообщалось, что у них все в порядке и чтобы я не волновался, поскольку оборона Киева надежна и неприступна. То была непростительная самонадеянность. События развивались быстрее, чем можно было предположить. Танковые корпуса Гудериана стремительно обходили Киев с двух сторон. В какой-то момент еще оставалась возможность вывести армию из котла. Быть может, в последнем транспорте Тупиков пристроил бы и моих родных. Командовавший войсками генерал Кирпонос умолял Ставку разрешить упорядоченную эвакуацию столицы Украины. Но Сталин запретил отход и потребовал, чтобы войска стояли насмерть. Сотни тысяч солдат и офицеров оказались в окружении, погибли или попали в плен, вместо того чтобы, отступив, продолжать борьбу на других фронтах. Когда гитлеровские танки ворвались в расположение штаба фронта, Кирпонос и Тупиков застрелились. Оборвалась и моя связь с родными.

11 ноября 1943 г. в Киев отправлялся военный транспортный самолет, в котором нашлось место и для меня. Я припас кое-какие продукты — булку, масло, сало, колбасу, уложил все в небольшой чемоданчик, полагая, что часть пути, возможно, придется проделать пешком. Мне выдали удостоверение,

подписанное первым заместителем наркома иностранных дел Вышинским и заместителем начальника Генерального штаба армии Антоновым. Военным и гражданским властям предписывалось оказывать помощнику наркома иностранных дел Бережкову всяческое содействие во время его командировки в город Киев.

В Москве к ноябрю уже основательно похолодало, и я решил надеть шубу, которую приобрел в комиссионном магазине сразу же по возвращении из Германии, ведь вся моя теплая одежда осталась в Берлине. Шуба была роскошная — такие носили в дореволюционной России только состоятельные люди: из черного плотного драпа, подбитая соболями, с огромным бобровым воротником. Вместе с ней продавалась и шапка из бобрового меха с черным бархатным донышком. Весь комплект, точно такой, как на знаменитом кустодиевском портрете Шаляпина, стоил очень дешево — всего 1100 рублей, при моей месячной зарплате в 1800. И что интересно, московские комиссионки были тогда буквально забиты такими шубами и дамскими меховыми манто. Те, кто заранее эвакуировались из столицы, распродавали все, что не смогли взять с собой. Оказалось, что в Москве после революции, гражданской войны и голода начала 30-х годов у жителей все еще оставалось немало имущества.

Но я совершил ошибку, взяв с собой столь роскошную одежду. После того как самолет приземлился в Броварах, на левом берегу Днепра, мне пришлось добираться дальше на попутных грузовиках, повозках и пешком в потоке беженцев, разрозненных групп раненых солдат, вышедших из лесов партизан и вообще каких-то отчаявшихся, оборванных людей, которых война сделала кочевниками. Мой подозрительный вид нувориша, обогатившегося на народном бедствии, вызывал враждебность, и любой солдат с автоматом или партизан в украшенной красной ленточкой папахе и ватнике, перетянутом крест-накрест пулеметными лентами, считал своим долгом остановить меня и потребовать документы. Имевшееся у меня удостоверение в большинстве случаев производило нужное впечатление. Но кое-кто сомневался в его подлинности и тащил меня к «старшему» для дополнительной проверки. Должен сказать, что многие с большим пиететом относились к моему шефу. Взглянув на удостоверение, спрашивали:

— Вы действительно помощник Вячеслава Михайловича? — и старались, чем могли, помочь.

Все же бесконечные проверки отняли много времени. Часам к десяти вечера подошел я к Днепру. Здесь на песчаной отмели валялась разбитая, искореженная техника — немецкая и наша,

дымились обуглившиеся остовы домов, в воздухе пахло гарью. Полная луна освещала эту скорбную панораму недавней жестокой битвы. Знаменитый киевский Цепной мост беспомощно поник. Его стальные пролеты рухнули в реку. Кирпичные быки стояли одиноко, словно геодезические отметки, уходя к противоположному берегу и теряясь в тумане…

Я вспоминал, как в 1920 году мы. с отцом и матерью в этом же месте в лютый декабрьский мороз вглядывались в торчавшие из ледяного покрова фермы Цепного моста, взорванного поляками. Киев был целью нашего долгого и тяжелого пути по вздыбленной гражданской войной стране из голодного Петрограда, где я родился, на казавшуюся благословенной Украину. Мне было тогда четыре года, но многие эпизоды тех мытарств, как и картина взорванного моста, так врезались мне в память, что и сейчас явственно стоят передо мной. С трудом мы перебрались по льду, карабкались на обледеневшие металлические балки. Когда после новых скитаний мы в 1923 году снова вернулись в Киев, начиналось восстановление Цепного моста. В нем принял участие и мой отец. Фермы моста соединяли закрепками на заводе «Большевик», где отец стал главным инженером. И вот теперь, двадцать три года спустя, я снова стою у руин Цепного моста. Сколько же нашему народу пришлось вынести, сколько раз пришлось вновь и вновь восстанавливать разрушенное!

Спрашиваю проходящего мимо солдата, как перебраться на другую сторону?

— Дальше вниз, километра через два, понтонная переправа…

Вот наконец и укатанный тракт, ведущий к переправе. Беспрерывной лентой тянутся машины. На берегу их скопилось уже немало. Ждут своей очереди. Понтоны покачиваются на волне и хрипло стонут под тяжестью груженных доверху «студебеккеров». Пристраиваюсь на одном из них.

Вот и правый берег Днепра, по существу, я в Киеве. Колонна машин поворачивает налево. Я выпрыгиваю из кузова и иду направо. Где-то здесь поблизости должны быть «закругления» — извилистое шоссе, поднимающееся к Лаврскому монастырю.

Теплая ночь, вокруг запахи влажных листьев и коры деревьев. Меня поражают тишина и абсолютная безлюдность. Как будто все тут вымерло. В шубе становится жарко, и я снимаю ее. Поднявшись на гору, иду вдоль Мариинского сада. На траве толстый покров неубранных листьев. Вдоль тротуара — чуть привядшие хризантемы. Кто-то высадил их в оккупированном городе. Это Липки, некогда аристократический район Киева. Не видно никаких разрушений.

Прохожу мимо завода «Арсенал». Отсюда в 1938 году я ушел на Тихоокеанский флот. Справа — постамент памятника жертвам наговора Мазепы — Искре и Кочубею, оставшимся верными Петру Великому. После революции сам памятник был сброшен и отправлен на переплавку, и на постамент водрузили пулемет «максим» в память о восстании арсенальцев. Пулемет немцы оставили нетронутым. Все такие знакомые места! Сколько раз я ходил тут на работу в «Арсенал»! Вот Дом Красной Армии, бывшее офицерское собрание, дальше изящный, весь белый, словно сахарная голова, особняк сахарозаводчика Зайцева. В 30-е годы тут жил секретарь ЦК компартии Украины Постышев, старый большевик, расстрелянный незадолго до начала войны по приказу Сталина.

На углу Левашовской (переименованной в улицу Карла Либкнехта) здание бывшего генерального консульства Польши. Мне еще предстоит вспомнить о нем, отвечая на вопрос Молотова по поводу докладной записки Берии Сталину. Поворачиваю налево и иду в сторону Институтской. Там, у перекрестка, наш дом. Что меня ждет? От волнения перехватывает дыхание. В призрачном свете луны такая знакомая мне улица кажется чужой и даже враждебной. Несколько дней назад по этому тротуару ходили нацисты. Теперь их и след простыл.

Электричества в городе нет, но я надеялся, что хоть в каком-то окне нашей квартиры, расположенной на первом этаже, мерцает свеча. Однако за стеклами царит кромешный мрак. Я останавливаюсь у парадного. Дверь настежь распахнута. Рядом, на стене, размашистая надпись: «Проверено — мин нет!» Дрожащими пальцами стучу по стеклу окна — наш старый условный знак: три-три-два. Молчание. Подхожу ко второму окну — там спальня родителей. Снова стучу по стеклу. И снова ни звука. Вхожу внутрь дома. Небольшой коридор, две ступеньки вверх и слева дверь, обитая дерматином. Машинально нажимаю кнопку звонка. Колокольчик молчит — нет тока. Стучу по двери, но под дерматином толстый слой ваты. Стучу по раме двери сперва потихоньку, потом сильнее. Никакого ответа. Дергаю за ручку — и дверь открывается. Я зову мать, отца. Никто не откликается. Прохожу в переднюю — у меня с собой карманный фонарик. Вхожу в гостиную, освещаю стены, пол. Луч выхватывает следы вандализма: отломанная от пианино крышка валяется в углу, расколотые рамы картин без полотен, в буфете выбиты стекла, повсюду экскременты — уже высохшие. Значит, по крайней мере несколько недель, как жильцы покинули квартиру, и здесь, перед бегством, буйствовали солдаты верхмата или, в короткий период безвластия, одичавшие бандиты.

Захожу в спальню — там такой же разгром. В моей комнате не лучше. Книги, которые я с такой любовью собирал, вывалены из шкафа на пол. Их тут совсем немного — большая часть исчезла.

Расчищаю метлой часть пола, раскладываю обрывки газет, стелю сверху свою роскошную шубу, чтобы лечь. Я прямо-таки выбился из сил. Но сон не приходит. Слишком сильно потрясение последних часов. Ясно одно — родителей уже давно здесь нет. Неужели они погибли? Отец давно плохо себя чувствовал, болело сердце. Он мог не перенести новых лишений, обрушившихся на него в период нацистской оккупации. Но мама еще далеко не старая, энергичная. Она-то должна была уцелеть. Если ее выгнали из квартиры, оставила бы мне весточку. Утром, когда рассвело, внимательно осматриваю все кругом, шарю под кроватями и мебелью, обследую рамы окон и входной двери. Быть может, там нацарапано что-то, что даст мне ключ к разгадке. Ничего на обнаруживаю и отправляюсь на поиски в город. Обхожу всех знакомых, оставшихся в Киеве. Кто-то видел отца, кто-то маму. Но это было несколько месяцев назад. Значит, они живы. От сердца отлегло. Но где они?

Постепенно растет уверенность, что родителей в городе нет, что их вообще нет на нашей стороне фронта. Были ли они депортированы немцами или же сами решили уйти на Запад, понимая, что после пребывания на оккупированной территории их ждут новые неприятности по возвращении советской власти? В сущности, это уже не имело особого значения. Так или иначе, подо мной мина замедленного действия. Зная наши порядки, не приходилось сомневаться, что рано или поздно меня в лучшем случае уволят из Наркоминдела и трудоустроят в какой-либо незаметной конторе, а в худшем — сошлют подальше, а то и «пришьют дело» и вообще ликвидируют, поскольку я уже «слишком много знаю». Таким Сталин не позволял разгуливать по белу свету.

Потом, много позже, я узнал, что отец и мать, не желая подвергать меня риску, сменили фамилию, зарегистрировавшись под девичьим именем матери. При всем своем непростом жизненном опыте они тут проявили поразительную наивность. Вокруг них оказалось достаточно информаторов, без труда раскрывших их хитрость. В дальнейшем эта «предосторожность» родителей лишь подзадорила Берию.

Что я могу сказать о судьбе родителей? Только одно: их жизнь была полна страданий. Отец, выбившийся из приюта и ставший талантливым инженером-кораблестроителем, только на протяжении немногих лет мог отдаться своей любимой

профессии. Потом революция, гражданская война, голод и скитания по разоренной стране, нужда, заставившая варить мыло и тачать сапоги. Несколько счастливых лет в 20-е годы и причастность к строительству судостроительной верфи в Киеве. Затем унижения в застенке ГПУ, а после освобождения — переход на маленький заводик «Манометр». Снова страшный голод на Украине, заботы о недоедающей семье. Наконец, война. И когда представился случай уйти на Запад, они им воспользовались. Были ли они там счастливы? Отец умер на чужбине в начале 50-х годов. Через несколько лет ушла из жизни и мама.

Поняв, что родителей не найду, я не ощущал боязни за себя. Всякий раз, попадая в «зону риска», я почему-то оставался совершенно спокоен. Впервые заметил это, когда еще совсем маленьким остался один на перроне какого-то полустанка и наблюдал, как облепленные беженцами вагоны мелькали мимо, унося в неизвестность родителей, от которых меня оттеснила на платформу толпа. Потом, когда уже подрос, задыхаясь от огромного нарыва в горле, так же спокойно воспринял чьи-то слова, обращенные к родителям: «Мужайтесь, до утра он не доживет…» Под утро нарыв сам прорвался, и я выжил.

Но на сердце оставалась тяжесть. Тут было и беспокойство за судьбу родителей, и понимание необходимости без промедления сказать обо всем Молотову. Но оказалось, что не так просто выбраться из Киева. Регулярный транспорт отсутствовал, и надо было ждать оказии.

Помогла имевшаяся у меня справка. Военный комендант дал «виллис», на котором меня доставили на Левобережье, в Бровары, в расположение военно-воздушной части под командованием Героя Советского Союза генерала Лакеева. У него был транспортный самолет, поддерживавший нерегулярную связь с Москвой. Но погода стояла нелетная: низкая облачность, сильный туман. Даже истребители прекратили боевые вылеты.

Лакеев пригласил меня остановиться в хате, которую занимал. Мы до поздней ночи играли с ним в шахматы, потягивая самогон, изготовленный хозяйкой дома из свеклы, а потом укладывались спать на лавках в большой горнице.

Так прошла целая неделя. Меня эта вынужденная задержка никак не устраивала. Я знал, что предстоит встреча «большой тройки» в Тегеране и Молотов мог уехать из Москвы до моего возвращения. Между тем. я понимал, что чем скорее обо всем доложу, тем лучше. Если что-то станет известно со стороны, то получится, будто я хотел все скрыть. А это, по нашим канонам, величайший грех.

Погода не улучшалась, но поступили сведения, что в районе

Курска облачность рассеялась. Я, конечно, не мог сказать Лакееву, почему мне так важно вернуться в Москву не позже определенной даты, когда наша делегация выедет в Тегеран. Но он почувствовал, что дело действительно срочное. Дал, на свой страх и риск, истребитель, который и доставил меня на военный аэродром под Курском. Оттуда на следующий день я смог вылететь в Москву.

Как я ни спешил, все равно опоздал. Молотов со Сталиным и Ворошиловым два дня назад выехали поездом в Баку, откуда должны были лететь в Тегеран. Одновременно я узнал, что мой дипломатический паспорт ждет меня и что в эту же ночь из Внуково в столицу Азербайджана отправляется транспортный самолет, где мне зарезервировано место. Так ничего никому не сказав, прибыл я через сутки в иранскую столицу. Я решил, что, выполнив свою последнюю переводческую миссию, сообщу все Молотову по окончании Тегеранской конференции, чтобы не вносить сумятицы в работу. Я не сомневался, что сразу же буду отстранен от дел.

Все дни конференции был так занят, находясь на пленарных заседаниях и двусторонних встречах между Сталиным и Рузвельтом, переводя застольные беседы «большой тройки», составляя протоколы, готовя различные документы, что временами забывал о своем. Но в считанные часы, остававшиеся для отдыха, долго не мог заснуть, представляя себе, как произойдет мое «изгнание из рая».

После окончания конференции наша делегация вылетела несколькими самолетами в Баку. Оттуда отправилась в Москву поездом. Я ехал в вагоне Молотова и, воспользовавшись подходящим моментом, рассказал ему о том, что не нашел родителей в Киеве. Вопреки моим ожиданиям Молотов воспринял мое сообщение спокойно.

— Вы поступили правильно, сразу проинформировав меня, — сказал он после короткой паузы. — С такими вещами тянуть нельзя. При каких обстоятельствах они покинули Киев?

— Мне это неизвестно. Может, их угнали немцы? Ведь такая судьба постигла многих.

— Этого нельзя исключать. Думаю, они найдутся. А вы продолжайте работать и больше никому ничего не говорите. Достаточно, что сказали мне…

И я продолжал работать. Меня по-прежнему вызывали переводить беседы Сталина. Летом 1944 года включили в состав советской делегации на конференции в Думбартон-Оксе по выработке Устава ООН, и я провел в Вашингтоне несколько месяцев. Казалось, все обошлось.

Но это только казалось.

Глава седьмая

Докладная Берии

Помимо кабинетов в своих ведомствах члены политбюро имели тогда служебные апартаменты и в Кремле. Все они находились на втором этаже здания Совнаркома, там же, где кабинеты Сталина и Молотова, но в разных коридорах. Ближе всего к «хозяину» располагался Берия. Когда в середине октября 1941 года Наркоминдел эвакуировался в Куйбышев, куда были отправлены и все дипломатические представительства, Берия вылетел на Кавказ организовывать поставки нефтепродуктов для армии. На самом деле он, видимо, хотел переждать опасное время подальше от Москвы.

Вернувшись в столицу в первой декаде ноября 1941 года по вызову Молотова из Куйбышева, мы с Павловым обнаружили, что наша комната занята. Зато по-прежнему пустовал кабинет Берии в Кремле. Молотов предложил, чтобы мы временно разместились в этом кабинете.

Вызвали коменданта Кремля, который без особого энтузиазма выполнил распоряжение Молотова и открыл для нас пустующие апартаменты. Они имели совершенно нежилой вид. Всюду было прибрано, нигде ни папок, ни листка бумаги, как будто хозяин и не собирался сюда возвращаться. Но все телефоны работали, включая «кремлевку» и правительственную иногороднюю связь «ВЧ».

Когда мы остались одни, то не удержались от соблазна обследовать помещение, которое занимал всесильный шеф сталинской секретной службы.

Сначала посетитель входил в приемную, где сидела охрана. Справа дверь вела в секретариат, состоявший из двух сравнительно небольших комнат. Дверь слева открывалась в просторный зал заседаний с длинным столом. Затем шел собственно кабинет, к которому примыкала комната отдыха, и еще дальше — ванная и небольшой тамбурчик вроде кухни, где были раковина и газовая плитка. У Молотова помещение для отдыха было поскромнее, возможно, потому, что он, как и Сталин, да и большинство других членов политбюро, имел квартиру поблизости в Кремле. Мне приходилось там бывать, когда нарком хворал и надо было доложить какой-то срочный вопрос. Квартиры, в которые вожди революции въехали после того, как советское правительство перебралось из Петрограда в Москву, были довольно невзрачные, с низкими потолками, маленькими комнатами, обставленными старой мебелью, оставшейся еще от дореволюционных времен. Тогда эти квартиры

занимала прислуга, поддерживавшая на должном уровне царские апартаменты в Кремле и обслуживавшая семью самодержца во время ее редких наездов в первопрестольную столицу.

Молодые вожди революции были непритязательны, и их вполне устраивало жилье бывшей царской челяди.

Но Берия, переведенный в Москву из Тбилиси, не въехал в такую квартиру. Ходили слухи, будто он убедил Сталина, что ему, как шефу государственной безопасности, лучше находиться вне Кремля, чтобы в случае диверсии или восстания руководить спасением членов политбюро. Так или иначе, «хозяин» разрешил ему занять особняк на углу улицы Качалова и Садового кольца. Создалась ситуация, когда главные вожди почти постоянно находились внутри Кремля, а Берия располагал определенной свободой и бесконтрольностью. Пользуясь этим, он держал специальную службу из доверенных людей, которые высматривали на улицах привлекательных молодых женщин и девушек. Его команда действовала совершенно бесцеремонно: машина останавливалась перед ничего не подозревавшей прохожей, офицер в форме госбезопасности любезно просил ее по важному делу сесть в машину, дверца захлопывалась — и очередная жертва бериевского сластолюбия вскоре оказывалась во внутреннем дворике особняка. Ее вводили в столовую, где предлагали угощения и напитки, а затем оставляли одну.

Недоумение жертвы длилось недолго. В комнате появлялся знакомый по портретам жабоподобный человек в пенсне и купальном халате. Он делал ей соответствующее предложение, а если она не соглашалась, то попросту насиловал. Офицер охраны, выпроваживавший ее из особняка, предупреждал, что за разглашение «тайны» она сама и ее семья будут сосланы в Сибирь.

И все молчали. Заговорили только после расстрела Берии.

В этой области Берия был своеобразный коллекционер. В его спальне обнаружили книгу учета с именами более пятисот женщин — его жертв.

Между прочим, Хрущев, когда умер Сталин, сразу узрел опасность в существовавшем «жилищном режиме» высшего руководства. В любой момент все они могли стать пленниками Берии за кремлевской стеной. И потому одним из первых актов Хрущева было постановление о выезде членов политбюро из кремлевских квартир. Для них построили особняки на Ленинских горах. Но вскоре руководители предпочли выехать и оттуда. Пустующие особняки стояли, как своеобразный памятник «исхода» вождей из Кремля.

При Сталине у наших высших руководителей жилищной

проблемы не возникало. Квартиры в Кремле закреплялись за ними, пока они оставались на постах. Если же кто-то попадал у Сталина в немилость, то наличие московской квартиры теряло всякий смысл, ибо опальный. руководитель сначала отправлялся в тюрьму, а вскоре и на тот свет. Одновременно и его семья переселялась в колымский лагерь.

В послесталинский период ситуация изменилась. Терявшего пост вождя больше не расстреливали. Но он должен был покинуть особняк на Ленинских горах. Тогда-то и возникла идея: создать специальное строительное управление, которое в наиболее привлекательных районах столицы возводило бы элитарные дома с роскошными квартирами, куда и въезжали все находившиеся на высоком посту вожди. В случае перехода на менее ответственную работу или ухода на пенсию им больше не нужно было выезжать из этих квартир, специально построенных по их запросам и вкусу.

Такова вкратце история жилищной проблемы вождей пролетарского государства.

Нам было не очень уютно в бериевском кремлевском кабинете. Единственное, что устраивало, — это ванная, где всегда текла горячая вода, и телефон «ВЧ». Нам нередко приходилось связываться с городом Куйбышевым, где оставались Вышинский, а также американский и английский отделы Наркоминдела, чтобы получить ту или иную справку. Иногда можно было позвонить и нашим женам, тоже остававшимся в Куйбышеве. Однажды во время такого разговора я почувствовал, что кто-то к нам подключился. Быстро попрощался с Галей и повесил трубку. Сразу же зазвонил телефон «ВЧ».

— Слушаю…

— Какое право вы имеете разговаривать по телефону Лаврентия Павловича? раздался резкий голос.

— Кто говорит? Может, сперва поздороваемся?

— У меня нет времени разводить с вами любезности. Кто вам разрешил войти в этот кабинет? Кто вы такой? — угрожающе спросил голос.

Мне было не по себе. Но все же не хотелось смалодушничать, ведь я был тут на законном основании.

— Сначала скажите, кто вы такой и почему подключаетесь к правительственной связи?

— Говорит генерал Серов. Я ответственный за правительственную связь. А мне докладывают, что вы уже не первый раз пользуетесь правительственной связью для частных разговоров.

Я действительно пару раз звонил в Куйбышев по личным делам. Галя была на начальной стадии беременности. Должен

был родиться мой старший сын Сергей. Галя очень плохо себя чувствовала. Я пытался достать для нее лекарства, а иногда с оказией и переслать продукты, какие удавалось купить. Сообщал, кто везет ей сверток, да и вообще справлялся о самочувствии. Такие разговоры занимали не больше пары минут, и я не видел в этом ничего предосудительного.

И вот опять, как некогда во Львове, у меня столкновение с генералом Серовым. Но он наверняка забыл обо мне. И я ответил:

— Здесь говорит Бережков. Мы с вами когда-то встречались во Львове, если помните. А работаю я в этом кабинете, в отсутствие товарища Берии, по распоряжению Вячеслава Михайловича, помощником которого являюсь. Как же вы не знаете об этом?

— Я сейчас в Куйбышеве и потому не в курсе дела, — растерянно произнес Серов и повесил трубку.

Думаю, однако, что он доложил Берии об этом инциденте и, если Молотов не согласовал с ним заранее вопрос о вселении нас в его кабинет, он нам это припомнит; И мы очень обрадовались, когда наконец получили свою комнату рядом с кабинетом Молотова.

Внешне Берия был со мной любезен — в тех редких случаях, когда мы с ним общались. На Тегеранской конференции в советскую делегацию официально входили только Сталин, Молотов и Ворошилов. Но с ними в советском посольстве находился также и Берия. Каждое утро, направляясь к зданию, где проходили пленарные заседания, я видел, как он объезжает территорию посольского парка в «бьюике» с затемненными стеклами, подняв воротник плаща и надвинув на лоб фетровую шляпу. Поблескивали только стекла пенсне. Как-то мы столкнулись с ним возле помещения охраны, рядом с которой находилась наша столовая. Он приветливо поздоровался, спросил про обстановку на конференции, а потом повторил примерно то же, что мне на днях при встрече военных экспертов сказал Ворошилов: я, мол, нравлюсь Сталину и мне следует воспользоваться его расположением в интересах моей карьеры. Я поблагодарил и ответил, что высоко ценю нынешнюю мою работу и не мечтаю ни о чем лучшем.

На банкетах в Кремле за столом обычно рассаживались в следующем порядке: посредине садился Сталин, по его правую руку — главный гость, затем переводчик и справа от него — Берия. Так я нередко оказывался рядом с шефом госбезопасности. Он почти не прикасался к еде. Но ему всегда ставили тарелку с маленькими красными перцами, которые он закидывал в рот один за другим, словно семечки. Однажды предложил мне такой

перчик — и меня буквально обожгло, когда я прикоснулся к нему губами. Берия засмеялся и принялся настаивать, чтобы я проглотил. Пришлось сделать вид, что послушался. Затем незаметно выбросил под стол.

— Это очень полезно. Каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца, — назидательно поучал Берия.

Он также всякий раз спрашивал, почему я худой?

— Такова конституция моего организма, — отвечал я. Не мог же я сказать, что две сосиски в день, которые мы получали в столовой кремлевских курсантов, никак не могли прибавить мне веса.

Вообще же я чувствовал себя в присутствии Берии как-то неуютно. Ведь он мог в любой момент намекнуть Сталину, что я «слишком много знаю». В конце концов нечто подобное и произошло.

Как-то осенью 1944 года я докладывал Молотову телеграмму из Вашингтона. Нарком слушал, продолжая просматривать бумаги на столе. Потом поднял на меня пристальный взгляд и спросил:

— Что вы делали в 1934 году в польском консульстве в Киеве?

Я поначалу растерялся, недоумевая: к чему этот вопрос? Молотов не сводил с меня глаз. Я понимал: нужно немедленно ответить.

— В польском консульстве? — начал я вспоминать. — Действительно, мне приходилось там бывать. Тогда я работал гидом в «Интуристе» в Киеве. Туристы обычно возвращались домой через Польшу. Я собирал их паспорта и относил в консульство для получения транзитной визы…

— Это мы знаем, — сказал Молотов ледяным тоном. — Но посещение польского консульства, о котором идет речь, было не в туристский сезон, а позднее, осенью, и вошли вы туда не с парадного, а с черного хода. Что вы там делали?

Подумать только, ведь прошло десять лет! Киев за это время пережил оккупацию, тяжелые бои при его освобождении. Разрушен старый Крещатик, взорван Успенский собор в Лавре, сгорели бесценные произведения искусства, погибли тысячи киевлян. А какая-то бумажка, написанная тем, кто за мной тогда, в 1934 году, следил, уцелела и теперь становится опасной уликой.

— Я был там у моего приятеля. Он раньше работал шофером в «Интуристе», и обычно мы с ним возили экскурсантов по городу. Потом он. перешел на работу в консульство, наверняка не без рекомендации соответствующих органов. Я случайно встретил его

на улице, и он пригласил меня к себе в гараж. Мы там посидели, поболтали, выкурили по польской сигарете «Про Патрия», выпили немецкое пиво вот и все…

Взгляд Молотова несколько потеплел, и он сказал: — Принимаю ваше объяснение. Это Берия написал товарищу Сталину докладную о вашем посещении польского консульства. Можете идти.

Как будто мне повезло. Ведь я вполне мог быть объявлен «шпионом белополяков», пробравшимся в святая святых — в кабинет Сталина! Вспоминая сейчас об этом, думаю и о том, как тесен мир. Польским консулом на Украине был Бжезинский — отец известного американского советолога Збигнева Бжезинского, бывшего помощника президента Картера по национальной безопасности. Если бы тогда на меня завели дело и заставили «сознаться», получилось бы, что я завербован Бжезинским-старшим.

Впрочем, разговор с Молотовым не остался без последствий. Победными салютами завершался 1944 год. Мы уже жили в двухкомнатной квартире на улице Москвина, которую получили весной 1942 года, незадолго до рождения сына Сергея. Нам посчастливилось найти няньку, что было особенно важно для Гали, не желавшей бросать работу в ТАСС. Новый, 1945 год решили встретить дома. Собралось много друзей и сослуживцев, было шумно и весело. Гости начали расходиться только под утро.

1 января в секретариате наркома дежурил Павлов. Прямо от нас он отправился в Кремль. А у меня был выходной. Привели квартиру в порядок, пошли погулять, покатали Сергея на санках и рано легли спать. Около трех ночи, уже 2 января, зазвонил телефон. Молотов срочно вызывал меня в Кремль. Ничего не подозревая, я заказал машину и через несколько минут уже входил в наш секретариат. Поздравил присутствовавших с Новым годом и тут же заметил, что все они какие-то молчаливые и угрюмые. Хотел, как обычно, без предварительного доклада пройти к наркому, но Козырев попросил подождать и сам отправился в кабинет шефа. Все это казалось странным. Наконец Козырев вернулся и очень официально обратился ко мне:

— Товарищ Бережков, Вячеслав Михайлович вас ждет.

Почему-то все мне сразу показалось чужим. И большая приемная с длинным столом и рядами стульев, и кабинет наркома. Как будто я тут не бывал ежедневно прошедшие четыре года.

Молотов, как тогда, в 1940 году, когда я увидел его впервые, сидел, склонившись над столом, освещенным лампой под зеленым абажуром.

Я остановился в нерешительности посреди комнаты.

Молотов поднял голову, пристально на меня посмотрел. Наконец прервал молчание:

— Подойдите ближе, садитесь.

Я опустился в кресло рядом с письменным столом, все еще теряясь в догадках, в чем я провинился? Но уже понимал: что-то стряслось.

— У вас нет новых сведений о родителях? — спросил Молотов.

— После поездки в Киев в ноябре сорок третьего я вам уже докладывал, что их там не нашел. Возможно, они погибли или их угнали нацисты в Германию, как это произошло со многими киевлянами. Никаких новых сведений мне получить не удалось.

— А вот Берия считает, что они сами ушли на Запад.

— У него есть доказательства?

— Он. ссылается на своих информаторов. Берия представил товарищу Сталину записку, где снова ссылается на ваши контакты с польским консульством. В сочетании с исчезновением ваших родителей возникают, как он считает, новые обстоятельства, требующие дополнительного расследования. В этих условиях он ставит вопрос о нецелесообразности дальнейшего использования вас на нынешней работе…

Молотов сделал паузу, испытующе поглядывая на меня. Я сидел, словно окаменевший. Нетрудно было понять, что означает бериевское «дополнительное расследование». Значит, моя карьера, о которой сам Берия советовал мне позаботиться, пользуясь расположением Сталина, теперь оказалась в его руках. Внезапно меня охватила апатия: будь что будет, бороться бессмысленно.

Тем временем Молотов продолжал:

— Мы советовались с товарищем Сталиным, как с вами поступить. Он тоже считает, что в создавшихся условиях вам нельзя оставаться здесь, у самой «верхушки». Вам сейчас же следует передать дела и ключ от сейфа Козыреву и Павлову. Оставайтесь дома, пока мы не решим ваш вопрос. Прощайте…

Все. Я вышел ощупью, как в тумане. Машинально открыл сейф, выложил на стол папки с бумагами, составил опись. Вместе с Козыревым и Павловым мы ее завизировали. Оба они сразу же, даже не попрощавшись, куда-то исчезли.

Я остался в комнате один. Сел на стул, пытаясь собраться с мыслями, которые разбегались, как тараканы при яркой вспышке. Одел свою форменную шинедь с генеральскими погонами советника Наркоминдела, серую папаху с кокардой и направился к выходу.

У Спасских ворот дежурный офицер, взяв мою голубую книжечку, позволявшую пройти в Кремль через любой вход, необычно долго смотрел на нее, а затем произнес:

— Приказано отобрать у вас пропуск…

Эти слова как бы окончательно захлопнули за мной дверь в прошлое.

Ничего не ответив, я вышел на Красную площадь и побрел без всякой цели по городу. Домой сразу вернуться не мог. Несколько часов, словно лунатик, шагал по пустынным улицам. Пришел, когда жена уже ушла на работу. Сергей спал, нянька хлопотала на кухне. Дома я не мог оставаться. Каждый день на несколько часов отправлялся бродить по городу. Целых две недели никаких известий. Недавних сослуживцев и многочисленных «приятелей» как ветром сдуло. Ночью ждал стука в дверь — ведь Берия обещал провести «расследование».

Наконец 17 января зазвонил телефон. Меня приглашали в редакцию журнала «Война и рабочий класс». Вздохнул с облегчением. С этим журналом и его работниками мне приходилось иметь дело. Молотов, будучи его фактическим редактором, поручал мне готовить материалы для редколлегии, просматривать статьи, передавать в редакцию поправки к гранкам и верстке. Хорошо знал я и заместителя редактора Льва Абрамовича Леонтьева, который осуществлял всю практическую работу в журнале.

Он очень радушно встретил меня, усадил в кресло за маленький столик в своем кабинете в Калашном переулке, где тогда помещалась редакция.

— Мы только что, — сказал он, — получили выписку из решения Секретариата ЦК, подписанного товарищем Сталиным. Там говорится, что вы освобождаетесь от обязанностей помощника наркома иностранных дел СССР в связи с переходом на работу в журнал «Война и рабочий класс». Собственно, я об этом решении знал раньше, но хотел дождаться официальной бумаги, прежде чем приглашать вас.

Я поблагодарил Льва Абрамовича за информацию и сказал, что, хотя не имею журналистского опыта, постараюсь по мере сил выполнять обязанности, которые мне будут поручены.

Леонтьев предупредил:

— Вячеслав Михайлович просил вам передать некоторые соображения. Он советует проявлять сдержанность в частных разговорах относительно вашей работы в Наркоминделе. Не распространяйтесь о том, какие функции вы выполняли у него в секретариате. Просто: работали в наркомате — и все. Избегайте контактов с иностранцами, с которыми общались по служебным

делам. Если начнете публиковаться, пользуйтесь псевдонимом.

Мне стало ясно: давая эти рекомендации, Молотов спасает меня от Берии. Я должен быть по возможности незаметным, мое имя не должно появляться в печати, чтобы лишний раз не напоминать о неоконченном «расследовании».

— Теперь о вашей работе в редакции, — продолжал Леонтьев. — Состоялось решение об издании нашего журнала на английском и немецком языках, и Молотов предлагает вам для начала заняться организацией этих изданий. Как вы на это смотрите?

— Что ж, это, пожалуй, ближе к моим возможностям. Принимаю предложение с благодарностью.

— Думаю, вам не следует уклоняться от того, чтобы понемногу пытаться выступать и в качестве автора… Конечно, под псевдонимом, — закончил нашу беседу Леонтьев.

Возвращаясь домой, я мысленно слал свою признательность Молотову. Он не часто заступался за кого-либо. Легко ставил свою визу на списках обреченных. Инициалы «В. М.» — Вячеслав Молотов — нередко сопровождались такой же визой «В. М.», имевшей зловещий смысл: «высшая мера», то есть расстрел. До меня четыре помощника Молотова погибли: троих расстреляли в застенках НКВД, четвертый, не вынеся пыток, бросился в шахту лифта на Лубянке. Молотов за них не заступился. Но меня он почему-то решил спасти, даже дав наставления на будущее. Думаю, что он к тому же договорился со Сталиным о том, чтобы под решением о моем переводе в журнал стояла подпись самого «вождя». Это, видимо, и преградило дорогу бериевскому «расследованию». Более того, вскоре после смерти Сталина и расстрела Берии, а к тому времени прошло десять лет, в течение которых он со мной ни разу не общался, Молотов вспомнил обо мне и снял с меня клеймо «неприкасаемого». Но в эти годы и сам он пережил момент, когда находился на волосок от гибели.

Полина еще жива!

С Иваном Михайловичем Майским, который в годы войны был советским послом в Лондоне, мы встретились в последний раз незадолго до его смерти. Он почти все время проводил на своей академической даче в Моженке, под Москвой.

Я приехал к нему в теплый летний день. Дом стоял в глубине сада, очень ухоженного, с яркими клумбами и кустами цветущих роз. Тишина нарушалась лишь слабым жужжанием пчел, перелетавших от цветка к цветку, и отдаленным постукиванием дятла в ветках высокой сосны.

Майский сидел на открытой веранде в кресле-коляске, держа в руках какой-то толстый фолиант. Ноги прикрывал пестрый шотландский плед. Нам принесли чай с малиновым вареньем. Майский сам разлил заварку в чашечки из тончайшего фарфора, положил на блюдечки варенье.

Обычно наша беседа начиналась с воспоминаний о далеких днях войны. Я впервые с ним познакомился на Ярославском вокзале, когда он вместе с британским министром иностранных дел Антони Иденом во второй половине декабря 1941 года приехал в Москву. Они летели из Шотландии до Архангельска, а затем поездом добирались к месту назначения. Незадолго до того нашей первой крупной победой завершилась Московская битва. Но вокруг столицы по-прежнему активно действовала гитлеровская «люфтваффе». Иден и Майский были одеты в белые полушубки с огромными воротниками и в меховые шапки. Зима в тот год стояла суровая, чему и соответствовала экипировка, которой они обзавелись перед выездом из Лондона. Потом мы много раз встречались с Майским — во время приездов к нам Черчилля, на Московской конференции трех министров иностранных дел осенью 1943 года и позже, когда Майский вернулся из Англии и получил пост заместителя министра иностранных дел. Но затем я ушел из МИД. Майский же оказался в застенках Лубянки.

— Это было ужасно, — делился воспоминаниями Иван Михайлович с легким налетом отчужденности. — Меня допрашивал сам Берия. Бил цепью и плеткой. Требовал, чтобы я сознался, что все время работал на Интеллидженс сервис. И я в конце концов признал, что давно стал английским шпионом. Думал, что если не расстреляют, то сошлют и оставят в покое. Но меня продолжали держать в подвалах Лубянки. Не прекращались и допросы. Из них я вскоре понял, что речь, собственно, шла не только обо мне, что Берия подбирался к Молотову…

Уже в конце 40-х годов позиции Молотова пошатнулись. Его заменил на посту министра иностранных дел Вышинский. Была арестована жена Молотова — Полина Жемчужина, ведавшая парфюмерной промышленностью и много сделавшая, чтобы советский слабый пол обрел наконец женственность. Ходили слухи, будто Жемчужина — израильская шпионка. После установления дипломатических отношений с государством Израиль, в создании которого Советский Союз принимал активное участие, послом в Москву была назначена Голда Меир. Оказалось, что они с Полиной когда-то учились вместе в гимназии и, естественно, встретились в Москве как старые подруги. Часто ходили друг к другу пить чай, много времени проводили вместе. Это дало повод Берии убедить1 Сталина в том, что Полина Жемчужина с давних пор работает на сионистов. И хотя Молотов все еще оставался членом политбюро, его супруга, которую он, несомненно, любил, оказалась в подвале Лубянки. Насколько известно, Молотов все же отважился спросить Сталина, почему Полину арестовали? И получил полушутливый ответ:

— Понятия не имею, Вячеслав, они и моих всех родственников пересажали…

Действительно, почти все родственники первой жены Сталина — Сванидзе и второй жены — Аллилуевой либо сидели в тюрьме, либо были расстреляны. Молотову нечего было ответить на эту «шутку» всесильного «вождя». Тем более что у нашего президента Калинина и у главного помощника «хозяина» — Поскребышева жены тоже сидели в тюрьмах. Потом Молотов рассказывал, что, когда встречал в кремлевском коридоре Берию, тот, поравнявшись, шептал ему на ухо:

— Полина еще жива…

Молотов мог положиться на достоверность этой информации: ведь его любимая жена находилась в бериевском застенке! И еще Молотов вспоминал, как счастлив он был, когда сразу же после смерти Сталина Берия любезно доставил ему Полину. Тогда же в апартаменты Берии привели из камеры и Майского. На столе стояли ваза с фруктами, бутылка грузинского вина и бокалы. Лаврентий Павлович был сама любезность.

— Иван Михайлович, — обратился он к подследственному. — Что это вы наговорили на себя напраслину? Какой же вы шпион? Это же чепуха — Майский ничего не знал о происшедших переменах. Он решил, что это очередной иезуитский подвох сталинского сатрапа. Подумал: если скажет, что не шпион, наверняка снова начнут бить.

— Нет, Лаврентий Павлович, я шпион, меня завербовали

англичане, это точно…

— Да бросьте вы эти глупости, Иван Михайлович! Никакой вы не шпион. Вас оклеветали. Мы сейчас разобрались. Провокаторы будут наказаны. А вы можете отправляться прямо домой…

Майский не верил своим ушам. Что же произошло в нашей стране? Или он его испытывает и сейчас начнет издеваться?

В кабинет вошел офицер, разложил перед подследственным одежду, отобранную перед отправкой в камеру.

Берия проводил Майского в комнату отдыха переодеться.

— Ну вот и все, — сказал он, протягивая руку Майскому. — Простите уж великодушно, произошло недоразумение. Внизу вас ждет машина… Проводите, бросил он офицеру.

В короткий промежуток между смертью Сталина и его собственным арестом Берия разыгрывал разоблачителя, обвиняя своих же подручных в злоупотреблениях, превышении власти, зверском обращении с заключенными. Выгораживая себя, он поспешно арестовал и расстрелял начальника следственной части НКВД Рюмина и других заплечных дел мастеров.

Но тогда, раньше, и Майский и Полина были нужны, чтобы состряпать «дело Молотова — английского шпиона». Из рассказов Майского о допросах, которым его подвергал Берия, вырисовывается следующая версия: Молотова якобы завербовали англичане во время его поездки весной 1942 года в Лондон и Вашингтон. В качестве переводчика его сопровождал Павлов. Находились с ним и офицеры охраны. На наскоро переоборудованном советском бомбардировщике дальнего действия они долетели до Северной Шотландии. Затем специальным ночным экспрессом ехали из Глазго в Лондон. На аэродроме советскую делегацию, носившую из соображений безопасности кодовое название «миссия мистера Брауна», встречал Антони Иден. Он же сопровождал гостей до британской столицы. У Молотова, как и у Идена, был свой вагон-салон. В нем помимо гостиной и просторного купе для министра имелось еще два спальных отделения — переводчика и охраны.

Поздно ночью в салон Молотова вошел Иден в сопровождении своего переводчика. Постучал в купе наркома, дверь открылась, и они оба вошли внутрь.

В то время у нас существовало строгое предписание: переговоры с иностранцами любого лица, вплоть до члена политбюро, должны были проходить в присутствии по крайней мере одного, а лучше двух советских «свидетелей». Таким «свидетелем» обычно служил переводчик. Но в данном случае Молотов оставался с глазу на глаз с Иденом и его переводчиком в

течение почти часа. О чем они беседовали? Не иначе как «сговаривались». Это обстоятельство было тогда же зафиксировано кем-то из сопровождавших Молотова. До поры до времени соответствующая докладная лежала в бериевском досье. Теперь она служила одним из «доказательств» того, что именно в ту ночь Иден завербовал Молотова, ставшего таким образом ценнейшим агентом Интеллидженс сервис. Ведь только «доверительностью» разговора, состоявшегося тогда в купе ночного экспресса, можно объяснить грубое нарушение Молотовым строжайшего предписания Сталина не находиться с иностранцами один на один.

Молотов на протяжении многих лет являлся вторым человеком в стране, пользовался у аппарата авторитетом. Хотя Сталин давно не считался с мнением своего окружения, тут ему пришлось как-то подготовить общественное мнение. Арест жены что-то значил, но был все же не очень убедителен, поскольку и другие жены сидели в тюрьмах. Поэтому он систематически на протяжении последних лет старался дискредитировать Молотова. На пленумах ЦК и в более узком кругу он говорил об «ошибках» Молотова, о его неспособности противостоять нажиму империалистических сил, о его «капитуляции» перед Западом. Одновременно он постепенно отодвигал Молотова на задний план, вывел из состава политбюро. Казалось, все подготовлено к последнему удару — аресту и объявлению некогда ближайшего соратника шпионом и врагом народа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Смерть Сталина помешала нанести этот удар.

Проводя последние годы жизни на даче в Жуковке, под Москвой, Молотов, уже вдовец, в своей компании неизменно произносил три тоста: «За товарища Сталина! За Полину! За коммунизм!»

На вопрос: «Как же так, Вячеслав Михайлович, ведь Сталин арестовал Полину и вас самого едва не погубил?» — столь же неизменно следовал ответ: «Сталин был великий человек…»

Новые времена

К марту 1945 года удалось подобрать переводчиков и контрольных редакторов. Началась подготовка к выпуску первых номеров английского и немецкого изданий журнала «Война и рабочий класс». Вскоре было принято решение издавать журнал также на французском языке. Я стал редактором английского и немецкого изданий, но мое знание французского было недостаточным, чтобы отвечать за качество и аутентичность перевода. Поисками подходящей кандидатуры пришлось заниматься мне. В МИД порекомендовали Чегодаеву, работавшую до войны в советском посольстве во Франции и отлично владевшую французским языком.

После победы над Германией и окончания войны в Европе название нашего журнала устарело. Обложка со словами «Война и рабочий класс» никак не соответствовала начавшемуся мирному периоду. Леонтьев предложил нам всем подумать о новом названии.

Вскоре образовался целый перечень различных вариантов. В результате обсуждения кое-что было отсеяно, и в итоге появился список, который Леонтьев переслал Молотову, а тот отправил Сталину для окончательного решения.

Надо сказать, что наши идеи вращались в довольно узком кругу названий, лежавших на поверхности. Список содержал такие варианты: «Мир и рабочий класс», «Международная жизнь», «Международное обозрение», «Перископ международных событий», «Мировая орбита», «Политика и жизнь» и т. д. Мы ждали ответа недели две. Приближалась дата выпуска очередного номера, и все в редакции нервничали, сознавая неловкость сохранения старого названия после окончания войны.

Но вот у нас в Калашном переулке (в этом особняке затем обосновалось посольство Японии) появился фельдъегерь. Он доставил большой красный пакет с пятью сургучными печатями. Мы поняли — это из секретариата Сталина. Расписавшись в получении пакета, Леонтьев разрезал конверт и извлек листок с нашими предложениями. Он был перечеркнут крест-накрест знакомым мне толстым синим карандашом. В правом нижнем углу размашистыми буквами стояло: «Н о в о е время» и инициалы «И. С.». Ни один из наших вариантов не устроил «вождя», и он дал журналу свое название.

Вопрос был решен. Но Леонтьева выбор «хозяина» изрядно смутил. Тогда у многих еще было свежо воспоминание о дореволюционной, крайне реакционной газете «Новое время»,

издававшейся черносотенцем Сувориным. С ней очень зло полемизировал Ленин, обзывая ее последними словами. Владимир Ильич, как известно, вообще не скупился на резкие эпитеты и ярлыки в полемике с оппонентами. Одно время у нас в Москве корреспондентом американского еженедельника «Тайм» был журналист русского происхождения Амфитеатров. Как-то, придя ко мне, он с гордостью сказал о том, что его деда часто упоминал в своих работах Ленин. Я потом полюбопытствовал, просмотрев в Собрании сочинений страницы, где упоминался предок американского журналиста. Оказалось, что Ленин называл его не иначе как «проститутка Амфитеатров». Многие из статей этого автора, вызвавших полемический запал Ильича, печатались в «Новом времени». Но особенно нашего шефа смутило то, что редактором суворинского листка был его однофамилец — Леонтьев.

Мы уже заказали проект новой обложки для русского, английского и немецкого изданий, а Льва Абрамовича все еще обуревали сомнения. Перечить Сталину он не мог, но не мог и оставить при себе мысль о неуместной аналогии. А вдруг потом, когда выйдет номер и кто-то обратит внимание «хозяина» на возникшую неловкость, тот гневно обрушится на редакцию, почему, мол, не предупредили.

После мучительных колебаний Леонтьев все же решился обратиться к Сталину. Технически это было просто, поскольку в редакции имелась кремлевская «вертушка». Когда звонил этот аппарат, Сталин обычно сам снимал трубку. Но потревожить вождя, да еще поставить под сомнение его решение — нелегкая задача!

Сталин выслушал. соображения Леонтьева, некоторое время молчал, затем сказал:

— Ну что ж, тогда было одно новое время, теперь другое. Война кончилась нашей победой. Враги повержены. Вокруг нас — друзья. Настали новые времена…

И повесил трубку.

Сомнения Леонтьева улетучились.

Действительно ли Сталин в тот момент верил, что наступила новая эра, что отношения сотрудничества с западными державами удастся сохранить, что и внутри страны больше не будут охотиться за «врагами», что для Советского Союза и для всего мира настали лучшие времена? Огромные пространства страны лежали в руинах. Миллионы людей ютились в землянках, не имея самого необходимого. Еще предстояло выполнить обещание и присоединиться к войне против Японии. Но это мыслилось как короткая кампания. Главное же состояло в

скорейшем создании человеческих условий жизни для населения, в восстановлении разрушенного. Возможно, тогда Сталин еще верил, что нам помогут американцы. Может, и он был готов умерить свои аппетиты, пойти на компромисс? Ведь пришедший недавно в Белый дом Трумэн уверял, что намерен продолжать линию Рузвельта в международных делах.

Кто повинен в том, что отношения между недавними союзниками обострились? Некоторые западные исследователи считают, что все руководители трех главных держав антигитлеровской коалиции в равной степени не были заинтересованы в продолжении союзнических отношений. Мне представляется, что сразу же после окончания войны советское руководство стремилось сохранить атмосферу доверительности, хотя в ряде случаев своими же действиями подрывало ее. Тут сказались подозрительность Сталина, его склонность к мышлению категориями «прошлой войны», навязчивая идея создания вокруг СССР пояса из государств с режимами, на которые он мог полностью положиться.

Все это, конечно, вызвало соответствующую реакцию в США и Англии. Но и там не очень заботились о сохранении благоприятного климата. Грубые выпады Трумэна в беседе с Молотовым, направлявшимся в Сан-Франциско для подписания Устава ООН, дали Сталину основание считать, что новая администрация США отходит от рузвельтовского курса. Позднее, в Потсдаме, попытка Трумэна шантажировать СССР атомной бомбой создала в Москве ощущение серьезной угрозы. Отсюда действия Сталина, интерпретировавшиеся на Западе как советская угроза. Началось обострение конфронтации, развертывание «холодной войны». Возникла опасность ее перерастания в «горячую».

В Соединенных Штатах развернулась кампания против коммунизма. В Советском Союзе на нее ответили не менее ожесточенной кампанией против империализма. Обе стороны готовили к столкновению свое население, которое все еще сохраняло чувство взаимной симпатии, возникшее в годы совместной борьбы против общего врага. Именно тогда, во второй половине 40-х годов, у нас инспирировали «борьбу с космополитизмом» и с «преклонением перед иностранщиной». Она, как мне представляется, преследовала две цели: ожесточить народ против «нового агрессора» в лице США и воссоздать внутри страны атмосферу страха.

Думаю, что Сталина преследовал «призрак декабристов». В Отечественной войне 1812 года сотни тысяч русских офицеров и солдат дошли до Парижа. По пути они познакомились с жизнью

различных народов Западной Европы, с условиями, резко отличавшимися от крепостнического строя России. Даже в посленаполеоновской Франции веял дух свободы, равенства, братства, который жадно впитывали русские люди и который они принесли с собой в Петербург. И спустя несколько лет произошло восстание декабристов на Сенатской площади.

Теперь миллионные советские армии дошли до Берлина, Вены, Праги, Будапешта, прошли через территории многих западноевропейских государств. Они увидели, что даже после пяти лет разрушительной войны и гитлеровской оккупации жизнь там оказалась совсем не такой беспросветной, как рисовала наша пропаганда, что в массе население жило лучше, чем советский человек. Не только в Восточной Пруссии, но и в Чехии, Словакии, Венгрии в погребах крестьянских хозяйств висели окорока, колбасы, сыры. Обо всем этом давно забыли колхозники, оказавшиеся в условиях сталинского государственного крепостничества. И «вождя народов» беспокоило, что же будет, когда эта масса, которую он почти двадцать лет держал в изоляции и неведении, теперь вернется домой и начнет сравнивать?

Заботило его и другое. На войне многие освободились от комплекса неполноценности, от привитого им аппаратом рефлекса ждать указаний сверху. Даже простой солдат из чувства самосохранения должен был нередко принимать сам решения и действовать по обстановке. Это граничило с чувством свободы, которое Сталин всегда стремился вытравить у своих подданных. Привело это и к избавлению от страха. Но ведь система, созданная Сталиным, держалась в значительной степени на страхе. Следовательно, возникает угроза системе. Необходимо ее спасать.

Началось охаивание всего «иностранного», вплоть до переименования знаменитой еще в старой России «французской булки» в «городскую булку» и популярного ленинградского кафе «Норд» — в «Север». Во всем должен был быть «наш приоритет», а там, где его не было, все следовало решительно отвергнуть. Генетика и кибернетика объявлялись «буржуазными лженауками». Того, кто осмеливался положительно отозваться о каком-либо западном открытии, клеймили как «безродного космополита», пресмыкающегося перед «иностранщиной». Разжигалась подозрительность к тем, кто оказался на оккупированных гитлеровцами территориях. Специальный пункт был введен в анкеты. Как будто люди сами предпочли остаться под немцами и потому виноваты именно они, а не советские вожди, обещавшие громить агрессора на его же территории, а

потом допустившие ситуацию, при которой Красная Армия откатилась к Волге и предгорьям Кавказа. Десятки тысяч пленных, также считавшихся повинными в том, что по воле «вождя» уже в первые дни войны им не позволили своевременно отступить и они попали в котлы, были сосланы в лагеря. Возобновились произвольные аресты, заводились «дела» на ни в чем не повинных людей, начиная с «ленинградского дела» и кончая «делом врачей-отравителей».

Сталин мог быть доволен. Он снова держал страну в страхе. Но это его достижение обернулось против него самого. Когда его настиг «удар, некому было помочь ему. Всех своих лечащих врачей он упрятал в тюрьму.

Смерть Сталина

Мы, молодые люди моего поколения, не знали о злодеяниях Сталина. Напротив, считали его мудрым, справедливым, заботливым, хотя и строгим отцом народов нашей страны. Почему же мы должны были его бояться? Мы его боготворили, преклонялись перед ним. Быть с ним рядом воспринималось как величайшее счастье, как честь, получив которую, ты чувствуешь себя в неоплатном долгу. Для меня возможность переводить его слова была проявлением высокого доверия, наполнявшего меня чувством гордости и огромной ответственности. Хотелось так сделать свою работу, чтобы о н остался доволен. Его одобрительная улыбка стоила для нас многого. И то, что случилось когда-то с моим отцом, я относил не к Сталину, а к дурным людям, пробравшимся в его окружение. Ведь именно Сталин своей статьей «Головокружение от успехов» пытался приостановить вакханалию насильственной коллективизации. Он не колеблясь убирал и казнил тех, кто нарушал «социалистическую законность». Ягода, Ежов и другие палачи поплатились жизнью за свои черные дела. Беспощадно наказывал он и тех, кто отступал от ленинских предначертаний или извращал их.

Так думали тогда миллионы и миллионы советских людей. И я был одним из них, по счастливой случайности получившим редкую возможность бывать рядом с «вождем».

В военные годы, когда меня часто вызывали к Сталину, количество репрессий значительно сократилось. Очень редко кто-либо исчезал из тех, кого я знал лично. Потери и лишения тех страшных лет сплотили людей, цементировали их преданность Родине, делу социализма. Казалось, что прошлое, в котором вокруг виделись враги и вредители, никогда не вернется. Новые аресты и процессы конца 40-х годов представлялись чем-то иррациональным, непонятным. Не верилось, что снова появились враги. Ведь мы победили. Советский строй выстоял. Чудовищная военная машина Гитлера не смогла сокрушить его. Кто же теперь будет пытаться вести подрывную работу? В этом нет никакого смысла.

Именно тогда у многих, в том числе и у меня, начали закрадываться сомнения. Где-то что-то не так. Кто-то хочет нас снова столкнуть к междоусобице. Кто-то, но, конечно же, не Сталин — генералиссимус, Верховный главнокомандующий, «вождь народов», находящийся на вершине успехов и славы!..

Смерть Сталина я пережил особенно тяжело. Ведь он для

меня был не только руководителем нашей страны, верным учеником Ленина, создателем всего того, чем мы жили в довоенные, военные и послевоенные годы. Я был один из тех немногих, кто знал его лично, сидел рядом с ним, вслушивался в каждое его слово, старался передать его мысль собеседнику со всеми ее оттенками и интонациями. Я уже не сокрушался о том, что был им отвергнут. Что могло это значить по сравнению с невосполнимой утратой, которую понесли наш народ, все человечество! Не печалился и о том, что не заслужил его привязанности, хотя и не подозревал, что у этого одинокого и болезненно подозрительного человека вообще не было привязанности даже к своим близким, к своим сыновьям. Мы все тогда считали себя его осиротевшими детьми. Я верил, что вечно буду хранить, как дорогую реликвию, запечатлевшийся в моем сознании образ полубога, оказавшего некогда мне великую честь тем, что я мог порой находиться около него на протяжении четырех, промелькнувших как одно мгновение, лет…

XX съезд КПСС нанес этим представлениям удар огромной силы. Поначалу, услышав текст «секретной речи» Хрущева, я не хотел верить тому, что там говорилось. Но, вникая в подробности, перебирая в уме леденящие душу свидетельства жертв сталинских репрессий, я чувствовал себя жестоко обманутым своим низвергнутым кумиром.

XXII съезд партии мною уже был воспринят более спокойно и трезво: мы все партия, советский народ — оказались жертвой чудовищного обмана и мистификации. Объект обожествления не оправдал доверия наивного народа, поверившего в несбыточную мечту. Когда позднее я принялся за свои воспоминания о том, свидетелем чего был в годы войны, я старался дать по возможности объективную картину всего, что видел и слышал: без излишних эмоций, придерживаясь фактов, как я их понимал.

Теперь, когда на нас обрушился новый шквал разоблачений сталинских зверств, когда открываются все новые преступления созданной им системы против народов не только нашей, но и других стран, мне представляется важным, осуждая и клеймя кровавые дела сталинской эпохи, не отказываться об объективного рассказа о пережитом…

По моим наблюдениям, далеко не только Берия проявлял патологическую необузданность по отношению к женскому полу. На этой почве произошло и первое падение Деканозова. Уже после войны он соблазнил девушку, оказавшуюся дочерью высокопоставленного деятеля, вхожего к Молотову. На этот раз Сталин не вступился за своего протеже. Деканозов получил партийное взыскание и был уволен из Наркоминдела.

Однако, как у нас всегда происходит с «номенклатурой», ему не дали низко пасть: он получил пост одного из заместителей председателя Радиокомитета. А вскоре начался новый подъем. Один из дружков — Меркулов, начальник Главного управления советского имущества за границей (ГУСИМЗ) — сделал Деканозова своим первым заместителем. ГУСИМЗ не только управлял огромным трофейным имуществом, попавшим к нам после войны, но и фактически поощрял организованный грабеж в странах Восточной Европы. Оттуда вывозили целые особняки и дворцы для большого начальства и высшего военного командования. Их разбирали на блоки, а потом собирали в подмосковных поместьях. Об автомобилях, скульптурах, картинах и говорить нечего. Их вывозили целыми эшелонами. Именно отсюда берут начало некоторые «частные коллекции», появившиеся у иных «пролетарских» чиновников после войны. Деятельность ГУСИМЗ тоже бросила семена, из которых появились ростки последующих катаклизмов в Восточной Европе.

Но ГУСИМЗ был не последней ступенькой в карьере Деканозова. Сразу же после смерти Сталина Берия назначил его председателем КГБ Грузии. Там, в Тбилиси, летом 1953 года он и был арестован одновременно с другими участниками бериевской группы, в которую входил и продвинувший Деканозова Меркулов. Всех их судил особый военный трибунал и приговорил к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в декабре того же года.

Разбирательство этого дела было закрытым, и мы до сих пор не знаем никаких подробностей и существа обвинений, предъявленных подсудимым. Говорили, что Деканозов якобы занимался по поручению Берии формированием групп «боевиков» и отправлял их тайно в Москву для участия в государственном перевороте, подготовляемом Берией. В своих воспоминаниях Хрущев пишет: «К 50-м годам у меня сложилось впечатление, что, когда умрет Сталин, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии, потому что тогда конец партии. Я даже считал, что это могло привести к потере завоеваний революции, что он повернет развитие в стране не по социалистическому пути, а по капиталистическому».

Вслед за арестом Берии ходили слухи, что он намеревался распустить колхозы и создать индивидуальные фермерские хозяйства. Заговорщикам будто бы инкриминировали и то, что они выступали за создание в СССР рыночного хозяйства и организацию совместно с капиталистическими фирмами смешанных предприятий. Берия, который родился в деревне Мерхиули, недалеко от Сухуми, покровительствовал этому

городу, начал там строительство новой роскошной набережной и увеселительных заведений на «горке Сталина». Все это, как утверждали, делалось для того, чтобы превратить бухту Сухуми в «Абхазскую Ниццу», в «Кавказскую Ривьеру», «запродав» ее иностранному капиталу для строительства международных отелей и игорных домов. В секретном письме ЦК по «делу Берии», которое зачитывали на закрытых собраниях членам партии, сообщалось, что Берия хотел вывести советские войска из Австрии и нормализовать отношения с Югославией, тайно послав к Тито своего эмиссара.

Тогда, в 1953 году, все это изображалось как страшная крамола, приверженцы которой заслуживали смертной казни.

Но уже в 1955 году был подписан государственный договор с Австрией, и оттуда ушли все иностранные войска, включая и советские. В том же году Хрущев сам отправился к Тито и заявил, что спровоцированный Сталиным разрыв с Югославией был ошибкой.

Вообще многое из того, в чем, по слухам, обвиняли заговорщиков, сейчас звучит совсем по-иному. Получается, что был шанс воссоздать у нас еще сорок лет назад фермерское хозяйство! Может, это избавило бы нас, по крайней мере, от одной проблемы — продовольственной. Взявшись вести нашу страну по социалистическому пути и обещав обогнать Америку, Хрущев лишил советских крестьян даже того мизерного хозяйства, которое сохранилось при Сталине.

Конечно, Берия был кровавым палачом, отвратительным садистом, насильником и развратником. Но ведь, как мы теперь знаем, и руки других советских руководителей обагрены кровью многих невинных жертв. До Берии были и Ягода, и Ежов, и тысячи тех, кто не колеблясь расстреливал ни в чем не повинных людей, кто с садистским наслаждением мучил в следственных изоляторах и лагерях строгого режима миллионы жертв сталинских репрессий. Поэтому следовало бы раскрыть протоколы бериевского процесса, чтобы узнать, была ли то верхушечная борьба за власть или к ней примешивались принципиальные расхождения относительно путей развития нашей страны.

Рекомендации Йозефа Вирта

Оглядываясь на первоначальный период моего пребывания в редакции «Нового времени», должен признать, что в целом работа была интересная. Вскоре меня ввели в состав редколлегии и назначили ответственным секретарем редакции. Иностранные издания получили новых редакторов, и я осуществлял лишь общее наблюдение за ними. Функции ответственного секретаря охватывали широкий круг вопросов — чисто журналистских, издательских, хозяйственных, кадровых, финансовых. В материальном отношении также было грех жаловаться. Публикации авторских материалов приносили гонорар в дополнение к заработной плате.

В издательстве «Молодая гвардия» в 1947 году вышла первая моя книга «Обманутое поколение» — исследование о положении английской молодежи. Мы очень тогда сочувствовали трудной доле британских юношей и девушек, не задумываясь над тем, что в действительности оказались обманутыми несколько наших поколений, которым на протяжении всей их жизни внушали, что пройдут две-три пятилетки и наступит счастливая жизнь для всех, что далеко позади останутся капиталистические страны.

Теперь мы видим, что сами оказались у разбитого корыта. Но тогда я очень гордился своей первой большой работой, которая была переведена на английский язык.

Редакцию прикрепили к какой-то элитарной продуктовой базе, и заказы, которые полагались каждому члену редколлегии, были разнообразны и высококачественны. В этом отношении в журнале мне было значительно лучше, чем в секретариате Молотова. Но я не испытывал удовлетворения. Во мне были живы воспоминания о прошлом, о причастности, хотя и косвенной, к большой политике, когда принимались политические решения на высочайшем государственном уровне, и, не скрою, об особом ощущении близости к «вождям» — Сталину и Молотову. Каждую ночь меня одолевали болезненно манящие, но чаще кошмарные видения, где светлое причудливо переплеталось с ужасом падения в мрачную бездну. В бессонные ночи снова и снова в мозгу прокручивались неповторимые мгновения нервного подъема перед каждым вызовом к «вождю». Словно наяву передо мной уходил куда-то в туман заветный коридор, ведущий вето апартаменты. Вот я прохожу мимо постового, отдающего мне честь. Вот и дверь, у которой как обычно дремлет генерал Власик. Я открываю ее, но она не поддается. Власик поднимается во весь свой рост, отстраняет меня рукой. Откуда-то из далеких глубин

слышится: «Вам туда запрещено!» Пол подо мной разверзается, я лечу в пропасть… Так ночь за ночью повторяются разные вариации «изгнания из рая».

Многолетняя привычка работать всю ночь до утра не позволяет мне уйти домой вовремя. Когда все покидают редакцию, я остаюсь в своем кабинете, читаю информационный бюллетень ТАСС, американские и английские газеты, получаемые редакцией. Мелькающие там имена политических деятелей США и Англии так мне знакомы, что тут же, словно живые, встают перед моим мысленным взором, постоянно напоминая о том, что меня выбросили из их круга. Казалось бы, надо отшвырнуть эти газеты, не видеть их, но как к зудящей ране рука все же тянется к ним. Недавние коллеги по МИД, те, кого я принимал, когда они робкими новичками делали свои первые шаги в дипломатической карьере, становятся генконсулами, посланниками, послами, а для меня этот путь навсегда закрыт! Они все тут же отвернулись от меня. В радостный День Победы ни один не навестил, не позвонил. А еще недавно все наперебой звали в гости… 9 мая 1945 г. только два сослуживца по флоту заглянули в редакцию с бутылкой шампанского, и мы отправились на Красную площадь, заполненную ликующей толпой.

Особенно тяжело я переживал, читая сообщения с Ялтинской конференции. Казалось, еще дчера все ее участники были рядом со мной. Вместе с ними я должен был отправиться в Крым, войти в Ливадийский дворец, переводить беседы Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. За четыре года я привык, что всегда был в таких случаях нужен. Было до слез обидно, даже оскорбительно. Что такое переводчик? Без него участники переговоров словно глухонемые. Он нужен, необходим, незаменим. Но вот я вижу, что нужен он только как профессионал, специалист, но вовсе не как личность. Человек исчезает, но профессионал остается, уже в оболочке другого человека. Прежнего как не бывало, и ничего особенного не произошло.

Умом я это понимал, но примириться никак не мог. Бередя рану, рассуждал: я ведь был не только переводчиком, но и помощником министра иностранных дел. Однако и в этой своей функции мало что значил, хотя четко и добросовестно выполнял свои обязанности. Я тогда переоценивал себя, полагая, что обладал какими-то особыми способностями и потому меня не должны были так просто вышвырнуть. Я помнил высказывание «великого вождя», что «кадры решают все», но ведь была и другая его сентенция: «незаменимых людей нет». Выбрасывали на «свалку истории» и ликвидировали физически более способных и необходимых стране людей, чем я. Спасибо, что остался жив и

получил неплохую работу! Но внутри продолжал глодать червь гордыни. Казалось, что жизнь кончилась. Все тело ныло, чаще и чаще накатывал липкий туман апатии. В свои тридцать лет я ощущал себя старым и немощным.

Мои ночные бдения осложнили семейную жизнь. Рождение второго сына в 1947 году не спасло наш брак, неумолимо скатывавшийся к разводу. Потом — увлечение, граничившее с безумием и сопровождавшееся дикими сценами ревности, примирения и разрыва. Но эти душевные травмы вылечили от ипохондрии и приглушили тоску по «утерянному раю».

Когда в марте 1953 года умер Сталин, я оплакивал его, как и миллионы советских людей, но уже без чувства незаслуженно отверженного.

Вскоре после расстрела Берии, в начале апреля 1954 года, в моей холостяцкой комнате раздался телефонный звонок. Козырев, голоса которого я не слышал целых десять лет, сказал как ни в чем не бывало:

— Вас срочно приглашает к себе Вячеслав Михайлович.

После смерти «вождя» Молотов, жизнь которого еще недавно висела на волоске, снова стал членом политбюро, первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и министром иностранных дел. Председателем Совмина назначили Маленкова, его вторым замом — Берию, получившего также пост министра внутренних дел. Хрущеву поручили функции секретаря ЦК партии, которые в те дни считались не столь уж важными.

За последние годы в Москве возвели несколько, напоминавших башни Кремля, высотных зданий, очень нравившихся Сталину. В одном из них, на Смоленской площади, разместился МИД. Пропуск для меня лежал у дежурного при главном входе. Охваченный волнением, недоумевая по поводу причины внезапного вызова к министру, поднялся я на седьмой этаж, где находился его секретариат. Хорошо, думал я, что министерство переехало с Кузнецкого и что Молотов примет меня не в таком знакомом кабинете в Кремле. А то вновь защемит сердце. Здесь же, на Смоленской, все чужое.

Когда я вошел в секретариат, Козырев сказал, чтобы я прямо направлялся в кабинет, где меня ждет министр.

Молотов остался сидеть за письменным столом, приветствовал меня кивком и пригласил сесть в кресло напротив. Все это выглядело точно так, как было в те четыре года, когда я у него работал. Будто и не минуло с тех пор десятилетия. Я как бы видел его только вчера или даже сегодня утром. Он не спрашивал ни о моем самочувствии, ни о том, как я жил все эти годы, а сразу перешел к делу:

— Завтра в Вене открывается сессия Всемирного Совета Мира. Мы хотим направить вас туда с поручением. Насколько известно, там будет бывший канцлер Германии времен Веймарской республики Йозеф Вирт. Вам надо с ним познакомиться. Лучше всего поехать в качестве корреспондента «Нового времени» для освещения работы сессии. В этом качестве вы и представитесь Вирту. Попросите у него интервью для журнала о движении в защиту мира. Но нас интересует другое. Мы заняты переоценкой международной ситуации. Есть ощущение изоляции, в которой мы оказались. Надо что-то предпринять, чтобы из нее выбраться. Представляется важным выработать и новую европейскую политику. Вирт, который еще в период Рапалло, в 1922 году, позитивно относился к сотрудничеству Германии с Советской Россией, может высказать интересные соображения о том, как нам ныне подойти к европейской проблеме, в частности выработать новый подход к Западной Германии. Надеюсь, вы понимаете, что мы имеем в виду?

— Да. Постараюсь выполнить ваше задание…

Слушая Молотова, я думал: вот снова начинается какой-то поворот в моей судьбе. Конечно же, он мог дать это поручение любому сотруднику МИД, но почему-то решил вызвать меня. Может, потому, что я имел еще довоенный опыт общения с немцами? Последние годы Молотов был отстранен от внешнеполитических дел и от мидовского аппарата. А меня знал лично. Потому и дал столь деликатное поручение. Меня особенно поразило то, что оно было связано с выездом за границу. Правда, в Австрии тогда стояли советские войска, но там были также американские, английские и французские части, а в Вене между четырьмя зонами оккупации не существовало никаких барьеров. Попавший в Австрию человек мог податься в любом направлении, включая и западное. В те времена такая поездка за рубеж, особенно учитывая мою специфическую ситуацию, являлась особым знаком доверия. И вот теперь его оказывал мне Молотов, не видевший меня много лет. Это, как и то, что он фактически спас меня от рук Берии в 1945 году, казалось мне невероятным и не свойственным такому, в общем-то, безжалостному человеку, гордившемуся своей непоколебимой «твердокаменностью». Он никогда не был сентиментален. Но, может быть, все же подумал, что настала пора исправить допущенную в отношении меня несправедливость? Может, он теперь смягчился из-за несправедливости, совершенной по отношению к нему и его жене?

— Вирт, разумеется, не должен знать, что вы имеете

поручение правительства, — пояснил Молотов. — Намекните просто, что в Москве влиятельные люди хотели бы знать его мнение, к которому отнесутся с уважением. Когда вернетесь, представьте мне подробный отчет. Сейчас вам выдадут специальное удостоверение, действительное для поездки в Австрию. Завтра утром вылетаете. Гостиница в Вене вам заказана. Желаю успеха.

— Спасибо за доверие, — произнес я по укоренившейся у нас привычке за все благодарить партию, даже когда она — что бывало крайне редко — просто искупала свой грех.

Как все же наша система иной раз способна срабатывать с молниеносной быстротой! Едва я вышел из кабинета Молотова, как Козырев вручил мне бордовую книжечку с моей фотографией, гербовой печатью и выездной визой. Оказалось, что все эти годы в секретариате хранилось мое личное дело, где было подколото несколько фото. Одновременно я получил и авиабилет.

Самолет отправлялся из аэропорта Внуково в семь утра. Я даже не успел предупредить редакцию. Но Леонтьев, как потом выяснилось, знал обо всем от Молотова.

В аэропорту Вены меня встречал представитель посольства, предупрежденный шифровкой о моем приезде. Разместился я в отеле «Империал», конфискованном командованием Советской Армии и управлявшемся, хотя и с грехом пополам, хозяйственной частью. За годы оккупации некогда роскошная гостиница пришла в весьма плачевное состояние. Один из двух лифтов не действовал, комнаты убирались нерегулярно, в раковине и ванне — рыжие потеки от неисправных кранов. Ресторан и кафе не работали, даже негде было согреть воды для чая. Но мне казалось, что все это мелочи жизни. Главное — я, после десяти невыездных лет, оказался в Вене, да еще с важным правительственным поручением.

Вечером явился на открытие сессии Всемирного Совета Мира. В кулуарах уже толпилось много участников, гостей и журналистов. Разносился аромат свежесваренного кофе, дорогих сигар и каких-то головокружительных духов. Потом я узнал, что это неведомые тогда у нас «Шанель-5». В движении за мир участвовали в те годы широко известные политические деятели, ученые, писатели. Я встретил там Бертрана Рассела, Жолио-Кюри, Илью Эренбурга и, конечно же, Йозефа Вирта. Решил не спешить и преждевременно не навязываться со своим интервью, а сперва освоиться в малознакомой обстановке и установить контакт с возможно большим числом участников сессии.

Встретил я здесь и популярного в то время драматурга Александра Корнейчука, с которым был знаком еще по Киеву. С

начала войны он был фронтовым корреспондентом, но часто приезжал в Москву, поскольку его жена, польская писательница Ванда Василевская, входила в состав Польского комитета освобождения. Это была крупная, уже немолодая женщина, носившая полувоенную форму, кавалерийские галифе и высокие сапоги. Корнейчук казался рядом с ней миниатюрным и очень юным. По фронтам в свое время гуляла частушка:

Пришла телеграмма резкая,
В штабе испуганы слегка
Едет Ванда Василевская,
Она же — муж Корнейчука…

К концу войны Александра Корнейчука назначили заместителем наркома иностранных дел по проблемам славянских стран, и я часто видел его, когда он приходил в кабинет Молотова для участия в заседании коллегии Наркоминдела. Обычно он занимал место у края длинного стола и по большей части молчал. А Молотов с хитрой усмешкой приговаривал:

— Вот Корнейчук сидит здесь, наблюдает, а потом и вставит нас в комедию…

В Вене в первой и во второй половине дня проходили заседания, а вечером предлагалась культурная программа. Представители муниципальных властей пригласили нас в Венскую оперу на «Похищение из Сераля» Моцарта, на концерт произведений Иоганна Штрауса, а также в политическое кабаре. Мне запомнилась одна из разыгрывавшихся там миниатюр: посреди сцены на венском стуле сидел актер, одетый в своеобразную форму — левая нога была в красноармейской зеленоватой брючине, заправленной в кирзовый сапог, правая — в американском ботинке и штанине-гольф. Половина груди, погон и рука — английские, другая половина — французская. Австриец в альпийской шапочке вбегал на сцену и что-то выкрикивал, на что реагировала только одна часть тела, скажем, советская нога, вся же фигура продолжала неподвижно сидеть на стуле. Затем повторялась такая же история с американской ногой, с французской, английской рукой. Части тела двигались по отдельности, но солдат в четырех униформах оставался на месте. Наконец, вбежавший в очередной раз отчаявшийся австриец заорал во все горло: «Китайцы идут!» И тогда сидевший на стуле вскочил и под смех и аплодисменты публики скрылся за кулисами. Все, разумеется, прекрасно понимали намек на стремление австрийцев поскорее избавиться от четырехсторонней

оккупации.

Журналистов, аккредитованных при Совете Мира, пригласил как-то к себе в резиденцию советский политический комиссар на просмотр документального фильма о взятии Берлина. В перерыве был устроен небольшой прием с охлажденной водкой и разнообразными закусками. Официант в смокинге разносил напитки. Я взглянул на него и опешил от неожиданности. То был Лакомов — повар посла Деканозова в Берлине до войны. Мы обрадовались этой встрече, обнялись и облобызались. Ведь мы не виделись тринадцать лет! Вспомнили, как уже после гитлеровского вторжения, будучи интернированы в здании посольства СССР в Берлине в конце июня 1941 года, мы с Лакомовым устраивали завтрак для обер-лейтенанта СС Хейнемана, который помог мне с Сашей Коротковым выехать за пределы посольства для встречи с антифашистским подпольем.

Йозеф Вирт сразу же откликнулся на мою просьбу дать интервью для журнала «Новое время». Мы встретились в отеле «Амбасадор», где он остановился. Здесь, в отличие от нашего «Империала», царил образцовый порядок, поддерживаемый австрийским персоналом. Все сверкало, вестибюль украшали ковры и экзотические растения, у лифта наготове застыл одетый в гостиничную форму бой. Он доставил меня на нужный этаж в бесшумном скоростном лифте. Вообще австрийцы за несколько послевоенных лет сумели устроить у себя нормальную жизнь. В красиво оформленных магазинах покупателя радовало обилие продуктов и товаров. Публика в кафе и на улицах одета со вкусом, хотя и несколько экстравагантно. Повсюду много цветов. Автомашин еще мало, но город заполонили ставшие модными сравнительно дешевые мотороллеры. Юноши и примостившиеся за их спинами девушки с развевающимися по ветру волосами стали своеобразным украшением Вены.

Был солнечный безоблачный день. Сквозь открытое окно в номере Вирта виднелась пестрая крыша собора Св. Стефана. Любезный хозяин заказал кофе, и мы расположились в плетеных креслах у низкого круглого столика. Сначала беседа вращалась вокруг венской сессии Всемирного Совета Мира. Вирт много говорил о значении борьбы за мир и участия в ней хорошо известных деятелей. Вместе с тем он высказал сожаление, что движение не приняло массового характера. Вот почему руководители государств могут игнорировать призывы к разоружению и продолжать гонку вооружений. Важную роль тут может сыграть пресса, но пока она скорее искажает, чем разъясняет цели движения за мир. Вирт считает, что международная обстановка сейчас сложная, что «холодная война»

сковала Европу, которая все еще не оправилась от второй мировой войны. Тут-то мне и было уместно задать главные вопросы.

— Думаю, — сказал Йозеф Вирт, — что одна из главных европейских проблем это германская проблема. Сейчас существуют две Германии, и я полагаю, что Вашингтон не примет никаких ваших предложений о конфедерации или какой-либо иной форме союза германских государств. Соединенные Штаты крепко держат в своих руках западную часть страны и не выпустят ее. У вас в настоящее время очень скверные отношения с Бонном. Ваша пропаганда изображает Аденауэра милитаристом и чуть ли не неофашистом. Это неверно по существу и лишь осложняет дело. В действительности Аденауэр, будучи сам в прошлом жертвой нацистских преследований, далеко не столь однозначная фигура. Он, конечно, антикоммунист, но в то же время он по-своему патриот Германии. В какой-то мере он тяготится американской «дружбой» и хотел бы завязать диалог с Москвой. Но должна быть и с вашей стороны готовность к этому…

— Что же, по вашему мнению, господин канцлер, нам следует предпринять?

— В советских руках имеются важные козыри. Прежде всего, это сотни тысяч военнопленных, судьба которых волнует всех немцев. Немалое значение представляет собой и вопрос о могилах германских солдат, павших на советской территории. Разумеется, он, скорее, носит символический характер. Многие захоронения давно сровнялись с землей. Но какой-то жест в этом отношении очень важен для Аденауэра в моральном плане. Наконец, проблема второй Германии, которую в Бонне по-прежнему рассматривают как советскую зону оккупации. Тут и вопросы объединения семей, имущественные претензии и прочее. Думаю, что вам надо прощупать возможности налаживания отношений с Западной Германией. Начать с обсуждения вопроса о возвращении военнопленных. Параллельно рассмотреть проблемы об установлении дипломатических отношений между Москвой и Бонном. Полагаю, что, когда в ходе предварительных контактов дело продвинется, Аденаэур будет готов посетить Москву, что явится важной акцией и в практическом, и в символическом плане.

Мне показались все эти соображения вполне резонными. Например, решение проблемы военнопленных давно назрело. Прошло более десяти лет с момента их пленения. Со многими из них мне последнее время приходилось встречаться. В поселке Павшино, под Москвой, были организованы мастерские, где работали немецкие военнопленные, имевшие различные

гражданские специальности: портные, столяры, слесари. В разных учреждениях, в том числе и у нас в редакции, раздавали талоны, по которым в этих мастерских можно было многое заказать. Некоторые покупали там даже целые кухонные или столовые мебельные гарнитуры, предметы сантехники, резьбу по дереву. Мне сшили пару костюмов, причем очень качественно. Во время примерок мы беседовали с моим закройщиком по-немецки и, пожалуй, даже подружились с ним.

В общем, жилось этим пленным тогда неплохо. Работали они по специальности и, казалось, с вдохновением. Их поселок из небольших коттеджей был прекрасно ухожен, с клубом, спортивными площадками, клумбами, с обсаженными молодыми деревцами дорожками, посыпанными желтым песочком. По сравнению с бесчеловечными условиями советских военнопленных в годы войны в Германии тут была просто райская жизнь. Но все же после столь долгого пленения их неудержимо тянуло на родину, и это чувство можно было понять.

— А каково, господин Вирт, ваше мнение о европейской политике Советского Союза?

— Здесь тоже вам надо прорвать кольцо изоляции и враждебности. Образ врага за послевоенные годы глубоко проник в сознание миллионов людей на Западе. Надо постараться показать и подтвердить соответствующими действиями, что Советский Союз не представляет угрозы для Западной Европы. Прежде всего надо решить вопрос о выводе всех оккупационных войск из Австрии. Важно также восстановить механизм консультаций министров иностранных дел держав-победительниц. Хотя Индокитай находится далеко, урегулирование в этом регионе будет способствовать успеху курса на нормализацию обстановки в Европе. Французы там завязли и хотят, по возможности не потеряв лица, выбраться из Индокитая. Тут могут помочь ваши друзья-китайцы. Лучше всего было бы организовать какое-то международное совещание по Индокитаю. Такая встреча была бы важна и в плане осуществления контакта между ведущими политическими деятелями крупнейших держав. Словом, многие проблемы сейчас ждут советских инициатив.

Я получил целый набор рекомендаций. Мне было что доложить Молотову. Но хотелось поговорить с Виртом как со свидетелем важных событий прошлого. Передо мной находилась сама История! Рапалло… Весна 1922 года. Чичерин с полномочиями, подписанными Лениным, ведет в Италии переговоры с руководителями Антанты. Союзники требуют от Советской России, которую они все еще официально не признают,

уплаты долгов царского и Временного правительств. Только после этого может идти речь о признании. Чичерин решительно отказывается удовлетворить эти требования. За спиной переговорщиков маячит тень побежденной Германии. Официальные и неофициальные контакты поддерживают между собой ведущие политики — премьер Англии Ллойд Джордж, министр иностранных дел Франции Барту, германский канцлер Вирт, министр иностранных дел Германии Ратенау. Ведет неофициальные переговоры и Чичерин, свободно владеющий английским, французским, немецким и итальянским языками. Западные державы хотят удержать Советскую Россию в изоляции. Но Чичерину удается осуществить прорыв. Он делает немцам, которых Англия и Франция держат в черном теле, заманчивые предложения. Заведующий восточными делами министерства иностранных дел Германии Мальцан уговаривает Ратенау принять советские предложения. Вирт тоже соглашается с ними. 16 апреля 1922 г. Рапалльский договор подписан. Дипломатические и консульские отношения между Германией и Советской Россией немедленно возобновляются…

Я спрашиваю Вирта, как же тогда это все произошло.

— Сложилась действительно драматическая ситуация. Обо всем договорились в течение одной ночи и до рассвета подписали договор. Он имел эффект разорвавшейся бомбы. Англичане и французы были возмущены, требовали отмены соглашения. Наше положение тоже оказалось не из легких. Президент Эберт склонялся к соглашению с западными союзниками, и нам стоило немалого труда его переубедить. Но в целом это был хороший, правильный договор, облегчивший положение Германии.

— Вас, господин канцлер, очень уважают у нас в стране именно в связи с вашей ролью в заключении Рапалльского договора.

— Что ж, я признателен за это.

Мы распрощались, и я отправился в «Империал», чтобы подробно записать состоявшуюся беседу.

На следующий день после возвращения в Москву доложил Молотову о встрече с Йозефом Виртом и передал ему запись беседы.

Бегло пробежав ее, Молотов сказал:

— Вижу, что вы неплохо справились с заданием. Каковы ваши планы? Может, хотите вернуться в министерство?

Я не был уверен, что получу такое предложение. Но на всякий случай все же его обдумал. Журналистская работа теперь меня уже вполне устраивала. Тут была куда большая свобода, чем в МИД, большая самостоятельность и возможность проявлять

инициативу. И что бы мне ни предложили, в материальном отношении в редакции было несравненно лучше. Да и возвращаться к старому после многолетней опалы не так-то приятно. Я поблагодарил за предложение и сказал, что хотел бы остаться в журналистике.

— Ваше право решать, — не настаивал Молотов.

Мне нужно было опубликовать в журнале репортаж о венской сессии Всемирного Совета Мира и об интервью с Виртом. Но до сих пор я печатался под псевдонимом, а в Вену ездил и представился Вирту под своей настоящей фамилией. Пришлось спросить Молотова, как поступить.

— Можете пользоваться своим именем, — твердо сказал он. — Необходимость в псевдониме отпала.

Молотов больше не опасался за меня. Берия был расстрелян. Все же Молотов, зная повадки наших бюрократов, счел нужным еще некоторое время меня опекать: включил в состав корреспондентской группы на Женевском совещании по Индокитаю 1954 года и на встрече в верхах в Женеве летом 1955 года, а также в семерку советских журналистов, совершивших, впервые после начала «холодной войны», турне по Соединенным Штатам осенью 1955 года.

Дальше все пошло само собой.

Что же касается рекомендаций Вирта, то многое из того, о чем он говорил, вскоре реализовалось. В 1954 году в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел великих держав, летом того же года — конференция по Индокитаю, в 1955 году — договор с Австрией и вывод с ее территории оккупационных войск. Затем приезд Аденауэра в Москву, установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ и возвращение немецких военнопленных на родину…

Встреча с Чжоу Эньлаем

Работа по созданию иностранных изданий журнала «Война и рабочий класс» началась с поиска квалифицированных переводчиков. В Москве имелось тогда два учреждения, где сотрудничали лучшие переводческие кадры: Издательство иностранной литературы, переименованное впоследствии в «Прогресс», и редакция газеты «Московские новости». Русский вариант этой газеты печатался лишь в нескольких экземплярах, чтобы начальство в Агитпропе ЦК могло следить за содержанием публикаций. Мало кто знал, что такой вариант вообще существует. О газете говорили просто — «Moscow News», полагая, что она выходит только на английском языке. Главным редактором газеты был Бородин, к которому я и обратился за консультацией.

Специфика периодического печатного органа оказалась для меня поначалу дремучим лесом. Благожелательное отношение Бородина и его сотрудников, их готовность помочь мне разобраться в тонкостях нового для меня дела привели к тому, что я на протяжении нескольких недель фактически стажировался в «Moscow News». Мне это было особенно удобно, поскольку редакция газеты помещалась в том же здании на улице Москвина, где и моя квартира.

Мы очень сдружились с Бородиным. Для меня общение с ним стало особенно поучительным и интересным после того, как я узнал, что он тот самый Бородин, имя которого часто появлялось на страницах мировой прессы в конце 30 — начале 40-х годов. Тогда он был нашим советником при правительстве Чан Кайши в Китае, сыграл важную роль в улаживании конфликтов между Коммунистической партией Китая и гоминьданом и в организации их совместных действий против японских захватчиков. Когда после оккупации японцами значительной части китайской территории правительство страны перебралось в Чунцин, Бородин отправился туда же. Его резиденция находилась рядом с представительством КПК, которое возглавлял Чжоу Эньлай.

Бородин много рассказывал мне об этом человеке, характеризуя его как очень талантливого политика, интеллигентного руководителя, рассудительного, спокойного, но вместе с тем твердого и настойчивого. От Бородина я узнал подробности нашумевшего в свое время «Сианьского инцидента», где два китайских генерала-милитариста — Чжан Сюэлян и Ян Хучэн, пригласив для переговоров в свой штаб Чан Кайши,

арестовали его и готовились убить. Руководство компартии понимало, что распря внутри гоминьдана приведет к ослаблению антияпонской борьбы, и хотя коммунисты немало пострадали от рук гоминьдановцев, они не считали возможным допустить ликвидацию признанного лидера страны. Уладить это деликатное дело поручили Чжоу Эньлаю.

Пока Чан Кайши находился под арестом в соседней комнате, Чжоу Эньлай вел многочасовую беседу с генералами, убеждая их не осуществлять свой кровавый замысел и освободить пленника во имя блага Китая. В конце концов генералы согласились отпустить Чан Кайши.

Бородин рассказывал много разных историй о Китае, привив мне интерес к этой стране, в которой я до того не бывал. Но наше общение было внезапно прервано. Зайдя как-то в «Moscow News», я Бородина не застал. Мне сказали, что уже несколько дней он не приходил на работу, возможно, захворал. Через неделю стало известно, что Бородин арестован. Его объявили японским шпионом — и он исчез.

Много лет спустя я оказался в Китае по журналистским делам. Наряду с другими городами побывал в Чунцине. Там сохраняются, как своеобразные музеи, штаб-квартиры Чжоу Эньлая и Бородина. На стенах развешаны фотографии, на столах и этажерках предметы обихода и утварь, которыми они пользовались. Тут же в металлической рамке портрет Бородина в гимнастерке с открытым воротом мужественное лицо с улыбающимися, чуть прищуренными глазами. Таким он и мне запомнился — преданный делу борец, один из многих, загубленных сталинскими палачами.

Побывал я и в Сиани. Инцидент с Чан Кайши произошел, собственно, не в самом городе, а примерно в сорока километрах от него, в местечке, где находится целебный источник Хуаци. Во времена Танской династии, более тысячи лет назад, тут, на склоне горы Лишань, был экзотический парк, а у самого источника высился дворец императора Мин Хуана, где жила его наложница Ян Гуйфэй — одна из пяти знаменитых красавиц древнего Китая. Рядом с уцелевшей до наших дней беседкой Ян Гуйфэй находится павильон, в котором остановился Чан Кайши. Здесь его решили арестовать ночью генералы-милитаристы. Телохранители премьера пытались оказать сопротивление. Началась перестрелка. Услышав шум, Чан Кайши выпрыгнул в окно. Он пытался взобраться на скалу, но застрял в расселине. Тут его и схватили…

Прилетев из Москвы в Пекин в начале 1957 года в качестве корреспондента журнала «Новое время», я сразу же обратился в

министерство иностранных дел с просьбой помочь мне получить интервью у одного из китайских руководителей. Рассчитывать на встречу с Мао Цзэдуном я, конечно, не мог и потому упомянул в своем письме Чжоу Эньлая, Лю Шаоци и маршала Чжу Дэ. Отослав письмо, отправился в поездку по стране. После посещения Чунцина, воскресившего в памяти беседы с Бородиным, очень захотелось встретиться с Чжоу Эньлаем. Но вернувшись в Пекин, узнал, что никакого ответа на мою просьбу не поступило. Перед поездкой в Маньчжурию решил провести несколько дней в столице и заказал у администратора отеля на один из вечеров два билета (для себя и переводчика) в китайскую оперу.

Зал, как обычно, был заполнен до отказа. Перед началом спектакля билетеры в белых халатах разливали в кружки зрителей горячий зеленый чай из огромных оцинкованных чайников. Наши места были в пятом ряду с правого края. Но я заметил, что одно кресло, самое последнее справа от меня, пустует. Свет погас, и зал лишь тускло освещался огнями рампы. В этот момент какой-то китаец занял место рядом со мной. Я лишь разглядел, что он, как и вся публика в театре, одет в синий полувоенного покроя френч, такую же кепку и тряпичные туфли. Поднялся занавес, лица зрителей осветились. Скосив глаз, я увидел, что рядом со мной человек, очень похожий на Чжоу Эньлая. Не может быть, подумал я, ведь тогда бы весь театр всполошился. Начались бы аплодисменты, выкрики. Да и как он мог так запросто появиться в театре — без охраны и не в особой ложе, а среди простой публики? Все же нагнулся к переводчику, сидевшему слева, и спросил, что за человек рядом со мной? Он тут же ответил:

— Это Чжоу Эньлай.

Я был потрясен. Зрители с напряженным вниманием следили за интригой на сцене. Их нисколько не отвлекало присутствие Председателя Государственного совета страны, знаменитого и популярного вождя еще молодой китайской революции. Их внимание поглотили борьба Царя обезьян с чудовищем, любовь девушки по имени Персиковый цвет к простому парню, похищение ее разбойниками. А я рассеянно взирал на акробатические трюки актеров, думая о том, что означает присутствие рядом со мной китайского лидера. Смогу ли я поговорить с ним? Останется ли он здесь во время антракта или так же исчезнет в полумраке, как и появился?

Занавес опустился, зажегся свет. Обычно в китайских театрах нет вестибюлей. В антракте публика выходит прямо на улицу. Зал стал быстро пустеть. Никто даже не обернулся в нашу сторону. У

меня снова мелькнула мысль: его никто не узнал! Чжоу Эньлай остался на своем месте. Я был весь в напряжении. Как с ним заговорить? С чего начать?

Не успел я решиться, как он обратился ко мне на хорошем английском языке:

— Откуда вы пожаловали в нашу страну?

Конечно же, он знал обо мне все. Ведь я заранее заказал билеты в отеле, и если он оказался рядом, то уж наверняка не случайно. Но и ему надо было с чего-то начать беседу. К тому времени я уже был заместителем главного редактора журнала и приехал в командировку в Китай на полгода как специальный корреспондент. Так я и представился Чжоу Эньлаю.

— А кто у вас сейчас главный редактор?

Я ответил, что недавно на этот пост назначен Леонтьев, который до того, с момента основания журнала, являлся заместителем главного редактора.

— Лев Леонтьев, известный экономист. Я его хорошо знаю. Когда-то прослушал его лекции в Москве в Институте народов Востока. Передайте ему мой привет и наилучшие пожелания.

— Обязательно. Благодарю.

— А вы не знаете, что произошло с Бородиным? Где он сейчас?

Я ожидал этого вопроса, но все же вздрогнул, когда он его задал. Знает ли Чжоу Эньлай о его трагической судьбе? Я рассказал о наших встречах с Бородиным в редакции «Moscow News», о его воспоминаниях о работе в Чунцине, о том, что он говорил мне в связи с «Сианьским инцидентом».

— Да, тогда было трудное время. Если бы они убили Чан Кайши, в Китае снова началась бы междоусобица. И этим воспользовались бы японцы. И для нашей компартии сложилась бы неблагоприятная обстановка… Что же все-таки произошло с Бородиным?

— Я точно не знаю. Он исчез, как и многие другие, в середине сороковых годов.

— Жаль, очень жаль Бородина. Прекрасный был человек, верный друг, настоящий коммунист. Мы с ним не раз попадали в сложные ситуации. Бесстрашный был человек, сильный характер…

Сколько же прекрасных людей, сильных характеров перемолола сталинская мясорубка! Мы проговорили до конца антракта. Но и после второго действия Чжоу Эньлай не ушел. Стал рассказывать о том, как трудно строить новую жизнь в Китае.

— У нас, — сказал он, — были в разное время местные

«венгерские события». В Ухани, Сиани, Чэнду возникли серьезные беспорядки, в которых участвовали не только буржуазные элементы, но и рабочие, крестьяне. Мы, конечно, с этим сами справились. Но одной силой проблемы не решить. Надо серьезно проанализировать, почему такое происходит — ив Венгрии, и в Польше, и в Восточной Германии, и у нас в Китае. Что-то не в порядке во взаимоотношениях между руководителями и руководимыми, возникают противоречия внутри общества — между партией и народом и внутри самой партии…

Чжоу Эньлай сказал, что обсуждал этот вопрос с побывавшей недавно в Китае советской делегацией в составе Ворошилова и Рашидова.

— Но они, — продолжал он, — отнеслись к этому легко. «У вас в Запретном городе, как и у нас вокруг Кремля, высокие стены», — сказал Ворошилов. А я ответил, что эти же стены не спасли китайского императора. Мы все должны подумать, как действовать, чтобы в народе не было недовольства.

Премьер поинтересовался, где я успел побывать в Китае и какие вообще у меня пожелания. Я сказал, что после поездки на северо-восток, где я намерен посетить Дальний и Порт-Артур, хотел бы побывать на юге, в провинции Юннань и на острове Хайнань. Интересно было бы также съездить в Ланьчжоу, где развивается китайская атомная энергетика. Но заметил, что, кажется, во все эти места неохотно пускают иностранцев.

— Я поинтересуюсь вашим маршрутом. Думаю, что ваши пожелания можно удовлетворить.

И действительно, он сдержал слово. Никаких проблем в дальнейшей поездке по стране у меня не было.

После окончания третьего и последнего акта зажегся свет, но никто из зрителей не шевельнулся.

Чжоу Эньлай поднялся, пожал мне руку, пожелал приятного пребывания на китайской земле и вышел из зала. Только теперь зрители как бы очнулись и стали покидать театр. Они все знали, видели, как мы оба антракта проговорили, но никто не подал виду, никто ни знаком, ни возгласом не помешал нашей беседе.

Мне объяснили, что Чжоу Эньлай часто посещает оперу, садится в партере среди публики, и пекинцы к этому привыкли. Но для меня, знавшего наши порядки, все это казалось невероятным. Если Сталин или Молотов собирался посетить театр, то билеты туда заранее распределялись среди благонадежной публики. Подъезжали они к особому подъезду, поднимались на специальном лифте. Ложу, которую они занимали, так задрапировывали, чтобы их, если они того желали, не могли видеть из зала. Рядом с ложей в небольшом холле их

ждали закуски, сладости и напитки. И никакого общения с публикой, даже избранной, у них не бывало. А кругом сновали офицеры охраны в форме и в штатском.

Меня несколько смущало, что у Чжоу Эньлая не было видно охраны. Наверняка ребята из службы безопасности находились где-то поблизости. Но они держали себя так, что их абсолютно не было заметно.

На следующий день мне сообщили из отдела печати МИД, что интервью для журнала даст маршал Чжу Дэ. Тем самым намекнули, что беседа с Чжоу Эньлаем носила доверительный характер.

Все же меня сверлило любопытство: зачем вообще он устроил эту встречу? Некоторые местные китаеведы объясняли, что, поскольку в моем списке на первом месте стояло имя премьера, он решил компенсировать свой отказ своеобразной китайской вежливостью. Возможно, так оно и было. Но мне думается, не хотел ли Чжоу Эньлай тем самым как-то выразить чувство уважения к своему другу и соратнику Бородину?..

После возвращения из Китая, где пробыл почти полгода, я, договорившись с главным редактором Леонтьевым, с утра до позднего вечера сидел, запершись в своем кабинете, и отстукивал на пишущей машинке путевые очерки. Помимо меня в редакции была еще заместитель главного редактора Наталья Сергеевна Сергеева. На время этой моей работы она взяла на себя выпуск каждого номера, хотя обычно мы чередовались.

Как-то, выйдя из кабинета, чтобы наполнить термос кипятком, я. столкнулся в коридоре с молоденькой девушкой. Поразительно красивая, высокая, стройная, со спадающими на плечи волнистыми каштановыми волосами, она сразу же привлекла мое внимание. Я никогда раньше не видел ее в редакции. Поздоровавшись, прошел мимо и, придерживаясь правила никогда не смотреть женщине вслед, направился к титану, всегда наполненному горячей водой. Однако, пройдя шагов десять, все же не удержался и обернулся. В то же мгновение обернулась и таинственная незнакомка. На какую-то секунду наши взгляды встретились…

Мне, разумеется, не стоило труда выяснить, что заинтересовавшая меня девушка в мое отсутствие поступила к нам корректором. Потом, закончив свои очерки, я уехал в командировку в Англию. Затем — на Брюссельскую всемирную выставку 1958 года. Но взгляд, которым мы с ней обменялись, сопровождал меня повсюду.

В начале 60-х — ей тогда исполнилось 25 лет — Лера (она и теперь не любит, чтобы ее называли Валерией Михайловной)

переехала ко мне. В 1966 году мы поженились, а вскоре у нас родился сын Андрей.

Сейчас, когда я заканчиваю свое жизнеописание, уже и Андрей порадовал меня внуком, тогда как от старших сыновей у меня две взрослые внучки.

Постскриптум

В 1992 году меня пригласили прочитать курс лекций в Монтерейском институте международных исследований в Калифорнии. Я внимательно слежу за всем, что происходит дома.

Мое повествование началось с периода, когда в ужасах кровавой гражданской войны, в обстановке разрухи, голода и страшных народных лишений происходило становление советского общества. Я заканчиваю его, наблюдая развал и исчезновение государства, в котором прошла моя жизнь.

На протяжении трех четвертей века СССР оказывал решающее влияние на глобальное развитие, вызывая в окружающем мире целую гамму чувств — от восхищения дерзостью жителей одной шестой суши, возомнивших себя способными построить «идеальное общество» и показать всем пример, достойный подражания, до осуждения, отвержения и полного неприятия самой идеи, лежащей в основе этого небывалого эксперимента, осуществленного «кремлевскими мечтателями» на живом теле народа.

Гибель советской власти так же потрясает мир в наши дни, как и ее рождение в начале века. И так же сопровождается страданиями народов как бывшего Советского Союза, так и стран, которых соблазнила или которым навязала Москва порочную «модель строительства социализма».

Нищета, отчаяние, бесконечные очереди за самым необходимым, потеря веры в «светлое будущее», опустошенность, безнадежность и страх, наполняющие души, все это вырывается наружу в разных уголках бывшего СССР в страшном облике насилия и может в любой момент превратиться во всеобщую братоубийственную гражданскую войну.

Как тогда — 70 с лишним лет назад — «дети Красного Октября» уповали на заморскую тушенку и консервированное молоко, которые раздавала в несчастной России «Американская администрация помощи голодающим», так и теперь нашим людям приходится надеяться на помощь с Запада.

После провалившегося августовского путча, инициаторы которого хотели «укрепить идеи Октября» танками, заполнившими улицы Москвы, произошел стремительный распад Советского Союза, в конце декабря 1991 года прекратившего свое существование. Ничего подобного еще совсем недавно никто не мог даже предположить. Но ведь столь же стремительно наступила в 1917 году и гибель Российской царской империи. Факторы, приведшие ее к краху, и причины нынешнего развала

Советского Союза различны. Но есть тут и нечто общее: государственное образование, опирающееся на силу и страх, на репрессии и лживую пропаганду, не выдерживает внутренней напряженности, едва исчезает боязнь, а правда становится доступной простым людям.

Все это еще раз подтверждает истину, что стабильность любого государства достигается не действиями репрессивного аппарата, каким бы изощренным он ни был. Не обеспечивается стабильность и одной лишь военной мощью. Прочность любой государственной системы прежде всего основывается на степени общественного согласия. Такого согласия ни в царской России, ни в коммунистическом СССР не было, во всяком случае в последние десятилетия существования советской власти. И когда старые структуры стали рушиться, не оказалось ничего, что смогло бы скрепить искусственное образование.

Оглядываясь на прожитое, на исторические события и чудовищные катаклизмы уходящего столетия, свидетелем и участником которых мне довелось быть, я никак не могу поверить, что дожил до конца противоречивой и во многом поразительной «советской эпохи», эпохи, которая, несомненно, войдет в историю человечества как еще одна дерзкая, но неудавшаяся попытка построить справедливое общество. За эту идею, вольно или невольно, отдали жизнь миллионы людей. Но, как сказал некогда Оскар Уайльд, «если человек отдал жизнь за идею, это вовсе не означает, что он погиб за правое дело».

Наш опыт сопровождался страшными жертвами, разрушениями, физическими и духовными, неимоверными страданиями и утратами. Но вместе с тем мы были полны надежд, веры, энтузиазма, жертвенности в своем стремлении создать «лучшее будущее» — не для себя, а для грядущих поколений.

А ведь в нашей жизни было достигнуто и кое-что важное: при всей неустроенности, просчетах и ошибках была ликвидирована неграмотность десятков миллионов людей, введено всеобщее обучение, бесплатное высшее образование, медицинская помощь, а некогда отсталые народы царских окраин приобщились к достижениям национальной и мировой культуры.

Наши жертвы не были напрасны. Общественное развитие не остановится на «развитой технологии», «информационном обществе» и прочих достижениях современного капитализма. Передовые умы будут и впредь стремиться к совершенствованию жизни. И опыт нашей страны, наши успехи и неудачи могут послужить ориентирами на пути человечества в будущее.

Создание на развалинах царизма новой общественной

системы потребовало невообразимых жертв. Осколки империи оказывали тогда вооруженное сопротивление новой власти. Также и теперь старые командно-административные структуры и их носители стараются удушить ростки новой жизни. Их подрывные действия в значительной степени привели к неудаче горбачевской перестройки, обусловили личную драму реформатора и его уход с политической сцены. Тем не менее Горбачев занял прочное место в истории.

Если нарождающаяся демократия в России и в других государствах бывшего СССР погибнет, то это будет величайшей трагедией не только для нашего народа, но и для всего мира. Остается надеяться, что развитые страны не повторят ошибок начала века, когда они после Февральской революции 1917 года способствовали гибели русской демократии, вынуждая Временное правительство продолжать бойню в первой мировой войне, вместо того чтобы сразу же помочь голодающей и изнуренной поражениями на фронте стране. Если и ныне Запад будет выжидать и наблюдать, что произойдет дальше, то результаты, при наличии на территории бывшего СССР ядерного оружия и атомных электростанций, могут быть куда более страшными, чем гражданская война и интервенция 1918–1921 годов.

Хочется верить, что народам нашей страны, да и других стран, не придется заплатить столь страшную цену за то неизведанное, что грядет на смену исчезнувшему Советскому Союзу.

Мне было полтора года, когда рухнула царская империя. Моему внуку — Даниле — тоже исполнилось полтора года, когда развалилась советская империя. Не дай Бог ему пережить то, через что было суждено пройти моему поколению.